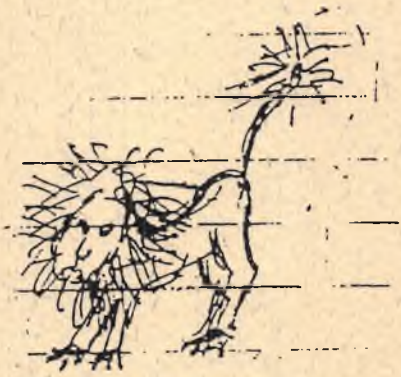
ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
КОРИН АМАШЕР.
АНАТОЛИЙ БАСИН
БЕЛЛА ВЕРНИКОВА
ЛЕА ГОЛЬДБЕРГ
СЕМЕН ГРИНБЕРГ
ФИЛИПП ГРИНБЕРГ
ЛОРИНА ДЫМОВА
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ
ИМРЕ КЕРТЕС
БОРИС КЛЕЙМАН
ГЕОРГИЙ КНАБЕ
АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ
ЯКОВ ЛАХ
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ
ШИМОН МАРКИШ
МАРК МАРКИШ
ИЦХОКАС МЕРАС
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА
ДАВИД САМОЙЛОВ
ВАЛЕРИЙ СЛУЦКИЙ
ЖУЖА ХЕТЕНИ
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ
ГИДОН ЭФРАТ
И ДРУГИЕ

N18



JERUSALEM LITERARY REVIEW

2004 '18

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



ИЕРУСАЛИМ

18 2004

Иерусалимский журнал, № 18, 2004

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: **www.antho.net/jr/**

Союз израильских русскоязычных писателей
Творческое объединение «**Иерусалимская антология**»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор), **Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина, Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн**

Ответственный секретарь: **Леонид Левинзон**

Художник: **Сусанна Черноброва**

Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Редактура и корректура: **Бина Смехова, Любовь Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Ольга Аксютина, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Светлана Мойбер, Илан Рисс**

Издательство «**СКОПУС**» Типография «**ЦУР-ОТ**»

При поддержке
Общественного совета
при Фонде Министерства юстиции

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2004. All rights reserved
Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**
E-mail: review@antho.net Тел. (972-2) 6720025; 6434005; 6432962

Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте, но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства по рецензированию и возвращению рукописей

Представители «Иерусалимского журнала» в других странах:

Москва –	**Игорь Грызлов**, 5507747; igorgr@dol.ru
	Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru
Новосибирск –	**Владимир Болотин**, 329944; bolotin55@mail.ru
Нью-Йорк –	**Андрей Грицман**, 1-201-2250090; agritsman@msn.com
	Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com
Чикаго –	**Александр Блинштейн**, 1-847-6761134; rmasis1@home.com
	Ефим Котляр, 1-847-5819304; YefimK@aol.com
Бостон –	**Татьяна Гольдмахер**, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com
Будапешт –	**Жужа Хетени**, 361-3866277; hetenyiz@ludens.elte.hu
Париж –	**Владимир Смехов**, vladimir.smekhov@free.fr
Торонто –	**Илья Липес**, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – **Ольга Кравченко**, 08-9971014. *Ариэль* – **Самуил Кушниров**, 03-9365452
Афула – **Любовь Серегина**, 04-6492095. *Герцлия* – **Леонид Шейнкман**, 09-9502681
Кфар-Саба – **Виталий Кабаков**, 09-7673293. *Лод* – **Михаил Гиль**, 08-9201291
Реховот – **Марк Павис**, 08-9353758. *Хайфа* – **Михаил Басин**, 04-8213657

Уважаемые читатели!

Восемнадцатый, юбилейный в своем роде, номер ИЖа мы посвящаем светлой памяти нашего друга, выдающегося переводчика, ученого и культуролога, замечательного исследователя русско-еврейской литературы, члена редколлегии журнала Шимона Маркиша.

Помимо второй части «нобелевского» романа Имре Кертеса, переведенного Шимоном вместе с Жужей Хетени, вы найдете в журнале его работы разных лет, не публиковавшиеся ранее, а также воспоминания о писателе его друзей и родных.

Однако вы держите в руках не тематический сборник, а очередной номер журнала – работая над ним, мы старались сохранить сложившуюся за пять лет структуру издания. В этом выпуске мы печатаем прозу и поэзию авторов, к творчеству которых Шимон относился с глубокой симпатией.

Редколлегия обсуждает возможность учредить премию имени Шимона Маркиша, которая будет присуждаться каждые два года за лучшие произведения, опубликованные в ИЖе. Надеемся, что в этом начинании журнал поддержат не только читатели, но также академические учреждения, благотворительные фонды, государственные и общественные организации.

Игорь Белов

Имре Кертес

ОБЕЗДОЛЕННОСТЬ *

5

И тогда я впервые увидел – потому что сумерки застали нас на том же месте – цвет здешнего неба, его феномен: бенгальские огни, настоящие фейерверки языков пламени и искр по всей левой стороне небосклона. Вокруг меня шептались, бормотали, повторяли: «Крематории!...» – но уже только с тем же, я бы сказал, изумлением, какое вызывает явление природы, скорее. Потом – «abtreten»[1], и я уже вроде бы немного проголодался, но узнал, что наш ужин, на самом деле, был хлеб, а я съел его весь уже утром. Про барак, про «блок» выяснилось, что это совершенно голое помещение, без всякой мебели, ничем не оборудованное, даже без освещения, с цементным полом, где на ночной отдых можно было устроиться опять только так же, как в конюшне у жандармов: я уперся спиной в голени парня, сидевшего за мною, а тот, что сидел передо мной, прислонился к моим коленям; и так как множество новых событий, переживаний и впечатлений утомили меня, я хотел спать и быстро погрузился в сон.

От следующих дней – примерно так же, как о кирпичном заводе, – у меня осталось меньше подробностей, скорее только цвета, ощущение, я бы сказал, общее впечатление. Но его-то как раз мне трудно было бы определить. В эти дни я видел, узнавал, испытывал все новые и новые вещи. Не раз в эти дни меня коснулся холод того особого, незнакомого чувства, с которым я встретился впервые при виде женщин; не раз случалось, что я оказывался в кружке потрясенных, вытянутых лиц, уставившихся друг на друга мужчин, которые все спрашивали и спрашивали друг друга: «Что вы скажете? Что скажете?» – и ответа не было, а если был, то всегда один и тот же: «Ужас». Но не это – то слово, не это – в точности то переживание, которым (говорю только о себе, естественно) я мог бы, действительно, описать Аушвиц. Среди нескольких сот обитателей нашего блока был, как выяснилось, и тот невезучий. Он выглядел немного странно в болтавшейся на нем одежде каторжника, в слишком большой шапке, то и дело сползавшей ему на лоб. «Что вы скажете, – спрашивал он тоже, – что скажете?» – но не было у нас для него ответа, конечно. Затем я уже не мог толком следить за его речами, суматошными и сбивчивыми. Нель-

---

* Журнальный вариант. Первая часть романа опубликована в «ИЖ» №14-15.

[1] Abtreten (немецкий) – Стройся!

зя задумываться, или, вернее, об одном все же можно и даже нужно думать беспрерывно – о тех, кого «оставил дома» и ради которых «надо быть сильным», потому что они ждут; о жене и о двух малых детях – вот приблизительно суть его речей, насколько я мог заключить. Но все же главной заботой и здесь было в основном то же, что в таможне, в поезде или на кирпичном заводе: протяженность дней. Они начинались очень рано в средине лета, как только вставало солнце. Я узнал тогда, какие холодные утра в Аушвице: мы с ребятами садились на корточки в той стороне нашего барака, которая выходила на ограду из колючей проволоки, тесно прижимаясь друг к другу, согревая друг друга под косыми еще лучами багрового солнца. Несколькими часами позже мы уже искали бы скорее тени. Как бы то ни было, время проходило и здесь, и здесь был с нами Галантерей, и время от времени звучала шутка, и здесь нашлись если не подковные гвозди, то камешки, которые Шелковый у всех нас по очереди и по порядку выигрывал, и здесь слышались иной раз слова Рози: «А теперь споем по-японски!..» Кроме того, дважды в день в уборную, утром – с заходом в барак умывальников (похожее помещение, только вместо возвышений – во всю длину три ряда оцинкованных желобов, и над каждым приделаны параллельно железные трубы, из которых через мелкие, тесные дырочки стекает вода); раздача пищи; вечером поверка; ну и, конечно, извещения – этим мне следовало обходиться, это был весь распорядок дня. Еще прибавлялись переживания: например, «Blocksperre», «карантин блока», событье на другой же вечер – тогда я впервые увидел, как наш начальник проявляет нетерпение, более того, раздражается, – с долетающими издали голосами, с целым хаосом звуков, в котором, если мы верно улавливали, то, казалось, могли в несколько душной темноте барака различить выкрики, собачий лай и треск выстрелов; или опять вид процессии, опять из-за ограды, они возвращаются домой с работы, как говорили, и мне приходилось верить, потому что и самому казалось, что на самодельных носилках, которые тащат последние, несомненно лежат мертвые, действительно так, как и утверждали вокруг меня. Все это на время беспрерывно задавало работу и моему воображению, естественно. Но, с другой стороны, – могу утверждать, – этого было недостаточно, чтобы наполнить целый долгий и праздный день. Так я осознал: даже в Аушвице можно, по-видимому, скучать – при условии, что у человека есть привилегии. Мы ждали, дожидались – того, на самом деле, если толком подумать, чтобы не случилось ничего. Эта скука вместе с этим странным ожиданием: я думаю, это впечатление, оно, да, примерно оно способно действительно, вправду описать Аушвиц – в моих глазах, конечно.

Еще кое в чем должен я признаться: на другой день я съел, а на третий уже и ждал свой суп. Вообще, порядок питания в Аушвице я должен был признать странным. С утра пораньше

приносили какую-то жидкость, говорили – что кофе. Обед, то есть суп, подавали удивительно рано, так около девяти уже. Зато потом в этом отношении не происходило ничего вплоть до самых сумерек, вместе с которыми, перед часом поверки, прибывали хлеб и маргарин: таким образом, уже на третий день я свел основательное знакомство с тревожным чувством голода, и все ребята жаловались на то же. Только Курец заметил, что ему это чувство ничего нового не открывает и что он тоскует, скорее, только по сигарете, – в своей обычной краткой и неприветливой манере, но, помимо того, было еще что-то, чувство какого-то почти что удовлетворения в лице, немного в эту минуту раздражающего, и ребята поэтому, я думаю, так быстро от него отмахнулись.

Как я ни удивлялся, когда подсчитывал позже, факт остается фактом: в Аушвице я провел, в сущности, всего три полных дня. На четвертый вечером я уже снова сидел в поезде, в одном из уже знакомых мне товарных вагонов. Назначение – как мы узнали – Бухенвальд, и хотя теперь я был уже несколько осторожнее с такими многообещающими названиями, дружелюбие, можно сказать, безошибочно угадываемый оттенок теплоты, определенная размягченность, мечтательность, оттенок чего-то вроде зависти на лице некоторых заключенных среди тех, что нас провожали, – все это не могло быть только и просто заблуждением, так я чувствовал. Я не мог не видеть и того, что многие из них – старые, многоопытные узники и, к тому же, начальство, как свидетельствовали их нарукавные повязки, шапки и обувь. В поезде тоже все устраивали они, военных я видел только поодаль, на краю платформы, и всего несколько, в средних чинах, и на этом тихом месте, в этих мягких красках мирного вечера ничто, кроме размеров, в крайнем случае, не напоминало о бурлящей, раскаленной возбуждением, светом, движением, голосами и жизненной силой, вибрирующей и пульсирующей в каждой своей точке железнодорожной станции, где я сошел когда-то, а точнее три с половиною дня назад.

О дороге теперь могу сказать еще меньше: все было, как обычно. Теперь нас было не шестьдесят, а восемьдесят, зато теперь не было с нами багажа, и не нужно было заботиться о женщинах. Здесь тоже была посудина, здесь тоже нам было жарко и хотелось пить, но здесь мы меньше подвергались искушениям, я хочу сказать – в том, что касалось съестного: пайки – хлеба больше обычного, двойной брусок маргарина и еще кусок чего-то, на вид несколько напоминающего наши сардельки, так называемой «wurst»[2] – раздали у поезда, и там же я быстро всё съел, во-первых, потому что был голоден, затем, потому что в поезде не было, по сути дела, куда положить, ну и наконец, потому что нас не уведомили, что дорога и на этот раз займет три дня.

[2] Wurst (немецкий) – сосиски.

В Бухенвальд мы тоже прибыли утром, погода была солнечная, ясная, но пробегали облака и легкие порывы ветра освежали воздух. Тамошний вокзал, во всяком случае, после аушвицкого, показался каким-то приветливым провинциальным перроном. Но прием был уже не такой сердечный: здесь двери оттянули не заключенные, а солдаты, более того, мне пришло на ум, что это, по сути вещей, первый случай, когда я по-настоящему, так сказать, неприкрыто вхожу с ними в такое близкое общение, соприкасаюсь так тесно. Я только дивился, с какой быстротой, с какой безошибочной точностью все происходит. Несколько кратких выкриков: «Alle 'raus! Los! Fünfe Reihe! Bewegt euch!»[3], несколько хлопков, несколько щелчков, взмах-другой сапога, удар-другой прикладом, несколько приглушенных воплей – и вот уже выстроилась, вот уже и двинулась наша колонна, словно вытянутая по шнуру, и к ней в конце платформы и с неизменным полуоборотом пристраиваются с обеих сторон солдаты, как я заметил, по одному к каждой пятой шеренге из пятерых – то есть на каждые двадцать пять человек в полосатой одежде двое, таким образом, приблизительно в одном метре друг от друга, не отрывая глаз ни на миг, теперь уже, однако, молча и только шагом своим задавая направление и темп, как бы поддерживая в живых всю эту колонну, всю в беспрерывном движении и колыхании, немного напоминавшую гусеницу, которую я в детстве загонял в спичечный коробок с помощью клочков бумаги и других погонялок; все это немного одуряло и каким-то образом захватывало полностью. Я не мог не улыбнуться чуть-чуть, когда вдруг вспомнил беспечный, так сказать, застенчивый конвой наших полицейских в тот день, когда нас вели в жандармерию. Но и все перегибы жандармов – признал я – можно считать крикливым бахвальством по сравнению с этим молчаливым, во всех подробностях идеально согласованным знанием дела. И что с того, что я отчетливо видел, например, их лица, цвет глаз или волос, одну-другую особую черточку и даже изъян, прыщик-другой на их коже, – я все-таки никак не мог за все это уцепиться, все-таки испытывал какое-то сомнение: неужели, действительно, вопреки всему, они, по сути, подобны нам, те, что идут рядом, и, в конечном счете, сделаны примерно из той же человеческой материи? Но мне пришло в голову, что, может быть, мой подход неверный, что это я – не тот же самый, естественно.

Тем не менее, я обратил внимание, что мы постепенно поднимаемся по склону, все более отлогому, снова по превосходному шоссе, но не прямому, как в Аушвице, а по извилистому. Кругом я видел много зелени, красивые строения, подальше – виллы, прячущиеся между деревьями, парки, сады, и весь пейзаж, масштабы, все пропорции казались соразмерными, я бы

[3] Alle 'raus! Los! Fünfe Reihe! Bewegt euch! (немецкий) – Все вон! Давай! По пять в ряд! Живо!

смело сказал – приветливыми, во всяком случае, для глаза, привычного к Аушвицу. На правой обочине вдруг показался настоящий маленький зверинец: косули, грызуны и другие животные населяли его, среди прочих – облезлый бурый медведь, шум наших шагов привел его в большое волнение, он тут же сел в позе ожидающего подачки и немедленно сделал несколько игривых движений в своей клетке, но на этот раз, естественно, его старания остались тщетны. Потом мы обошли статую, которая стояла на лужайке, вклинившейся между ветвями дороги, которая здесь раздваивалась. Она покоилась на белом цоколе и была сработана из того же белого, мягкого, зернистого и тусклого камня и, по-моему, грубовато, скорее наспех. Полосы, выщербленные в одежде, бритая голова, но главным образом само действие давали сразу же увидеть: перед нами заключенный. Наклоненная вперед голова и вскинувшаяся вверх нога сзади подражали бегу, в то время как руки обвились судорожным движением вокруг невероятно большого, кубической формы камня, прижатого к животу. В первое мгновение я смотрел, можно сказать, на произведение искусства, – как нас учили в школе, – без всякой заинтересованности, и только потом мне пришло в голову, что есть тут, наверно, какой-то смысл и что он, конечно, ничего хорошего не предвещает, если подумать. Но густая сеть колючей проволоки, потом помпезные металлические ворота, отворявшиеся между двумя массивными каменными столбами, а над воротами остекленная конструкция, несколько напоминающая капитанский мостик на корабле, бросились мне в глаза; потом, тут же я и прошел под ними: я был в бухенвальдском концентрационном лагере.

Бухенвальд лежит в краю холмов и долин, на гребне возвышенности. Воздух чист, повсюду глаз радуют разнообразные виды, леса кругом, красные черепичные крыши деревенских домов в долинах внизу. Баня расположена слева. Заключенные большей частью приветливы, хотя как-то по-другому, чем в Аушвице. Здесь тоже вновь прибывшего ожидают баня, парикмахеры, дезинфицирующая жидкость и перемена одежды. Одежда, впрочем, такая же точно, как в Аушвице. Но вода здесь горячее, парикмахеры делают свое дело осмотрительнее, а кладовщик на одежном складе, пусть даже беглым взглядом, но все же старается угадать твою мерку. Потом попадаешь в коридор, к застекленному задвижному окну, и человек за окном осведомляется, нет ли у тебя случайно золотых зубов. После этого соотечественник, неостриженный, давнишний здешний обитатель, записывает твое имя в большую книгу и дает желтый треугольник, а также широкую ветошку, полотняную полосу; треугольник тоже из полотна. В середине треугольника, в знак того, что ты все-таки венгр, можешь прочесть большую букву U, а на полосе – отпечатанный номер, мой, например, 64-9-21. Рекомендуется, уведомили меня, научиться произносить его по-немецки как можно скорее ясно, понятно и

вполне членораздельно, вот так: – Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig, – потому что впредь это будет всегда моим ответом, если спросят, кто я такой. Но на твоей коже здесь этот номер не пишут, и если ты, тревожась заранее, стал бы расспрашивать об этом в бане, старый заключенный, подняв руки и возведя глаза к потолку, протестует: «Aber Mensch, um Gotteswillen! Wir sind doch ja hier nicht in Auschwitz!»[4] Со всем тем и номеру, и треугольнику надлежит уже к вечеру попасть на грудь, и это – с помощью исключительных владельцев иглы и нитки: портных; если тебе очень надоело бесконечно ждать в очереди, ты можешь расположить их в свою пользу какою-то частью твоего хлеба или маргарина, но они и без того охотно сделают, ведь, в конечном счете, это их обязанность – как они говорят. В Бухенвальде погода прохладнее, чем в Аушвице, дни серые, и часто моросит дождь. Но в Бухенвальде случается, что уже к завтраку удивят горячим супом, вроде нашего мучного; здесь я узнал, что нормальная пайка – третья часть хлебца, а в некоторые дни может быть и половина, не как в Аушвице, где нормальная – четвертая часть, а в некоторые дни пятая; что у дневного супа есть гуща, а в гуще попадаются красные мясные клочки, более того, если повезет, то и целый кусочек мяса; также здесь я познакомился с понятием «Zulage», «добавки», которую в виде «wurst» или ложки варенья можешь получить наряду с всегдашним маргарином – «хватануть», как выражался присутствовавший при этом и в таких случаях казавшийся весьма довольным офицер. В Бухенвальде мы жили в палатках, в «Zeltlager» – «Палаточном лагере», – еще его называли «Kleinlager», «Малый лагерь», – и спали на нарах, усыпанных соломою, если и не порознь и даже в некоторой тесноте, зато горизонтально; проволочная ограда здесь еще не была под током позади, но того, кто случайно ночью вышел бы из палатки, разорвут на куски овчарки – предупредили нас, – и в серьезности этого предупреждения лучше не сомневаться, даже если поначалу оно может удивить. Зато у другой проволочной изгороди, где начинается большой, бурно разросшийся по склону холма вверх, в сторону и во всех направлениях, настоящий, истинный лагерь, его мощенные булыжником улицы, его опрятные зеленые бараки и двухэтажные каменные домики, каждый вечер сулил прекрасные покупки по случаю – ложки, ножи, котелки и одежда – у местных, коренных заключенных, которые в эту пору там торговали; один из них предлагал мне свитер всего только за полхлебца – показывал, извещал, объяснял, – но я все-таки не купил, потому что летом свитер мне не нужен, а зима, в конце концов, так я рассудил, еще далеко. Тогда я увидел тоже, как много разных цветов может быть у треугольника и сколько разных букв внутри, между которыми я

[4] Aber Mensch, um Gotteswillen! Wir sind doch ja hier nicht in Auschwitz! (немецкий) – Что вы, Боже упаси! Это вам здесь все-таки не Аушвиц!

под конец уже и не всегда разбирался: кто же из них откуда? Но здесь, в моем окружении, часто слышались сочные провинциальные словечки в венгерской речи, и много раз до слуха долетал и тот странный язык, который впервые я услыхал в Аушвице от странных заключенных, что нас принимали, еще в поезде. В Бухенвальде для жителей Палаточного лагеря поверки нет, и умывальники под открытым небом, точнее, под тенистыми деревьями: они устроены, по существу, так же, как в Аушвице, только желоб из камня, а главное – вода в отверстия трубы течет, брызгает или хотя бы капает целый день, и с тех пор, как я попал на кирпичный завод, здесь в первый раз случилось со мной такое чудо, что я мог пить, если приступала жажда и даже просто охота попить. В Бухенвальде тоже есть крематорий, естественно, но всего-навсего один, и это здесь не цель лагеря, не его суть, душа, смысл – могу сказать смело, – в нем сжигают только тех, кто скончался уже в лагере, в нормальных условиях лагерной жизни, если можно так выразиться. В Бухенвальде – слух исходил, вероятно, от старых заключенных и дошел до меня – рекомендуется всего больше остерегаться каменоломни, хотя – прибавлялось – теперь она уже едва действует, не то, что когда-то, в их времена, – как они говорили. Лагерь – узнаю я – существует семь лет, попадаются здесь, однако, и заключенные из более старых лагерей, среди которых называли какое-то Дахау, потом еще Ораниенбург и Заксенхаузен: тогда-то я понял ту снисходительную улыбку, что появлялась при виде нас на лицах нескольких важных особ, хорошо одетых и по другую сторону колючей проволоки, на которых я видел номера в пределах десяти-двадцати тысяч и даже четырехзначные и трехзначные. Близ нашего лагеря – мне сказали – лежит знаменитый с точки зрения культуры город Веймар, про славу которого я тоже уже выучил, естественно: здесь жил и творил свои произведения среди прочих тот, чьи стихи, начинающиеся словами «Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?[5]», я знаю сам, даже без книги; ходит слух, что дерево, посаженное им собственноручно и с тех пор укоренившееся и разросшееся, снабженное памятною дощечкой и защищенное изгородью от нас, заключенных, находится где-то на территории нашего лагеря, – так говорят. В общем и целом, мне было совсем не трудно понять выражение тех лиц, в Аушвице: могу сказать, я и сам быстро полюбил Бухенвальд.

Цейц, точнее, концлагерь, названный именем этого городка, отстоит от Бухенвальда на одну ночь пути в товарном поезде, а после еще 20-25 минут пешком под конвоем солдат по шоссе, окаймленному пашнями, хорошо ухоженными провинциальными пейзажами, – как я мог это испытать на собственном опыте. Здесь теперь уже мы обоснуемся окончательно – заверяли

[5] Wer reitet so spät durch Nacht und Wind (немецкий) – Кто скачет так поздно сквозь ветер и ночь? (Из стихотворения И. В. Гёте «Erlkönig» – «Лесной царь»)

нас, – по крайней мере, те из нас, чьи фамилии начинаются на буквы раньше «М» в алфавитном порядке; для остальных место назначения – рабочий лагерь в Магдебурге, и это название звучало мне более знакомо, по своей известности в истории, – так нас оповестили еще в Бухенвальде, тоже на четвертый день вечером, на ужасающе огромном пространстве, освещенном дуговыми фонарями, заключенные с разнообразными знаками отличья и достоинства и длинными списками в руках, и я сожалел только о том, что, таким образом, приходится расставаться со многими ребятами, главным образом с «Рози», а потом прихоть фамилий, сообразно с которыми нас усаживали в поезд, оторвала меня и от всех остальных, к сожалению.

Могу сказать, что нет ничего канительнее, ничего изнурительнее тех тягостных хлопот, через которые, по-видимому, приходится проходить всякий раз по прибытии в новый концентрационный лагерь – по крайней мере, после Аушвица и Бухенвальда я испытал это и в Цейце. В остальном же я сразу увидал, что на этот раз прибыл в маленький, убогий, заброшенный, такой, как бы сказать, провинциальный концлагерь. Баню или хотя бы крематорий – кажется, принадлежность только лишь более важных концлагерей – здесь искать было бы бесполезно. Окрестности – снова однообразная равнина, только из оконечности лагеря виднеется вдали какая-то синяя полоса: «горы Тюрингии» – услышал я от кого-то. Ограда из колючей проволоки, с четырьмя сторожевыми вышками по четырем углам, тянется прямо вдоль шоссе. Сам лагерь, кстати сказать, имеет форму квадрата – в сущности, большое, пыльное пространство, открывающееся к воротам и, далее, к шоссе, остальные же три стороны уставлены громадными, размером с ангар или цирковой шатер, палатками; долгий подсчет, перестановки, улюлюканье и толчки имели целью, как оказалось, только наметить для каждой палатки, – для «блока», как они говорили, – и выстроить перед нею по десяти в ряд будущих ее обитателей. Я тоже прибился к одной из палаток, а вполне точно – к самой крайней направо в заднем ряду, если повернуться лицом к воротам и спиной к палаткам, как именно я и стоял, уже очень долго, прямо до оцепенения, под непрерывным гнетом солнечных лучей, который становился все более мучительным. Я пробовал искать глазами ребят: напрасно, вокруг были только чужие люди. Сосед слева попался высокий, худой, немного странный, все время что-то бормотавший про себя и между тем ритмично раскачивавшийся всем туловищем взад-вперед, а справа – скорее низенький и плечистый, он убивал время тем, что через правильные промежутки направлял в пыль перед собою мелкие и очень точные плевки сквозь зубы. Он тоже поглядел на меня, сперва только вскользь, потом, в другой раз, уже более внимательно своими косо разрезанными, живыми и блестящими глазками-бусинками. Под ними я увидел до смешного крохотный нос, казалось, в нем почти не было

костей, свою шапку каторжника сосед весело заломил набок. Ну – осведомился он на третий раз, и я заметил, что у него нет ни одного переднего зуба, – так откуда же я? Когда я сказал, что из Будапешта, он оживился необычайно: есть ли еще Кольцо и ходит ли шестой трамвай, как «было в последний раз»? – стал он тут же расспрашивать. Я сказал ему, еще бы, все так и есть; казалось, он был доволен. Еще он хотел знать, как, каким образом я «залетел сюда», и я сказал: «Очень просто. Меня высадили из автобуса». – «И что же?» – спросил он, и я ответил: «Больше ничего: после привезли сюда». Он как будто немного удивился, словно человек, может быть, не вполне отдающий себе отчет, как идет жизнь дома, и я хотел спросить у него... но уже не смог, потому что в этот самый миг получил затрещину с другой стороны.

На самом деле, я уже сидел на земле, когда, собственно, услышал звук пощечины и вес ее загорелся на моей левой щеке. Передо мной стоял человек, одетый с головы до пят в черное платье всадника, в черном берете, как у художника, с волосами и даже с узенькими черными усиками на смуглом лице, и – какой-то удивительный для меня запах, сомнений не было – в облачке приторного запаха настоящих духов. Из его сбивчивых криков я сумел выловить только слово «Ruhe», то есть «тихо», которое повторялось многократно. Нечего и говорить, он казался персоной очень высокого ранга, что было видно по его благородному невысокому номеру, так же как по зеленому треугольнику с буквой «Z», а другая сторона груди была украшена серебряным свистком, болтавшимся на металлической цепочке, и на рукаве издалека бросались в глаза белые буквы «L» особой важности. Тем не менее я очень разозлился, потому что решительно не привык к тому, чтобы меня били, и кто бы он ни был, и даже только сидя, только на лице постарался достаточно понятно изобразить этот гнев. Он сумел это разглядеть, так я думаю, потому что заметил: хоть он и продолжал орать, не умолкая, взгляд его больших, темных, будто плавающих в масле глаз тем временем постепенно смягчался и под конец принял чуть ли не оправдывающееся выражение, внимательно оглядывая меня всего, с ног до лица: то было неприятное, стесняющее ощущение в своем роде. Потом он помчался дальше с той же бурною скоростью, с какою только что явился, и все расступались перед ним.

Когда я после этого поднялся, сосед справа, не медля, спросил: «Больно?» Я ответил умышленно громко: «Ни капли». «Тогда, – рассудил он, – хорошо бы тебе вытереть нос». Я протянул руку: и правда, пальцы стали красные. Он показал мне, как откинуть голову назад, чтобы кровь остановилась, а про черного человека заметил: «Цыган, – и после коротенького раздумья приговорил еще: – Гомик этот тип, и спору нет». Я не совсем понял, что он хочет сказать, и спросил у него смысл этого выражения. В ответ он хохотнул и сказал: «Ну, пидор!»

Так я уже примерно представлял себе, о чем идет речь, я думаю. «Кстати, – заметил он еще, протягивая сбоку руку, – я Банди Цитром», – тогда и я назвал ему свое имя и фамилию.

Он – узнал я от него после – попал сюда из рабочего лагеря. Его призвали тут же, как только начали войну, ведь ему было как раз двадцать один год: и по возрасту, и по крови, и по здоровью он был годен тогда для рабочих батальонов, и вот уже четыре года он даже не ездил домой. Бывал и на Украине, где разряжал мины. «Ну, а ваши зубы?» – спросил я. «Выбили», – ответил он. Теперь удивился я: «Как так?..», но он только назвал это «долгой историей» и о причине не распространялся. Во всяком случае, было столкновение с сержантом, и, помимо прочего, тогда же сломались и носовые кости – вот всё, что я мог от него узнать. Про разрядку мин тоже высказывался кратко: нужен заступ, кусок проволоки, ну и удача – по его словам. Поэтому и осталось их под конец очень мало в штрафной роте, когда на смену венгерским рядовым прибыли немцы. Они обрадовались, потому что им сразу же пообещали более легкую работу и лучшее обращение. А из поезда они потом вышли тоже в Аушвице, естественно.

Я как раз хотел продолжать еще немного свои расспросы любопытствующего, но в эту минуту трое возвратились. Раньше, примерно так минут десять назад, я не улавливал из того, что происходило впереди, ничего, кроме одного имени, точнее – слитного звука многих голосов там, впереди, которые все выкрикивали то же самое имя: «доктор Ковач!», и в ответ скромно, нерешительно, словно бы только уступая этим настойчивым крикам, выступил толстенький, с пухлым лицом, с головой, по краям обстриженной машинкою, а в середине облысевшей естественным образом, человек; двух остальных указал уже он. Потом все трое быстро ушли вместе с черным человеком, и уже только позже до меня дошла сюда, в задние ряды, весть, что мы, собственно говоря, выбрали начальников, как у них говорится, «Blockältester» и, кроме него, двух «Studenbedienst», или – как я наспех перевел Банди Цитрому, который не знает по-немецки, – «комнатных служителей». Теперь они хотели преподать несколько команд и соответствующих им жестов и предупредили – а те предупредили нас, – что повторять объяснения не будут. Некоторые из этих выкриков, как, например, «Achtung!», «Mützen... ab!» и «Mützen... auf!», я уже в основном знал по своему прежнему опыту, новым, напротив, был «Korrigiert!», «Поправь!» – то есть шапку, естественно, – так же как и «Aus!»[6], по которому руки должны с хлопком – так они говорили – примкнуть к бедрам. Всё это затем мы и прорепетировали много раз. У «Blockältester», как мы узнали тогда, есть еще одна особая работа: рапорт, в котором он там

[6] Achtung! Mützen... ab! Mützen... auf! Aus! (немецкий) – Внимание! Шапки снять! Шапки надеть! Вольно!

перед нами много раз и упражнялся, а солдата на этот случай представлял один « Studenbedienst» – человек коренастый, рыжий, с кожей лиловатого оттенка и отвислыми щеками. «Block fünf, – слышал я, – ist zum Appell angetreten. Es soll zweihundert fünfzig, es ist...»[7] – и так далее, и из этого я заключал, что, стало быть, я и сам жилец пятого блока, численность которого двести пятьдесят человек. После нескольких повторов все было ясно, понятно и в совершенстве разыграно, все так находили. Потом опять наступили минуты праздности, и так как в это время мое внимание привлекла какая-то гора земли на пустом пространстве справа от нашей палатки, над нею виднелся длинный шест, а позади угадывался глубокий ров, я спросил у Банди Цитрома, на какой это может быть предмет, по его мнению. «Отхожее», – объявил он немедленно, с одного взгляда. И покачал слегка головой, потому что оказалось, что и этого выражения я не знаю. «Видно, до сих пор ты только и знал, что сидеть возле маминой юбки», – вот его мнение. Но все-таки очень коротко объяснил. И прибавил кое-что, повторю его слова полностью: «Когда засрем всё до краев, тогда и освободимся!». Я засмеялся, но он остался серьезен, некоторым образом на манер человека, который высказывает свое убеждение, чтобы не сказать «решение». Но ничего больше на этот счет он сказать не смог, потому что со стороны ворот как раз в этот момент вдруг показались три солдата, суровые, очень элегантные, без всякой спешки и очевидным образом чувствуя себя полнейшими хозяевами положения, в полнейшей безопасности, и «Blockältester» с какими-то новыми, какими-то визгливыми и ревностными оттенками в голосе, которых на репетициях я не слышал ни разу, закричал: « «Achtung! Mützen ... ab!» – и тут, подобно всем, и мне в том числе тоже, сорвал с головы шапку, естественно.

6

Только в Цейце я осознал, что есть свои будни и у неволи, более того, что настоящая неволя – это сплошные серые будни, на самом деле. Я как будто уже был примерно в таком же положении, а именно однажды в поезде, когда нас везли в Аушвиц. Там тоже все зависело от времени, ну, конечно, и от способностей каждого. Но в Цейце – чтобы остаться при моем примере – я постоянно чувствовал: поезд стоит. А с другой стороны – и это тоже верно – несется с такою скоростью, что я не успеваю следить за множеством перемен перед собой, вокруг себя да и в себе самом тоже. Одно, по крайней мере, могу сказать: что до меня, я проделал весь путь, честно испробовал все возможности, которые на этом пути открывались.

[7] Block fünf ... ist zum Appell angetreten. Es soll zweihundert fünfzig, es ist... (немецкий) – Пятый блок к поверке выстроился. Состав 250 человек, в сборе...

Во всяком случае, спервоначала повсюду, даже в концлагере, за новое дело мы беремся с лучшими намерениями – по крайней мере, мой опыт был такой; пока превратимся в хорошего заключенного, довольно и этого, остальное – дело будущего. В общем и целом так я рассуждал и на этом основывал свое поведение, впрочем, как я видел, так рассуждали и другие, это была общая точка зрения. Само собой разумеется, я скоро обнаружил, что те благоприятные отзывы об устройстве Arbeitslager[8], которые я слышал еще в Аушвице, основаны, наверное, на преувеличенных сведениях. Опять-таки о размерах всех этих преувеличений и, главным образом, вытекавших из них последствий я не сразу отдал себе – и не сразу мог бы отдать, в конце концов – полный и точный отчет, и снова так же, как наблюдал это у других, смело могу сказать, у всех других, приблизительно у двух тысяч заключенных нашего лагеря, не считая самоубийц, естественно. Впрочем, самоубийства случались редко и ни в коем случае не были правилом и не служили примером, это все признавали. До моих ушей доходили слухи о нескольких таких событьях, я слышал, как люди спорили, обменивались мнениями, некоторые с прямым осуждением, другие, скорее, с пониманием, знакомые – с жалостью, но в целом всегда так, словно силились составить суждение о чем-то очень редком, от нас далеком, в некотором роде трудно объяснимом, немного, пожалуй, легкомысленном, достойным, пожалуй, и некоторого уважения, но в любом случае опрометчивом.

Прежде всего – это не распускаться: как-нибудь всегда будет, потому что еще никогда не бывало по-иному, чтобы вообще никак не было – так наставлял меня Банди Цитром, а его этой премудрости научили еще рабочие батальоны. Первое и самое главное во всех обстоятельствах – умываться (параллельные ряды желобов с железными продырявленными трубами, под открытым небом, впереди, в той части лагеря, что выходит к шоссе). Так же важно экономно разделить пайку – выдали, не выдали, все равно. Как бы ни было сурово это обязательство, которое мы сами на себя налагаем, но из хлеба надо оставить к утреннему кофе на завтра, мало того, сохранить еще кусочек на обеденный перерыв – неослабевающим контролем над мыслями, которые все блуждают вокруг кармана, и в особенности над рукою, которая так и тянется туда же; так и только так можем мы избавиться от мучительного сознания: есть нечего. Что я до сих пор принимал портянку за носовой платок; что на поверке, на марше безопасное место всегда в середине шеренги; что и при раздаче супа не нужно рваться вперед, лучше оставаться позади, когда, как можно ожидать, будут черпать уже со дна котла, и, следовательно, из гущи; что одну сторону ручки у ложки можно отбить и пользоваться ею как ножом, – все эти и еще многие другие, сплошь необходи-

[8] Arbeitslager (немецкий) – Рабочий лагерь.

мые в жизни заключенного знания я получил от Банди Цитрома, усвоил и старался соответственно употреблять и сам. Я бы никогда не поверил, но это факт: нигде известный порядок в образе жизни, известная образцовость, я бы сказал даже, добродетель не имеют такого значения, как в неволе, по всей видимости. Достаточно бросить взгляд на Блок-1, где спят старожилы, и его окружение. Желтый треугольник у них на груди открывает все главное, а вписанная в него буква L – даже то обстоятельство дополнительно, что они из далекой Латвии, точнее, из города Риги, как я узнал. Среди них можно видеть те странные создания, при первой встрече с которыми я даже несколько оторопел. На некотором расстоянии они все ветхие старики, и со своими головами, спрятавшимися в шею, с торчащими из лица носами, с поднятыми плечами, на которых болтается нечистая одежда заключенного, даже в самые жаркие летние дни напоминают вечно мерзнущих зимних ворон. Каждым своим шагом, деревянным и неуверенным, они словно бы спрашивают: стоит ли вообще старания такое усилие? Эти ходячие вопросительные знаки – не только по форме, но и по объемам я бы не мог, пожалуй, обозначить их иначе – известны в концлагерях под названием «мусульман», как я узнал. Банди Цитром тут же предостерег: «Когда на них глядишь, жить становится неохота», – вот его слова, и в них была своя правда, даже если со временем я и признал: для этого нужно все-таки еще много всякого другого.

Ну а сверх всего, существует средство упорства: могу сказать, что и в нем недостатка в Цейце не было, хотя бы оно и выступало в разных обличьях; иногда оно бывало нам очень важным подспорьем, как я заметил. Например, о той странной компании, корпорации, шайке, уж и не знаю, как их назвать, один из них, слева от меня в шеренге, уже когда мы прибыли сюда, без конца меня удивлял, – о них я кое-что узнал от Банди Цитрома. От него я услыхал, между прочим, что их называют «финнами». И в самом деле, если спросишь у них, откуда они, они отвечают (при условии, что вообще найдут тебя достойным ответа) «фин Минкач», например, что значит «из Мукачева»; или «фин Шадарада», и это, например (надо догадаться!), – «из Шаторайауйхей». Банди Цитром знаком с их породой еще по рабочим батальонам и не очень хорошего о ней мнения. Везде, за работой, на марше или в шеренге на поверке, можно увидеть, как они мерно раскачиваются взад-вперед, непрерывно бормоча про себя свои молитвы, как некий долг, который никогда не погасить. Если между тем они скривят рот, чтобы шепнуть нам, например: «Нож на продажу», – мы их не слушаем. И еще того меньше, как бы соблазнительно это ни звучало, особенно утром: «Суп на продажу», – потому что, как ни странно, они в рот не берут ни суп, ни даже изредка достающийся «wurst», – ничего, что не отвечает предписаниям религии. Но чем же они тогда живы? – могут спросить, и Банди Цитром от-

ветил бы: за них беспокоиться нечего. И в самом деле, насколько можно видеть, они живы. Между собой и с латвийцами они пользуются языком евреев, но знают также немецкий, словацкий и бог весть какие еще; только по-венгерски не говорят, кроме деловых разговоров, конечно. Однажды судьба привела меня в их команду, избавиться от этого я никак не смог. Первый их вопрос был: «Редс ди йидиш?»[9] Когда я им сказал: «Нет, к сожалению», – со мной было кончено, я осрамился, они смотрели на меня так, будто я был воздух, или, еще вернее, будто меня вообще не было. Я пробовал заговорить, обратить на себя внимание – напрасно. «Ди бист ништ ка йид, дбист а шегец»[10], – они качали головами, а я только смотрел и дивился, что люди, в конечном счете, вроде бы свои в деловом мире, могут так безрассудно цепляться за то, что, глядя по результатам, приносит им куда больше вреда, намного больше убытка, чем прибыли. Тогда, в тот день я испытывал среди них время от времени то же стеснение, тот же зуд, неловкость, какие, случалось, овладевали мною дома, словно бы не все со мною было в порядке, словно бы я не совсем отвечал общим правилам, одним словом: как-то так, как если бы я был еврей, и это все же было, по-моему, несколько странно, в конце-то концов, в кругу евреев, в концлагере.

В другой раз меня чуточку удивил Банди Цитром. И за работой, и на отдыхе я часто слышал от него и скоро заучил его любимую песню, которую он вынес еще из времен рабочего батальона и штрафной роты. «На земле Украйны разряжаем мины, / Трусами не будем и на Украине», так она начиналась, и мне особенно нравился последний куплет: «И если погибнет товарищ, задушевный друг, / Мы пошлем Отчизне весть: / Что бы нас ни ожидало, / Дорогая, прекрасная Отчизна, / Мы тебе не изменим, никогда!» Мелодия была красивая, двух мнений быть не может, и грустная, скорее медленная, нисколько не бравурная, и слова этого поэтического произведения тоже производили на меня глубокое впечатление, естественно – они почему-то привели мне на ум жандарма, того, еще в поезде, когда он напомнил нам, что мы венгры: в конечном итоге, их тоже родина наказала, строго говоря. Однажды я упомянул это ему. Он не нашел, что возразить, но выглядел слегка смущенным, я бы даже сказал, раздраженным. На другой день, весь уйдя в себя по какому-то случаю, он снова начал насвистывать, мурлыкать, а после и петь, как будто ни о чем не помнил. Будет ли он еще «шлифовать асфальт на улице Незабудок?» – это была другая, часто повторявшаяся его мысль: там он живет дома, в Венгрии, и эту улицу, а также и номер дома он упоминал столько раз и так многообразно, что, в конце концов, я и сам ощутил всю ее привлекательную силу, сам уже начал тос-

[9] Редс ди йидиш? (идиш) – Говоришь на идиш?
[10] Ди бист ништ ка йид, дбист а шегец. (идиш) – Ты не еврей, ты чужак.

ковать по ней, хотя в моих собственных воспоминаниях то был скорее заброшенный переулок где-то в районе Восточного вокзала. Он часто заводил речь, называл и напоминал мне те или иные места, площади, улицы, дома, общеизвестные призывы и рекламу, загоравшиеся на фронтонах и в различных витринах, или, говоря его словами, «огни Пешта», и тут я уже должен был его поправлять, приходилось объяснять ему, что эти огни больше не существуют, по правилам затемнения, и что бомбы изменили кое-что там и сям в панораме города. Он выслушивал меня, но я видел, что эти сведения были ему не совсем по вкусу. На другой день при первом удобном случае он снова заводил речь об огнях.

Но кто может изведать все виды упорства? Могу сказать только, что в Цейце мог бы выбирать еще, и из числа многих, будь на то возможность. Я слушал разговоры о прошлом, о будущем и, главным образом, много, очень много слышал о свободе, я бы сказал, что, кажется, нигде не слышал о ней столько, сколько именно среди заключенных, и, в конце концов, это вполне объяснимо, на мой взгляд, естественно. Другие находили своего рода удовольствие в какой-нибудь поговорке или шутке. Я тоже их слышал, естественно. Есть час дня, который выпадает между возвращением с завода и вечерней поверкой, особый, всегда оживленный и раскрепощенный час, мой любимый час в лагере, я всегда его ждал с нетерпеньем; кстати, обычно это и час ужина. Я как раз пробирался по двору, кишевшему людьми, между группами, где заключали сделки или просто болтали, когда кто-то со мной столкнулся, и из-под слишком просторной шапки заключенного на меня уставилась пара маленьких, озабоченных глаз, над характерным носом, на характерном лице. «Ну и ну!» – воскликнули мы почти одновременно: он узнал меня, а я его, то был невезучий человек. Он, казалось, очень обрадовался в тот миг и спросил, где я ночую. Я сказал, что в Блоке-5. «Жаль», – огорчился он, потому что сам живет в другом месте. Он пожаловался, что «не видит никого знакомых», и когда я сказал, что и я тоже нет, как-то закручинился, не знаю почему. «Мы теряемся, все теряемся» – сделал он такое замечание, и какой был смысл в этих его словах и в покачивании головы, я не совсем понял. Потом вдруг его лицо прояснилось. И он спросил: «Знаете ли вы, что означает здесь, – и он указал мне на грудь, – буква U?» Я сказал, конечно, как же: «Ungar, то есть венгр». – «Нет, – возразил он, – Unschuldig», что значит «невиновный», – потом он коротко рассмеялся и долго качал головою в раздумье, так, словно бы эта мысль пришлась ему особенно по душе, не знаю, почему. И то же самое я видел после у других, от кого слышал в лагере эту шутку, поначалу довольно часто: словно бы какое-то согревающее, какое-то подкрепляющее чувство черпали они из нее; по крайней мере, на то указывал всегда один и тот же смешок, после чего черты лица одинаково у всех смягчались, появля-

лось то выражение, в котором как-то смешивались мучительная улыбка и наслаждение и с которым всякий раз рассказывали и выслушивали эту остроту, примерно тем же образом, как когда слушаешь сильно берущую за сердце музыку или особенно трогательную историю.

Впрочем, и у них я видел все то же усердие, все ту же добрую волю: они тоже не хотели ничего другого, как выставить себя хорошими заключенными. Нечего и говорить, это было в наших интересах, этого требовали обстоятельства, к этому, так сказать, принуждала лагерная жизнь. Если, например, ряды были выстроены образцово и численность совпадала, поверка бывала короче, по крайней мере – вначале. Если мы работаем усердно, то можем, например, избежать побоев, по крайней мере – большею частью.

И все же, по крайней мере, вначале, я думаю, все же не одна только эта выгода, не исключительно лишь польза направляла мысли каждого из нас, могу заявить это честно. Вот, например, работа, первый рабочий день, после полудня, чтобы начать, не откладывая; заданье было разгрузить вагон серого гравия. Когда Банди Цитром после того, как мы сбросили куртки, естественно, с разрешения надсмотрщика, в тот раз скорее пожилого и на первый взгляд добродушного солдата (я впервые увидел тогда его желтовато-коричневую кожу с играющими под нею крупными, гладкими мышцами и темным родимым пятном под левой грудью), когда Банди сказал: «Ну-ка, покажем им, что умеют ребята из Пешта!» – он это именно и имел в виду, вполне всерьез. И, могу сказать, при том, что, в конце-то концов, я в первый раз в жизни держал в руках вилы, и наш надсмотрщик, и какой-то человек, с виду вроде бы каменщик, наверно, с завода, то и дело на нас поглядывавший, оба казались вполне довольными, что только еще поднимало наше настроение, естественно. Но когда со временем я начал чувствовать какое-то жжение в ладонях и увидел, что корни пальцев сплошь налились кровью; когда надсмотрщик спросил: «Was ist denn los?»[11], и я засмеялся и показал ему свои ладони, а он вдруг сильно помрачнел и даже дернул за ремень своей винтовки и приказал: «Arbeiten! Aber los!»[12] – тут вполне естественно, что мои интересы приняли другое направление. Теперь я старался только об одном: как бы урвать, когда он не глядит на меня, коротенькую передышку, как набрать как можно меньше на лопату, на заступ, на вилы, и, могу смело сказать, позднее достиг в подобных уловках очень больших успехов и, во всяком случае, приобрел в этой области намного больше опыта, знаний и навыков, чем в любой работе, какую бы только ни выполнял. И в конце концов, кому от этого польза? – как, помнится, спрашивал однажды «Эксперт». Я утверждаю: что-то тут было

[11] Was ist denn los? (немецкий) – Что там случилось?
[12] Arbeiten! Aber los! (немецкий) – Работать! Ну-ка давай!

не так, какая-то помеха, какая-то ошибка, какой-то провал. Одно слово признания, один знак, мимолетный лучик, не больше, искорка всего лишь: мне, по крайней мере, было бы от этого больше пользы. Ведь если подумать, какие, в самом деле, личные обиды друг на друга у нас есть? И чувство тщеславия, в конце концов, не покидает нас и в заключении; и кто втайне не просил хоть капельки дружелюбия, наконец, а затем, со словом понимания, мы добились бы лучшего, так я находил.

Но подобный опыт еще не мог по-настоящему поколебать моих основ. Поезд еще двигался, и если я глядел вперед, то где-то вдали угадывал и цель, и в первое время – золотое время, как назвал его позже Банди Цитром – Цейц, при должном ходе жизни и некоторой удаче, казался вполне терпимым местом – покамест, временно, до тех пор, когда будущее нас от него освободит, естественно. Дважды в неделю мы получали по полхлебца, трижды – по трети и только два раза – по четвертушке. Часто Zulage. Раз в неделю вареный картофель (шесть штук отсчитывают в шапку, и к этому уже Zulage не полагается, ясное дело); раз в неделю молочная лапша. Первую досаду ранней побудки быстро разгоняют росистая летняя заря, ясное небо, ну и дымящийся кофе (в этот час будь проворен в уборной, потому что скоро раздастся крик: «Appell! Antreten![13]). Утренняя поверка всегда и непременно короткая, ведь работа-то ждет, торопит. Боковые ворота завода, которыми можем пользоваться и мы, заключенные, – слева от шоссе, по песчаной дороге, этак в десяти-пятнадцати минутах ходьбы от нашего лагеря. Уже издали доносятся шум, звон, лязг, пыхтенье и, раза три-четыре, крякающий кашель железных глоток: приветствие от завода – со своими главными и боковыми проездами, неуклюжими кранами, пожирающими землю машинами, массою рельсов, со своим лабиринтом труб, башен охлаждения, мастерских это, скорее, настоящий город. Множество ям и рытвин, развалин и обломков, развороченные траншеи и вывороченные кабели – свидетельство визитов авиации. Название завода, как я узнал в первый же обеденный перерыв, – «Brabag», сокращение от «Braun-Kohl-Benzin Aktiengesellschaft», в свое время «оно и на бирже котировалось», так мне сказали и показали полного человека, опиравшегося с усталым сопением на локоть, он как раз выуживал из кармана несколько обгрызанный уже кусок хлеба; от него эти сведения и шли, и о нем позже говорили в лагере, и всегда с одинаковою усмешкой, – хотя от него самого я никогда этого не слыхал, – что в свое время у него тоже было несколько здешних акций, такой шел слух. Говорят, – и потому, возможно, этот запах всякий раз приводит мне на память чепельский нефтяной завод, – здесь тоже занимаются производством бензина, только с помощью такого изобретения, чтобы выгонять его не из нефти, а из буро-

[13] Appell! Antreten! (немецкий) – Поверка! Стройся!

го угля. Эту идею я нашел интересной – впрочем, не этого от меня ждут, естественно, признаю. Назначение в ту или иную Arbeitskommando – вечно волнующий вопрос. Некоторые клянутся заступом, другие скорее киркой, одни восхваляют преимущества прокладки кабеля, еще другие предпочитают обслуживать растворомешалку, и кто может знать, какая тайная причина, какое подозрительное пристрастие привязывает некоторых именно к работе в траншее, по пояс в желтом иле или в черной нефти, хотя в существовании такой причины никто не сомневается, поскольку большей частью это латвийцы и их единомыслящие друзья – «финны». У слова «antreten» только раз в день бывает нисходящая, сладостно и печально тягучая, долгая и призывная мелодия: а именно вечером, когда оно вещает миг возвращения. Криком «Расступись, мусульмане!» Банди Цитром очищает место в толчее вокруг умывальников, и нет такой части моего тела, которая осталась бы укрытой от его испытующего взгляда. – И хер вымой, там заводятся вши, – говорит он мне, и я со смехом подчиняюсь. Теперь начинается тот особый час: час устройства мелких делишек, час шуток или жалоб, визитов, переговоров, сделок и обменов новостями, и прервать его может только уютный звон котлов, этот сигнал, всех приводящий в движение, всех подстрекающий действовать быстро. Потом: «Appell!», и до каких пор – вопрос только удачи. Но час, два, ну, самое большее, три часа спустя (тем временем уже и прожектора зажглись) – великая суматоха в узком проходе палатки, обставленном по обеим сторонам трехэтажными ящиками, по-здешнему «боксами», спальными местами. Потом какое-то время вся палатка – только шепот в полумраке: это час рассказов, о прошлом, о будущем, о воле. Я имел возможность узнать: дома все были образцово счастливы и большею частью, к тому же, богаты. Я мог услышать в этот час и о том, что они обыкновенно ужинали, и даже об известных интимных вещах, обсуждаемых между мужчинами. Тогда упоминалось – позже я ни разу больше об этом не слыхал, – что в суп, по некоторым предположениям, примешивают, на известном основании, своего рода успокоительное, «бром», – так, по крайней мере, дружно утверждали, и выражение лиц было всегда несколько загадочным. Банди Цитром непременно вспоминал при этом улицу Незабудок, огни или – он тоже больше вначале, и тут мне уже было нечего прибавить, естественно, – «пештских девочек». В другой раз я обратил внимание на подозрительное бормотание, тихое и обрывающееся пение, притененный огонек свечи в углу палатки и услышал, что сегодня вечер пятницы и что там священник, раввин. Я перебрался в изголовье нар, чтобы заглянуть вниз, и в середине группы людей, действительно, был он, раввин, которого я знаю. Он исполнял обряд как был, в одежде и шапке каторжника, и я не долго следил за ним, потому что не молиться хотел, а спать. Мы с Банди Цитромом живем на самом верхнем этаже. Наш

бокс делим еще с двумя товарищами по сну, оба молодые, симпатичные и тоже из Будапешта. Матрасом служит дерево, на нем солома, на соломе постелена мешковина. Одеяло одно на двоих, но и того много, сейчас ведь лето, в конце концов. Местом мы не так чтобы очень богаты: когда я поворачиваюсь, соседу тоже приходится повернуться, когда сосед поджимает ноги, приходится поджимать и мне, но сон все равно глубокий и всё покрывает – золотые были дни, в самом деле.

Я начал замечать перемены несколько позже, и прежде всего в том, что касалось пайки. Я, да и мы все, могли только спрашивать себя, куда так быстро упорхнуло время полухлебцев: его место, как бы то ни было, безвозвратно заступила эпоха третей и четвертушек, и на Zulage не всегда можно теперь твердо рассчитывать. Тут и поезд начал замедлять ход, а потом, наконец, и вовсе остановился. Я пытался глядеть вперед, но глаз не доставал дальше завтрашнего дня, а завтра – этот же самый день, то есть еще один в точности такой же, и это еще в лучшем случае, конечно. Понизилось мое настроение, иссякло воодушевление, что ни день все труднее я вставал, что ни день все более усталым ложился. Я был чуть голоднее, двигался чуть менее свободно, все становилось как-то труднее, и я сам превращался в собственное бремя. Уже не всегда я был, мы были, могу сказать смело, хорошими заключенными, и знаки этого мы быстро могли распознать на солдатах, но также, конечно, и на чинах из наших и среди них, в первую очередь, по порядку достоинства – на Lagerältester.

Его и в дальнейшем, всегда и повсюду, можно было увидеть только в черном. Он дает свисток к побудке по утрам, он перепроверяет всё в последний раз вечером, и о его апартаментах где-то там, впереди рассказывали много всякого. По языку он немец, по крови цыган, – мы между собой иначе, как «Цыган», его и не называем, – и это главная причина, по какой он попал в концлагерь, а вторая – черта в его природе, отличающаяся от общего образца, что Банди Цитром установил на первый же взгляд. Но зеленый цвет его треугольника предупреждал всех, что он убил и ограбил какую-то даму как будто бы старше себя и при этом, говорят, очень состоятельную, за чей счет он, собственно говоря, и существовал, как утверждали: таким образом, я впервые в жизни мог видеть воочию настоящего убийцу. Его должность – соблюдение закона, его работа – чтобы в нашем лагере были порядок и справедливость, по первому впечатлению, задача не из приятных, любой согласится, и я в том числе. Но с другой стороны, приходилось признать, в известном пункте оттенки могут смешиваться. У меня лично, например, было больше неприятностей с одним Stubendiest, хотя и безукоризненно честным человеком. Потому и голосовали за него те, кто его хорошо знал, те же, что выбрали и Blockltester, доктора Ковача (звание здесь, как я узнал, обозначает не врача, а адвоката), и все они, я слышу, земляки: из прекрасных

окрестностей Балатона, из селения Шиофок. Он рыжий, этот человек, зовут его Фодор, все это знают. Ну, теперь, правда это или нет, но все одного мнения: Lagerältester пускает в ход палку или кулаки удовольствия ради, потому что это – по крайней мере, такие идут в лагере пересуды – доставляет ему якобы известное наслаждение, как-то связанное с тем, – полагают наиболее сведущие, – чего он домогается у мужчин, у мальчиков, а порой и у женщин.

Но у другого порядок – не предлог, а действительное условие и общий интерес, даже когда ему случается по необходимости – и он никогда не забывает об этом упомянуть – прибегнуть к подобным же мерам. С другой же стороны, порядок никогда не бывает полным, и чем дальше, тем меньше. Поэтому он вынужден наносить удары длинной железной рукояткой черпака по толпящимся в очереди, так что, если не знать, как надо подступать к котлу, ставя свою миску на край в строго определенной точке, каждый может попасть в число тех потерпевших, чей котелок с супом очень даже просто вылетает из рук, потому что – это ясно, и гул одобрения за его спиной это и означает – так тормозится и его работа, и, следовательно, движение нашей очереди, и потому же он стягивает за ноги лежебок, ведь за провинность одного страдают все остальные, в конечном счете. Разницу – признаю – надо искать, естественно, в намерениях, но в известном пункте, говорю я, такие оттенки могут размываться, и результаты оказывались в моих глазах те же самые, как ни взгляни.

Кроме них, был еще немецкий капо с желтой повязкой на рукаве и в полосатой одежде, всегда безупречно отутюженной, его, к счастью, я видел не часто, потом, к моему большому изумлению, стали показываться и среди нас черные повязки со скромной надписью «Vorarbeiter». Я как раз был на месте, когда впервые появился за ужином – с новенькой повязкой на рукаве – человек из нашего блока, которого до сих пор я не слишком отмечал, да и другие, насколько помнилось, не особо ценили или знали, хотя он был и кряжистый, и крепкий. Но теперь, я видел своими глазами, это был не тот же неизвестный: едва могли пробиться к нему хотя бы друзья и знакомые, на каждом шагу вперед со всех сторон изъявления радости, поздравления, пожелания удачи, отовсюду тянулись руки, и одни он принимал, а другие – я видел – нет, и тогда люди поспешно убирались. И затем настал самый – по крайней мере, для меня – торжественный момент, когда среди всеобщего внимания и какой-то почтительной, я бы сказал, благоговейной тишины, с большим достоинством, ни капли не торопясь, ни капли не спеша, под перекрестным огнем удивленных или завистливых взглядов, он подошел за второй порцией, которая теперь по его положению ему причиталась, и к тому же из самой глубины котла, и которую Stubendienst ему отмерил, на этот раз уже с различием, присвоенным его рангу.

В другой раз эти буквы бросились мне в глаза на руке у человека с гордой осанкой, грудь колесом, я тут же его узнал: офицер из Аушвица. Однажды я даже попал под его начало и могу сказать, так оно и есть: за хороших людей у себя он хоть и в огонь, а лоботрясам лавров не дождаться, ни тем, кто чужими руками жар загребает, – как он сам, этими словами, объявил в начале работы. Поэтому на следующий день мы с Банди Цитромом предпочли пролезть в другую команду.

И еще одна перемена бросалась мне в глаза и, странным образом, в основном на посторонних – на заводских, на наших надсмотрщиках, и, главное, на одном-другом лагерном чине: я заметил, что они переменились. Сперва я не очень знал, чем это объяснить: как-то все стали очень красивые, по крайней мере в моих глазах. Потом только я сообразил по кое-каким признакам, что измениться могли мы, естественно, только это труднее было проследить. Когда, например, я смотрел на Банди Цитрома, ничего особенного в нем я не видел. Но я пытался вспомнить его, сравнить с первым его появлением, еще тогда, справа от меня в ряду, или в первый раз на работе, с поразительными движениями мышц и связок, вроде бы как анатомическая таблица с буграми и вмятинами, упруго опадающими или твердо напрягающимися, и тут уж, конечно, появлялись неизбежно кое-какие недоверия. Только тогда я понял, что время может иной раз обмануть наш глаз, по всей видимости. Так, этот процесс, хотя по результатам можно было это определить, сумел ускользнуть от моего внимания в случае целой семьи, например, а именно семьи Кольман. В лагере все их знали. Они были из какого-то места под названием Кишварда, оттуда здесь было еще много людей, и из того, как к ним обращались или говорили о них, я заключал, что дома, по всей вероятности, они пользовались уважением. Их было трое: низенький лысый отец, старший сын и младший, на отца не похожие, но друг на друга – и, соответственно, думаю, на мать – как две капли воды: те же лица, одинаковый белокурый ёжик, одинаковые голубые глаза. Они всегда ходили втроем, и если только было возможно, рука в руку. Так вот, спустя какое-то время я заметил, что отец отстает и что оба сына должны ему помогать, тянуть его за собой, держа за руки. Еще через некоторое время отца уже не было между ними. А скоро старшему приходилось точно так же тянуть младшего. Еще попозже исчез и тот, и тогда старший тянул уже лишь самого себя, а теперь я и его нигде не вижу. Все это, говорю, я замечал, но не так, как позже, когда задумался, смог подвести итог, как бы просмотреть еще раз, только постепенно, свыкаясь с каждой ступенью заново, и выходит, что вначале, по сути дела, и не замечал. Но ведь и сам я, кажется изменился, потому что Галантерей, которого я однажды увидел на пороге кухонной палатки, он выходил оттуда как свой человек (я узнал, что он нашел себе там завидное местечко среди тех, кто чистит картошку), никак не

хотел меня узнавать поначалу. Я его уверял, что это я, с «Шелла», и спрашивал, не найдется ли случайно – все-таки кухня – чего-нибудь пожевать, каких-нибудь остатков, чего-нибудь со дна котла, может быть. Он ответил, что поглядит и что ему самому ничего ровным счетом не надо, но только нет ли у меня ненароком сигареты, потому что кухонный Vorarbeiter «помешан на куреве», как он выразился. Я признался, что нету, и тогда он ушел. Потом я быстро сообразил, что ждать его дольше было бы впустую и что у дружбы есть свои пределы, по-видимому, и что пределы проводит закон жизни – вполне естественно, впрочем, нечего и говорить. В другой раз уже я не узнал странное создание: оно плелось мимо, вероятно, в сторону уборной. Шапка сползла до ушей, лицо – сплошные вмятины, бугры и углы, нос желтый, и на кончике дрожит капля. «Шелковый!» – окликнул я его; он даже не оглянулся. Только зашаркал дальше, поддерживая одной рукою штаны, и я подумал: ну и ну, никогда бы не поверил. В другой раз еще один, еще более желтый, еще более тощий, еще чуть больше глаза и чуть больше воспалены – да, я думаю, это был он, Курец. В это время в рапортах Blockältester за Abend- и Morgenappell[14] появилось выражение, позже ставшее постоянным, только числа все время менялись: «Zweie im Revier» или «Fünfe im Revier», «Dreizehne im Revier»[15] и так дальше; а потом и новое понятие – недостача, потери, убыль: «Abgang». Нет, при известных обстоятельствах никаких добрых намерений не достаточно. Еще дома я читал, что с течением времени, ну и ценою необходимых усилий человек может привыкнуть и к жизни в заключении. И так оно, вероятно, и бывает, сомнений нет, скажем, дома, например, в настоящей, порядочной, гражданской или как там еще выразиться тюрьме. Да только вот: в концлагере, по моему опыту, к этому никаких путей не открывается. И смело могу утверждать, что ни в старательности, ни в доброй воле недостатка не было никогда – во всяком случае у меня: беда в том, что времени на это никогда не дают, просто-напросто.

Я знаю о трех путях или средствах избавления в концлагере: видел, слышал или сам испытал. Я жил первым и наверно, допускаю, самым скромным: есть в нашей природе область, где, как я научился, человек остается хозяином всегда и неотчуждаемо. Это факт: наше воображение и в неволе свободно. Например, я мог достигнуть того, что, пока мои руки были заняты лопатой или кайлом – экономно, расчетливо, всегда ограничиваясь только самыми необходимыми движениями – самого меня там просто не было. Впрочем, и воображение не совсем безгранично, есть какие-то пределы, таков мой опыт. Ведь ценою тех же усилий я мог бы, в конечном счете, очутиться где угод-

[14] Abendappel и Morgenappell (немецкий) – утренняя и вечерняя поверка.

[15] «Zweie im Revier»; «Fünfe im Revier»; «Dreizehne im Revier» (немецкий) – двое в изоляторе; пятеро в изоляторе; тринадцать в изоляторе.

но – в Калькутте, во Флориде, в самых красивых уголках Земли. Но это не было вполне серьезно, я не мог – как бы это сказать – поверить, и потому большей частью оказывался просто дома. Правда, и при этом, нечего и говорить, я бывал не менее дерзок, чем был бы, скажем, в Калькутте; но здесь я уже что-то нашел, своего рода скромность и, я бы мог сказать, особого рода работу, которая оправдывала мои усилья и тем самым их удостоверяла. Например, я скоро убедился: я не жил правильно, не использовал, как надо, свои дни дома; много, даже чересчур много такого, о чем приходится сожалеть. Так, – пришлось припомнить – были блюда, над которыми я привередничал, ковырял вилкой, потом отодвигал, просто потому, что не нравились, а сейчас я находил это непонятной и непоправимой оплошностью. Или была там эта беспричинная свара между отцом и матерью из-за моей особы. Когда я вернусь домой, так я думал, этим простым, этим само собой разумеющимся сочетанием слов, даже не запнувшись попутно, как человек, которого не может интересовать ничто иное, кроме вопросов, вытекавших из этого самого что ни на есть естественного факта; итак, когда я вернусь домой, я в любом случае положу этому конец – должен быть мир, так я решил. Далее, были дома вещи, из-за которых я нервничал, более того, как это ни смешно, боялся их, – некоторых учебных предметов, учителей, которые их преподавали, того, что меня вызовут отвечать и я могу осрамиться, и, наконец, отца, когда я стану перед ним отчитываться: теперь я вызывал в памяти эти страхи только ради удовольствия представить их себе, пережить снова и посмеяться над ними. Но самым любимым времяпрепровождением было вообразить себе полный день дома, полный, без малейшего пропуска, по возможности, с утра до позднего вечера, оставаясь при прежних скромных запросах. В конечном итоге, мне стоило бы труда вообразить какой-нибудь особенный, какой-нибудь безупречный день, и я обыкновенно представлял себе скверный день: ранний подъем, школу, тревоги, плохой обед, и, могу сказать, все те многие возможности, которые я тогда упустил, отбросил, хуже того – просто не заметил, я здесь и теперь, в концентрационном лагере, восстановил всё с таким совершенством, какое только было возможно. Я уже раньше слыхал, а теперь могу и свидетельствовать: тесные стены тюрьмы не могут положить предела полету нашего воображения. Одна беда: когда оно уносило так далеко, что я забывал собственные руки, очень скоро, и с самыми вескими, самыми решающими аргументами, могла найти средство снова вступить в свои права действительность, которая все-таки, в конечном счете, была тут как тут.

В эту пору в нашем лагере начало случаться все чаще, что за утренней поверкой численность перестала сходиться – как недавно по соседству с нами, в Блоке-6. Любому хорошо известно, что могло в этом случае произойти, ведь побудка в концлагере не будит только того, кого уже никак не поднимешь,

а они-то на своих местах. Но это второй путь избавления, и кем хоть раз, один-единственный раз, по крайней мере, не овладевало искушение, кто мог бы остаться всегда неизменно и непреклонно твердым, и в особенности утром, когда мы выходим из ночи, да нет! – входим в новый, но такой же самый день, в палатке, уже шумной, среди соседей, уже собирающихся вовсю? Я никак не мог, и непременно попытался бы, если бы не Банди Цитром, который постоянно вмешивался. В конце концов, кофе не такая уж важность, а на поверке все равно будем, – так думает человек, так думал и я. На своих спальных местах мы, естественно, не остаемся – такого ребячества ни от кого ждать не приходится, – мы встаем, чинно-благородно, как и все остальные, а потом... мы знаем одно местечко, надежнее не бывает, ставим сто против одного. Вчера, а может, и еще раньше мы заметили, присмотрели, нам бросилось в глаза, случайно, без всяких планов и намерений, только так, в виде намека и примера. А теперь приходит на ум. Подползаем, к примеру, под самые нижние боксы. Или наведываемся в тот стопроцентно надежный уголок, ямку, щель. Тут старательно накрываемся соломой, подстилками, одеялами. И беспрерывно – с тою мыслью, что на поверке будем и мы тоже: я говорю, было время, когда я хорошо это понимал, очень хорошо. Самые безоглядные могли думать, вдобавок, что один человек как-нибудь еще проскочит, обсчитаются, например, ведь, в конце-то концов, все мы только люди; что одна-единственная нехватка – нынче, исключительно и только нынче утром – не обязательно бросится в глаза, а вечером – мы уж об этом позаботимся – числа снова сойдутся; еще более отчаянные головы знают и не сомневаются, что в этом надежном месте их ни в коем случае, никакими средствами не найти. А уж доподлинно отчаянные об этом и не думают: они просто считают, – и порою я бывал того же мнения, – что часок хорошего сна стоит любого риска и какой угодно цены...

Но это им редко когда выпадает, ведь утром всё так и катится, и не успеешь оглянуться, как уже вот она, группа поиска: впереди Lagerältester, в черном, свежевыбритый, кокетливые усики, одеколон, вплотную за ним немецкий капо, дальше несколько Blockältester и Stubendienst, все с дубинками, дрючками и палками наготове и направляются прямо в Блок-6. Оттуда доносится шум, гомон, а через несколько минут – послушать только! – уже гремит победный, торжествующий клич следопытов. Что-то похожее на писк примешивается к нему, слабеет, потом умолкает, а вскоре появляются и охотники. То, что они выволакивают за собой из палатки, – отсюда оно кажется неподвижной грудой мертвых вещей, как попало связанными в узел тряпками, – они бросают, кладут на самый край ряда; я старался туда не глядеть. Но какая-то частица детали, какая-то все еще узнаваемая линия, черта, памятный знак все же притягивали, принуждали мой взгляд, и я узнал того, кто когда-то был – невезу-

чий человек. Потом: Arbeitskommandos antreten![16] – и можем не сомневаться: сегодня солдаты будут строже обычного.

И наконец, третий способ избавления – побег, буквальный и доподлинный, его тоже можно принять в соображение, ведь и ему был пример в нашем лагере однажды, кажется, один-единственный раз. Беглецов трое, все трое латвийцы, опытные, знают немецкий, знают местность, уверены в себе – шла молва, – и могу утверждать, после первого одобрения, после тайного злорадства по адресу нашей стражи, и даже восхищения кое у кого, и уже мыслей, не последовать ли этому примеру, и воодушевления, взвешивающего возможности к тому, мы все довольно крепко рассердились на них, уже ночью, часа так в два-три, когда в наказание за их преступление все еще стояли на поверке, а сказать точнее: шатались. На другой день вечером, когда мы возвращались, я только силился опять не глядеть направо. Там стояли три стула, и на них три человека, что-то вроде человеков. Как именно они могли выглядеть и что могло быть написано крупными неуклюжими буквами на бумажных табличках, висевших у каждого на шее, – насчет всего этого мне казалось проще не любопытствовать (впрочем, все равно мне стало известно, потому что в лагере еще долго упоминали: «Hurrah! Ich bin wieder da!» – то есть: «Ура, я снова тут!»); кроме того, я увидел какие-то подмости, какие-то леса, немного напоминающие стойку, на которой у нас во дворах выбивают ковры, и на них три петли, привязанные к веревкам потоньше, – и я догадался: виселица. Об ужине, естественно, не могло быть и речи, но сразу же: «Appell!», и потом: «Das ganze Lager: Achtung!»[17] – как там, впереди, во всю мочь, командовал сам Lagerältester собственной персоной. Пришли постоянные исполнители приговоров, после нового ожидания явились и представители военных властей, а потом все было сделано, как полагается, если можно так выразиться, – к счастью, достаточно далеко от нас, впереди, возле умывальников, да я и не смотрел в ту сторону. Мое внимание было обращено скорее налево, откуда вдруг донесся какой-то звук, какое-то бормотание, что-то вроде напева. Там, в ряду, на тонкой, вытянутой вперед шее я разглядел слегка трясущуюся голову – главным образом, в сущности, только нос и огромные, влажные, в тот миг купавшиеся в каком-то безумном почти свете глаза: раввин. Немного спустя я стал разбирать и его слова, тем более что многие в ряду перенимали их мало-помалу. «Финны», например, все, но и многие другие тоже. Более того, уж не знаю, каким путем или образом, но вот они уже как-то попали по соседству, в другие блоки, распространились и как бы расползлись, потому что и там я замечал все больше шевелящихся губ и осторожно, едва-едва, но все же положительно раскачивающихся

[16] Arbeitskommandos antreten! (немецкий) – Рабочие отряды, стройся!
[17] Appell! Das ganze Lager: Achtung! (немецкий) – Поверка! Внимание, весь лагерь!

взад-вперед плеч, шей и голов. Между тем это бормотание здесь, в середине ряда, было едва слышно, но непрерывно, как какой-нибудь гул из-под земли: «Йисгадал, вёйискадаш»[18] – звучало снова и снова, и даже я знаю, что это так называемый «Каддиш», молитва в честь умерших у евреев. Возможно, это тоже было одно упорство, последняя, единственная, может быть, – приходилось признать, – слегка вынужденная в некотором роде, я мог бы сказать «предписанная», в известном смысле выкроенная по мерке, но в то же время бесполезная форма упорства (потому что ведь там, впереди, ничего не переменилось, помимо нескольких последних судорог висельников, ничто не двинулось, ничто не дрогнуло в ответ на эти слова); и все же я как-то должен был понять то чувство, в котором как бы растворилось лицо раввина и силою которого так странно трепетали даже его ноздри. Словно бы только теперь настал здесь тот долгожданный миг, тот миг победы, о пришествии которого, я помню, он вещал еще на кирпичном заводе. И в самом деле, тогда впервые меня застигло, не знаю, почему, такое ощущение, будто мне чего-то не достает, и даже какая-то зависть, тогда впервые я пожалел немного, что не умею и сам молиться на языке евреев – хотя бы две-три фразы.

Но ни упорство, ни молитва и никакое бегство не могли избавить от одного: от голода. Я уже и дома, естественно, был голоден, или, по крайней мере, думал, что голоден; я был голоден на кирпичном заводе, в поезде, в Аушвице и даже в Бухенвальде – но таким образом, продолжительно, на долгий срок, с позволения сказать, этого чувства еще не знал. Я превратился в дыру, в какую-то пустоту, и все мои стремления, все старания были направлены к тому, чтобы истребить, заткнуть, заглушить эту бездонную, эту все более требовательную пустоту. Для этого только были у меня глаза, только этому мог служить весь мой разум, только это могло управлять всеми моими поступками, и если я не ел дерево, железо или гравий, так только потому, что их нельзя разжевать и проглотить. Но песок, например, уже пробовал, и если видел какую-нибудь траву, никогда не раздумывал – да только трава ни на заводской, ни на лагерной территории не очень попадалась, к сожалению. За одну жалкую луковку просили два ломтя хлеба, и за столько же продавали богатые счастливчики сахарную и кормовую свеклу; я вообще-то предпочитал вторую, потому что она сочнее и обычно больше, хотя знатоки выше ценят сахарную – она, мол, содержательнее и питательнее, но тут не до разборчивости было, даже если я хуже переношу ее жесткое мясо и острый вкус. Но я бывал доволен, находил своего рода утешение и в том, что хотя бы едят другие. Обед нашим охранникам всегда приносили на завод, и я не сводил с них глаз. Мо-

[18] Йисгадал вё-йискадаш (иврит, ашкеназское произношение, правильно: итгадал вэ-иткадаш) – «Да будет возвеличено и святимо...»

гу сказать, что много радости они мне, однако, не доставляли: ели быстро, второпях, не прожевывали, и, я видел, понятия не имели, что творят, на самом деле. В другой раз я был в команде, которая работала в цеху: здесь мастера распаковали то, что принесли из дому, и – помню – я долго смотрел на одну желтую, с крупными узлами руку, как она вынимает из продолговатой банки длинные стручки фасоли, один за другим, смотрел, возможно, кстати, готов допустить, в какой-то маленькой и туманной, в какой-то смутной надежде. Но эта узловатая рука – я уже знал прекрасно каждый ее узел, каждый ход, какой только можно было предвидеть, – беспрерывно двигалась по тому же пути, между банкой и ртом, все снова и снова. Потом и это скрыла от меня его спина, потому что он отвернулся, и я понял, естественно: из человечности, хотя мне хотелось бы ему сказать – не беспокойтесь, продолжайте, ведь я сам очень дорожу этим зрелищем, оно лучше, чем ничего, в известном роде. Вчерашние картофельные очистки, целый котелок, я впервые купил у одного «финна». Он предложил их во время полуденного перерыва, без всякой спешки, и в тот день, к счастью, Банди Цитром не был в одной команде со мною, иначе он мог бы помешать. «Финн» положил перед собою драную бумажку, выгреб из нее окаменевшей соли, все это неторопливо, медленно, кончиками пальцев заправил в рот, попробовал щепотку, прежде чем бросить небрежно: «Продаю!» Вообще-то цена – два ломтя хлеба или порция маргарина: он запросил половину вечернего супа. Я пробовал торговаться, ссылался на все подряд, даже на равенство. В ответ он затряс головой типичным для «финнов» движением: «Ди бист ништ ка йид, дбист а шегец, ты не еврей». Я спросил у него: «Тогда почему я здесь?» – «Почем я знать?» – пожал он плечами. Я сказал ему: «Пархатый жид!» – «Но дешевле по этому случаю еще не уступлю», – ответил он. В конце концов, я купил у него за сколько он запросил, и не знаю, откуда он взялся вечером как раз в тот миг, когда мне отмеряли мой суп, ни того, как он смог пронюхать заранее: на ужин будет молочная лапша.

Могу утверждать, что известные понятия мы способны постигнуть полностью только лишь в концентрационном лагере. В глупых сказках моего детства часто встречался, например, персонаж, известный под именем «странник» или «беглец», за руку королевны он подавался на королевскую службу, и тем охотнее, что срок службы был, за всё про всё, семь дней. «Но семь дней у меня – это семь лет!» – говорит ему король; так вот, то же самое могу сказать и я о концлагере. Никогда бы я не поверил, например, что так быстро выйдет из меня чахлый старик. Дома для этого нужно время, лет пятьдесят-шестьдесят по меньшей мере: здесь и трех месяцев было довольно, чтобы мое тело мне изменило. Могу заявить: нет ничего более мучительного, ничего более угнетающего, чем день за днем следить, день за днем учитывать, сколько в нас разрушилось еще.

Дома, хотя и не уделяя этому слишком много внимания, я был, вообще говоря, в согласии со своим организмом, любил – позволю себе так выразиться – этот механизм. Помню как-то летом, во второй половине дня, я читал в затененной комнате какой-то волнительный роман, между тем как моя ладонь с приятною рассеянностью поглаживала натянутую мускулами, загорелую, покрытую золотистым пушком, податливо гладкую кожу на бедре. Теперь эта же самая кожа висела складками, была желтая и жухлая, всевозможные прыщи, нарывы, язвы, коричневые кружки, трещины, какая-то чешуя покрывали ее, и все это противно зудело, особенно между пальцами. «Чесотка» – установил с понимающим кивком Банди Цитром, когда я ему показал. Я только дивился той скорости, тому неудержимому ритму, с которым изо дня в день убавлялась, истлевала, истаивала, исчезала куда-то с моих костей покрывающая материя, упругость, мясо. Каждый день что-нибудь новое изумляло, какой-нибудь новый изъян, новое безобразие в этом все более странном, все более чуждом предмете, который когда-то был моим добрым другом: моим телом. Я уже не мог глядеть на него без какого-то чувства раздвоения, без чего-то похожего на ужас; со временем поэтому я перестал раздеваться для умывания – это помимо моего уклонения от любых подобного рода лишних усилий, далее из-за холода, ну и, конечно, из-за обуви.

Этот предмет причинял немало огорчений, по крайней мере, мне. Вообще одеждой, которой снабжали в концлагере, я не мог быть доволен, в ней было мало целесообразного и много недостатков, больше того, она превращалась в прямой источник неприятностей – могу сказать смело: она себя не оправдала. Так, например, в пору мелких, серых дождей, которые при перемене времен года бывают затяжными, холщовый костюм превращается в жесткую печную трубу, остеречься от мокрого соприкосновения с которой всячески старается наша дрожащая в ознобе кожа – совершенно впустую, естественно. Не помогает и каторжная накидка (их, отрицать нельзя, раздали по-честному), это еще одно бремя, еще один слой мокроты, и, на мой взгляд, грубая бумага мешков из-под цемента – тоже не решение; как и многие другие, Банди Цитром тоже украл такой бумаги и носит под одеждой, наперекор всему риску, ведь такой проступок быстро выходит наружу: один удар палкой по спине, один по груди – и шуршание уже выдает вину. А если уже не шуршит, то я спрашиваю: к чему тогда это размокшее в кашу еще одно бремя, от которого даже освободиться можно только тайком?

Но всего больше, говорю, донимала деревянная обувь. Все началось с грязи, на самом деле. Вообще-то я могу сказать, что и в этом отношении мои прежние понятия не были вполне удовлетворительны. Грязь, естественно, я уже видел, даже топтал и дома – но ничего не знал про то, что грязь порой может быть нашей самой большою заботой, ареною нашей жизни. Что значит погрузиться в нее до икры, потом, напрягши все на-

ши силы, одним-единственным громко чмокнувшим рывком освободить оттуда ногу, и все только для того, чтобы снова окунуть ее туда же в каких-нибудь двадцати-тридцати сантиметрах дальше, – ко всему этому я не был приготовлен, и даже если бы и был, то напрасно. Что же касается деревянной обуви, оказалось, что у нее со временем обламывается пятка. Тогда мы ходили на толстой, вдруг сзади, в определенной точке истончавшейся и принимавшей форму гондолы подошве, раскачиваясь на этой толстой подошве, немного на манер игрушки-неваляшки. Кроме того, на месте бывшей пятки, между задником и подошвой, здесь очень тонкой, образуется растущий со дня на день зазор, через который на каждом шагу беспрепятственно вползает холодная грязь, а с нею мелкие камешки, всевозможные острые осколки. Тем временем задник уже давно натер нам щиколотку и оставил бесчисленные раны на мякоти пониже. Эти раны – такая их особенность – мокрят и, конечно, прилипают: в результате, спустя какое-то время, мы уже никакими средствами не можем от этой обуви избавиться, ее вообще нельзя снять, она пристала к ноге, будто приросла, как еще одна, новая часть тела. Обутый я был весь день, и обутый ложился спать, уже только для того, чтобы не терять времени даром, когда приходится вставать, а точнее спрыгивать вниз со своего спального места два-три раза в ночь, а иногда и четыре. И ночью еще ладно: преодолев несколько препятствий, споткнувшись и поскользнувшись в грязи между палатками, как-то все-таки добираемся до цели при свете прожекторов. Но как быть днем? Что если в команде на нас нападет понос, а это неизбежно? Тогда собираешь все свое мужество, снимаешь шапку и просишь разрешения у караульного: – «Gehorsamst zum Abort»[19] – при условии, конечно, что есть поблизости кабинка, и к тому же кабинка, которой могут пользоваться и заключенные. Но допустим, что есть, допустим, что наш караульный добрый и разрешает раз, разрешает и другой; однако – позвольте спросить – кто может быть таким храбрым, где такая отчаянная голова, чтобы подвергнуть его терпение испытанию в третий раз? В этом случае остается уже только безмолвная борьба, зубы стиснуты, живот беспрерывно содрогается, пока испытание не завершится и не возьмет верх, в конечном счете, либо наше тело, либо наша воля.

И последнее: ожиданно или неожиданно, в ответ на вызов или на старание уберечься – всегда и везде побои. Свою долю получил и я, естественно, но не больше – если и не меньше – обычной, средней, повседневной, как всякий из нас, не что-нибудь особенное, стало быть, не столько, сколько полагается при особом происшествии, а лишь по обычным условиям нашего лагеря. Единственная непоследовательность, раз уж надо сказать: я получил свое не от одного из эсэсовцев, которые все

[19] Gehorsamst zum Abort (немецкий) – Покорнейше прошу в уборную.

же, собственно говоря, были к этому больше других призваны, больше других на это уполномочены, это входило в круг их обязанностей – или как бы еще выразиться? – а от солдата в желтой форме, принадлежавшего к какой-то не совсем ясной организации под названием «Todt», что-то вроде рабочего контроля, как я слышал. Он присутствовал и заметил – но сопровождая каким криком, каким скачком, – что я уронил мешок цемента. Переноску цемента все команды, и, по-моему, с полным основанием, принимали с радостью, как редко выпадающую удачу, в которой и между собою насилу можно было признаться. Наклоняешь голову, кто-то наваливает тебе на шею мешок, с которым плетешься до грузовика, там кто-то еще снимает, потом бредешь назад славным долгим обходным путем, его границы устанавливают обстоятельства минуты, а в случае удачи еще ждешь в очереди, стало быть, снова тянешь время до следующего мешка. Теперь: мешок весит примерно десять-пятнадцать кило, по домашним условиям детская забава, я бы смело хоть и в мяч играл с этим грузом на спине – но здесь оступился, уронил. И главное, бумага лопнула, и в прореху высыпалось и на земле смешалось с пылью содержимое: материал, ценность, дорогой цемент. Он был уже рядом со мной, я уже почувствовал его кулак на своем лице, потом, когда он сшиб меня наземь, его сапог на моих ребрах, а на шее его руки, которые прижимали мое лицо к земле, вдавливали в цемент: он требовал, как безумный, чтобы я собрал его, соскреб, слизал. Потом рывком поставил меня на ноги: он мне покажет – «Ich werde dich zeigen, Arschloch, Scheisskerl, verfluchte' Judehund!»[20] – что впредь я ни одного мешка не оброню, пообещал он. С этой минуты он при каждой ходке сам нагружал мне на шею новый мешок, только мною занимался, я один был его заботой, исключительно меня провожал он взглядом до машины и обратно и ставил вперед даже тогда, когда по очереди и по справедливости надо было бы идти другим передо мною. В конце концов мы уже почти спелись, раскусили друг друга, я уже видел на его лице что-то вроде удовлетворения, поощрения, чтобы не сказать гордости, и надо признаться, в конечном счете, по праву; в самом деле, пусть я шатался, пусть сгибался, пусть бывало темно в глазах, но я выдержал, ходил туда-обратно, уносил и приносил, и без того, чтобы хоть раз уронить еще один мешок, и в последнем итоге – надо признать – в конечном счете, это подтверждало его правоту. Но с другой стороны, в конце того дня я почувствовал – что-то во мне неисправимо надорвалось; с тех пор каждое утро я думал, что это последнее, когда я еще встану; при каждом шаге – что еще одного я уже не смогу сделать; при каждом движении – что следующего уже не сумею завершить; и тем не менее покамест все еще завершал раз за разом.

---

[20] Ich werde dir zeigen, Arschloch, Scheisskerl, verfluchte' Judehund! (немецкий) – Я тебе покажу, мудак, говнюк, проклятая жидовская собака!

7

Могут выпасть случаи, могут сложиться ситуации, которые, видимо, уже никакие знания и умения не способны сделать еще тяжелее. Могу заявить, что после стольких усилий, столь многих напрасных попыток и стараний, со временем, я тоже обрел мир, покой, облегчение. Известные вещи, к примеру, которым я до того приписывал какое-то огромное, уму непостижимое значение, потеряли – могу сказать – в моих глазах всю свою важность. Так, на поверке, к примеру, когда я уставал стоять, то, не глядя, грязь там или лужа, просто садился и так и сидел, пока соседи не поднимут меня силой. Холод, сырость, ветер или дождь больше не могли меня беспокоить: они до меня не доходили, я их и не чувствовал. И даже голод прошел; я по-прежнему тащил в рот все, что только находил, все съедобное, но скорее рассеянно, машинально, по привычке, так сказать. На работе? – уже и видимости не соблюдал. Если им не нравилось, они били, это самое большое, но и побоями не могли причинить настоящего вреда, все равно я только выигрывал время: с первым же ударом я немедленно валился на землю и остальных уже после не чувствовал, потому что тем временем засыпал.

Только одно во мне усилилось: раздражительность. Если кто меня стеснял, пусть только чуть прикасался к моей коже, когда на марше я сбивался с ноги (что случалось нередко) и тогда кто-нибудь позади наступал мне на пятку, того сразу и без минуты колебанья я мог бы, например, убить на месте – если бы смог, конечно, и если бы уже не забыл, зачем поднял руку, чего, собственно, хотел. У меня бывали и перебранки с Банди Цитромом: «я опустился», я стал обузой для команды, я всем приношу несчастья, он подхватит от меня чесотку – корил он меня. Но самое главное, казалось, что в известном смысле я его стесняю, мешаю ему каким-то образом. Я заметил это, когда он однажды вечером повел меня к умывальнику. Напрасно я отбивался, протестовал, он силой снял с меня мое тряпье; напрасно пытался кулаками угодить в его туловище, в лицо, он протер холодной водой мою содрогающуюся кожу. Сто раз я ему говорил: его опека мне в тягость, оставьте меня в покое, пошел он в п..ду. Хочу подохнуть здесь, не хочу, может, вернуться домой? – спросил он, – и не знаю, какой ответ мог он прочитать на моем лице, но я вдруг увидел на его лице какое-то неприязненное изумление, что-то вроде смятения, такого примерно рода, как мы видим обычно у безнадежных бедолаг, у осужденных или, скажем, у переносчиков эпидемии: тогда мне припомнилось, как он однажды высказывался про мусульман. Во всяком случае, с тех пор он скорее избегал меня, насколько я замечал, и я, наконец, избавился от этой обузы.

Зато уж от собственного колена я никак не мог избавиться, эта боль была со мной беспрерывно. Несколько дней спустя я на него взглянул, и хотя мое тело уже ко многому и разному ме-

ня приучило, этот новый сюрприз, этот ярко-красный мешок, в который превратилось мое правое колено и всё вокруг, я нашел предпочтительным немедленно, сейчас же снова скрыть от своего взгляда. Я прекрасно знал, естественно, что в нашем лагере работает и Revier[21], но, во-первых, приемные часы падают как раз на ужин, который, в конечном итоге, я ставил выше поправки; а затем одно-другое знакомство, знание места, опыт жизни не очень-то как раз способствуют укреплению нашего доверия. И к тому же далеко: две палатки вперед, а в такой долгий путь я уже неохотно пускался, разве что крайняя необходимость вынуждала, наряду с прочим, потому что колено теперь уже очень болело. Наконец, Банди Цитром и один наш сосед по нарам все-таки отнесли меня, сложив из собственных рук сиденье, как в игре «аист несет сына»; когда меня положили на стол, то хорошо, что загодя предупредили: вероятно, будет больно, потому что немедленная операция неизбежна, а анестезирующих средств недостача, и придется оперировать без них. Тем временем, насколько я мог следить, ножом сделали два надреза, крест-накрест над коленом, и через них выдавили какую-то массу, которая собралась у меня в бедре, потом все перевязали бумагой. После этого я немедленно заговорил и про ужин, и меня заверили, что обо всем позаботились, и действительно, я мог быстро в этом убедиться. Суп сегодня из кормовой свеклы и из кольраби, которую я очень люблю, и для Revier зачерпнули ощутимо из гущи, чем я также мог быть доволен. И ночь я провел здесь, в палатке Revier, на верхнем этаже бокса, и вдобавок совсем один, и только то было в самом деле неприятно, что в обычный час поноса я уже не мог ступить на ногу, на помощь же – сперва шепотом, потом в голос и наконец уже криком – звал без толку. На следующее утро мое тело, вместе с несколькими другими, забросили на мокрую жесть открытого грузовика и отвезли в какое-то ближнее селение под названием, если я верно понял, Глейна, где стоит настоящая больница нашего лагеря. Сзади сидел на аккуратном складном табурете солдат, винтовка на коленях влажно поблескивала, он надзирал за нами в пути, и на лице его было явное недовольство, отчуждение порой, надо думать – когда вдруг долетал запах или под неизбежным воздействием того, что он наблюдал, и он корчил гримасу отвращения, впрочем, должен был признать, не без основания. Больше всего меня задевало, что он, вероятно, составил себе какое-то мнение, пришел к какому-то обобщающему выводу, и мне хотелось бы оправдаться: не только я один виноват, и что изначально я не такой, собственно, – но доказать было бы трудно, естественно – я признал. Когда мы прибыли, первым делом пришлось выдержать внезапный натиск струи из резинового шланга, вроде тех, что для поливки огорода; вода достала повсюду и смыла с меня всё – остатки лохмотьев, нечистоты, а

[21] Revier (немецкий) –изолятор.

заодно и бумажную перевязку. Зато потом отвели в какой-то зал, дали рубаху и указали место на нижнем ярусе двухэтажной дощатой кровати; там я мог лечь на соломенный матрас, который, несомненно, мой предшественник уже изрядно сбил, изрядно сплющил и испещрил подозрительными пятнами там и сям, подозрительно пахнущими и окрашенными и подозрительно похрустывающими, но и за всем тем свободный соломенный матрас, где мне оставили самостоятельно решать, как проводить время и, прежде всего, выспаться до отвала, наконец.

Кажется, мы всегда приносим с собой на новое место старые привычки: мне в больнице пришлось поначалу бороться со многими глубоко закореневшими навыками. К примеру, совесть: первое время она будила меня ежедневно, в точности на заре. В другой раз я просыпался в ужасе: проспал поверку, меня уже ищут там, снаружи, и только медленно утихало сердце, я отдавал себе отчет, что ошибся, воспринимал открывавшуюся мне картину, свидетельство реальности – я у себя дома, все в порядке, вон кто-то скулит, дальше болтают, вон еще кто-то, со странною немотою, уставил в потолок свой острый нос, застывший взор, разинутый рот, а что у меня только рана болит, ну и еще – как всегда – очень хочется пить, это, скорее всего, от жара. Потребовалось известное время, пока я окончательно поверил: нет поверки, я не должен смотреть на солдат и, главное, ходить на работу – и никакие сопутствующие обстоятельства, никакая болезнь не способны, в принципе, эти преимущества испортить, по крайней мере – для меня. Время от времени меня тоже поднимали на второй этаж, в маленькую комнату, где работали два врача, один помоложе, другой постарше: я был, так сказать, пациентом второго. Это был худой симпатичный брюнет, в чистом платье, в туфлях, с повязкой на рукаве и с приличным, запоминающимся лицом, похожий на приветливую, старую лису. Он спросил, откуда я, и сам рассказал, что родом из Трансильвании. Между тем, он уже содрал с меня разлохматившуюся бумажную перевязку, в области колена уже снова затвердевшую и цветом зеленовато-желтую, потом, надавливая обеими руками, выжал из моего бедра то, что там за это время накопилось, и, наконец, каким-то инструментом, похожим на вязальный крючок, затолкнул кусочек скрученной марли между кожей и мясом, как он объяснил: для «продолжения оттока», для «процесса очистки», чтобы рана не затянулась до срока. Что до меня, я рад был это слышать, ведь, в конце концов, никаких дел снаружи у меня нет, с выздоровлением я нисколько не спешу, если хорошенько подумать. Меньше по вкусу мне было другое его замечание. Это одно отверстие на моем колене он считал недостаточным. На его взгляд, надо было бы сделать разрез и сбоку и соединить его и самый первый еще одним, третьим. Он спросил, решаюсь ли я, а я очень удивился, потому что он так смотрел на меня, словно бы на самом деле ждал моего ответа, если не согласия, – чтобы не сказать: разреше-

ния. Я сказал ему: «Как вам будет угодно», – и он на это сразу же заявил, что тогда всего лучше не мешкать. Тут же на месте он и взялся за дело, но только я вел себя немного шумно, не мог с собою справиться, и это, я видел, его стесняло. Много раз он напоминал: «Так я не могу работать» – и я пытался оправдываться: «Я не виноват». Продвинувшись на несколько сантиметров, он бросил, план остался не доведенным до конца. Тем не менее, он казался довольным: «Это уже что-то», ведь теперь, по крайней мере, он мог выдавливать из меня гной в двух местах – так он рассуждал. И время в больнице проходило: если я не спал, всегда занимали голод, жажда, боли в области раны, какие-нибудь разговоры, какая-нибудь процедура – занимали, но без занятий, и смело скажу больше: именно благодаря этой приятно покалывающей мысли, в сознании этой привилегии, всегдашнего и неиссякаемого источника радости, мне было очень хорошо. Я расспрашивал вновь поступавших: что нового в лагере, из какого они блока, и не знают ли случайно одного по имени Банди Цитром из Block Fünf, среднего роста, со сломанным носом, передних зубов нет, но никто не вспомнил. Раны, которые я видел в процедурной, были чаще всего похожи на мою, также главным образом на бедре или на голени, хотя случались и выше, на ляжке, на заду, на руке, даже на шее и на спине, в науке они известны под названием «флегмона», как я часто слыхал, в их появлении и частоте в обычных условиях концлагеря нет ничего особенного или удивительного – это я узнал от врачей. Немного спустя начали прибывать те, кому приходилось отрезать один, два, а случалось, и все пальцы на ноге, они рассказывали: там, снаружи, в лагере, зима, и в деревянной обуви ноги у них обморозились. В другой раз в перевязочную вошел высокий, по-видимому, чин в платье заключенного, сшитом у портного. Я услыхал произнесенное тихо, но вполне внятно слово «Bonjour» и по нему, но также по букве «F» в красном треугольнике тут же догадался, что он француз, а по надписи «O. Arzt» на рукаве – что он главный врач нашей больницы, наверно. Я долго следил за ним, потому что давно уже не видел такого красивого человека, который мог бы с ним равняться: он не был очень высокий, но его костюм был пропорционально наполнен мясом, натянутым на костяке, и в достаточном количестве повсюду, лицо тоже полное, каждая черта его собственная, ни с какой чужою не спутаешь, способная выразить чувство и дать распознать оттенки, подбородок круглый, с ложбинкой посредине, кожа смугловатая, оливкового оттенка, отсвечивает тускло в падающем свете, так, как вообще отсвечивала кожа когда-то, еще давно, дома, среди людей. Он показался мне еще не очень пожилым, так, пожалуй, около тридцати. Я видел, что и врачи очень оживились, стараются ему угодить, все ему объяснить, но, заметил, не столько по-лагерному, сколько, скорее, как-то по старинному, из дому принесенному и как бы сразу вызывающему воспоминания обычаю, с тою изы-

сканностью, радостью, компанейским усердием, какие бывают, когда нам открывается возможность показать, что мы отлично понимаем и говорим на каком-нибудь языке культуры, например, как в этом случае, по-французски. А с другой стороны, – я не мог не видеть, – главный врач, вероятно, не придавал этому никакого значения: он всё осматривал, отвечал одним-двумя словами или даже кивком головы, но все это медленно, тихо, хмуро, безучастно, с неизменным выражением уныния, почти тоски на лице и в карих, цвета ореха глазах. Я только дивился, потому что никак не понимал, что может быть этому причиной у такого обеспеченного, благополучного и избранного, который, к тому же, поднялся так высоко. Я пытался всматриваться в его лицо, следить за каждым движением, и только мало-помалу мне пришло в голову: сомнений никаких, в конечном счете все-таки и он вынужден быть здесь; только мало-помалу, и при этом не без изумления, не без чего-то, похожего на безмятежную оторопь, во мне укрепилось впечатление, мне казалось, я стал смекать, что, судя по всему, вот в чем дело... ну, словом, что сама по себе неволя может его угнетать, по-видимому. Я уже почти было решился сказать ему: не горюйте, ведь это еще самая малость, – но побоялся, не выйдет ли дерзость, и потом я вспомнил – верно, я же не знаю по-французски.

В общем и целом, я проспал и переезд. Еще раньше до меня доходил слух: на месте палаток в Цейце поставлен зимний лагерь, выстроены каменные бараки, среди которых не забыли и про больничный. Снова бросили меня в грузовик – судя по темноте, был вечер, судя по холоду, была примерно середина зимы, – и уже следующее, что я различил, была хорошо освещенная, холодная площадка при входе в какое-то гигантское помещение, а в нем деревянная ванна, от которой несло химикалиями: в нее пришлось потом и мне окунуться до макушки, в виде умывания, жалобы, просьбы, протесты – всё впустую, и не только холод ее содержимого бросал меня в дрожь, но и то, что – я не мог этого не видеть – все остальные больные погружались в ту же самую коричневую жижу до меня, и конечно, со своими ранами и со всем прочим. А потом и здесь начало проходить время, и здесь в основном так же, как в прежнем месте, с немногими отклонениями. Например, в нашей новой больнице нары были трехэтажные. И к врачу водили реже, так что моя рана очищалась здесь, на месте, на свой лад, как могла. К тому же вскоре заболело и левое бедро, а потом появился уже знакомый ярко-красный мешок. Несколько дней спустя, прождавши попусту: не пройдет ли или не случится ли, может быть, чего другого тем временем, хочешь не хочешь, пришлось обратиться к санитару, и после новых напоминаний, после новых нескольких дней ожидания подошла моя очередь к врачам, в прихожую барака; таким образом теперь, кроме правого колена, появился и другой разрез, на левом бедре, примерно с ладонь. Опять меня поставило в неприятное положение мое место – на нижних

нарах, как раз напротив высоко прорезанного, маленького окна без стекол, оно глядело в неизменно серое небо, и, видимо, пар от дыхания постоянно обвешивал сосульками и покрывал щетинистым инеем его железную решетку. А на мне было только то, что полагается больному: короткая рубаха без пуговиц и выдававшаяся на зиму глядя странная вязаная шапка зеленого цвета, на ушах круглой формы, а на лбу клинообразной, вроде как у чемпионов по бегу на коньках или у актера, воплощающего на сцене Сатану, а впрочем очень пригодная. Так что я сильно мерз, в особенности после того, как лишился одного из двух своих одеял, отрепьями которого до тех пор вполне терпимо мог восполнять изъяны другого: одолжи ненадолго, он после вернет – это санитар так сказал. Напрасно я пытался держать обеими руками, вцепиться в край, он оказался сильнее, и, помимо потери, мне как-то не давала покою мысль, что одеяло – по крайней мере, насколько мне известно – обыкновенно и главным образом стягивают с тех, чей конец и без того считают недалеким, скажу прямо – ждут. В другой раз меня предупредил голос, который уже сделался хорошо знакомым, тоже с одной из нижних постелей, но откуда-то позади меня: опять, вероятно, появился санитар, опять с новым больным на руках и как раз высматривает, к кому, в какую бы постель его положить. Но ему – мы имели возможность узнать – тяжесть его случая и разрешение врача давали право на отдельную постель, и он орал таким страшным голосом, громыхал: «Протестую!», доказывал: «Имею право! Спросите у врача!», и снова: «Протестую!», что санитары, в конце концов, и вправду сваливали свой груз всякий раз в другую постель – так, к примеру, в мою, и я получил в товарищи по спальному месту приблизительно своего ровесника, так казалось. Это желтое лицо и большие горящие глаза я вроде бы уже видел, но, правда, здесь желтое лицо и большие горящие глаза были у каждого. Первое его слово было, не найдется ли у меня попить воды, и я ему ответил, что и сам бы, конечно, не отказался; второе, сразу вслед за первым: а сигарета?.. но и с этим, понятно, не повезло. Он предложил хлеб в обмен, но я дал ему понять, чтобы он не тратил слов впустую, не в этом дело – нету: тогда он замолчал на какой-то срок. Я подозреваю, у него был жар, потому что от тела, которое непрерывно дрожало, все время исходило тепло – это было и полезно, и приятно. Уже меньше радовало то, что он так много брыкался и вертелся ночью, и конечно, не всегда с должной заботой о моих ранах. Я ему и сказал: эй, будет, можешь уже успокоиться хоть капельку, он и послушался под конец. Только утром я увидел, почему: к кофе я уже напрасно старался его разбудить. Тем не менее я подставил санитару и его котелок, очень поспешно, когда тот гаркнул на меня, и как раз тогда, когда я собирался рассказать, что произошло. Потом я взял и его порцию хлеба, так же как и его суп вечером, и в следующие дни тоже, пока однажды он не начал вести себя очень странно: тогда уже все-таки

пришлось сказать, я не мог дольше держать его здесь, в своей постели, в конце-то концов. Я немного тревожился, потому что запоздание было уже, конечно, заметно, а его причину при некотором знании дела (на которое я все же мог рассчитывать, наконец), казалось, так легко угадать, – но сошло, не сказали, слава богу, ничего, и после оставили пока без товарища.

Здесь также я познакомился по-настоящему с тем, что такое паразиты. Блох поймать я не мог никоим образом: они были проворнее, вполне понятно, ведь, в конечном счете они питались лучше моего. Ловить вшей мне было бы легко, да только смысла в этом не было. Когда я уж очень на них злился, я просто так, наудачу проводил ногтем большого пальца по холсту рубахи, натянутой у меня на спине, и по очереди хорошо слышных тресков мог измерить мщение, мог насладиться истреблением – но минуту спустя уже спокойно мог начинать сначала, опять на том же самом месте и опять с тем же самым результатом. Они были повсюду, пробрались во все укромные уголки, моя зеленая шапка посерела, кишела ими, только что не шевелилась. И однако всего больше я был удивлен, поражен, а потом и ужаснулся, когда, вдруг почувствовав щекотку на бедре, я приподнял бумажную перевязку и увидел, что они уже и на моем мясе, питаются моею раною. Я пробовал их отряхивать, освободиться от них, хотя бы оттуда выжить, выковырять, хотя бы к капле терпения, ожидания их принудить – и могу сказать с уверенностью, никогда я не ощущал борьбу столь безнадежной, как эта, сопротивление столь упорным, столь бесстыдным, можно бы сказать. Через какое-то время я бросил и уже только глядел на эту ненасытность, на это копошение, жадность, аппетит, на это откровенное блаженство: в известном роде как будто бы уже был знаком немного откуда-то. Тогда я и заметил: как-то я могу их понять, если все обдумать. В конце концов, мне почти полегчало, отвращение почти прошло. Радости не было по-прежнему, по-прежнему я был огорчен немного, и это, наконец, понятно, так я думаю – но уже скорее только в общем, без злобы, немножко, из-за всего устройства природы, так сказать; во всяком случае, я быстро их прикрыл и в дальнейшем уже на борьбу с ними не поднимался, больше их уже не беспокоил.

Могу высказать мнение: нет такого большого опыта, такого полного покоя, такой силы благоразумия, по-видимому, чтобы мы не дали еще одного, последнего шанса нашему везению– при условии, что найдем к тому средство, естественно. Так, когда вместе со всеми теми, кого поставить здесь на работу слишком больших надежд уже явно не оставалось, меня тоже послали назад в Бухенвальд, словно вернули отправителю, – всеми сохранившимися у меня способностями я разделил, естественно, радость остальных, потому что тамошние хорошие деньки, а в особенности супы по утрам сразу же пришли мне на память. Но я не подумал, признаюсь, о том, что сперва еще надо добраться, и по железной дороге, и в обычных для такого путеше-

ствия условиях; во всяком случае, могу сказать, есть вещи, которых до тех пор я никогда не понимал и которым с трудом мог бы поверить вообще. Например, такое выражение, как «бренные останки», которое я часто слышал раньше, в моем прежнем понимании могло относиться исключительно к усопшему. Но что касается меня самого, сомнений быть не могло, я был жив, пусть мерцая, словно прикрученный до конца фитиль, но все же еще горело во мне что-то, огонь жизни, как принято говорить, – а с другой стороны, вот оно было мое тело, я знал про него всё в точности, только лишь меня самого в нем уже не было каким-то образом. Я без малейших усилий отметил, что этот предмет, вместе с другими, подобными предметами по бокам и сверху, лежит здесь, на холодной, пропитанной разной подозрительной мокротой соломе, покрывающей тряский пол вагона, что бумажная перевязка уже давно отстала, разлезлась, оборвалась, моя рубаха и каторжные штаны, в которые меня одели на дорогу, прилипли к открытым ранам – но все это не затрагивало меня впрямую, не интересовало, не влияло больше, и даже могу утверждать, уже давно я не чувствовал себя так легко, покойно, в таком мечтательном настроении, скажу напрямик: так приятно. Впервые после долгого времени я избавился, наконец, и от мук раздражительности: тела, прижатые к моему, больше не мешали, скорее я как-то даже радовался тому, что они здесь, что они со мной, что они такие родственные и такие похожие на мое, и тут впервые мною овладело какое-то непривычное, противоестественное, какое-то неловкое, я бы сказал, нескладное чувство к ним – может быть, любовь, пожалуй, я думаю. И то же самое я замечал с их стороны. Надеждой, правда, как вначале, они уже больше меня не подбадривали. Может быть, это – помимо остальных трудностей, естественно, – делало такими негромкими, а с другой стороны, такими домашними одновременно, на фоне общего стона и вырывающегося сквозь зубы дыхания, свистящего болью, на фоне тихих жалоб, иные проявления, которые слышались иногда: редкие слова утешения и успокоения. Но могу сказать, у кого только была возможность, не скупились и на действия, и мне тоже, например, милосердные заботы подающих рук доставили, кто знает из какого далека, жестянку из-под консервов, когда я дал знать: мне надо помочиться. И когда наконец у меня под спиной – не знаю как, когда и чьими хлопотами – вместо досок вагона вдруг оказались подернутые льдом лужи на каменном полу, могу сказать, для меня уже немного значило, что мы благополучно прибыли в Бухенвальд; я уж и забыл давно, что это, в конечном результате, то самое место, куда я так стремился. Понятия не имел и о том, где я: еще на вокзале или уже внутри, не узнавал окрестность, не видел ни дороги, ни вилл, ни статуи, хотя очень хорошо все помнил.

Во всяком случае, мне казалось, я долго пролежал таким образом – мирно, тихо, не любопытствуя, терпеливо, там, куда положили. Холода, боли не чувствовал, и даже о том, что на

лицо мне сеется что-то колючее, среднее между снегом и дождем, извещал скорее разум, чем кожа. Я подумывал о том, о сем, поглядывал на то, что само попадалось на глаза, без всяких лишних движений, усилий: например, на низкое, серое и мутное небо над головой, точнее, на свинцовые, медлительные, зимние облака, которые укрывали его от моих глаз. Но все-таки то тут, то там на какое-то мгновение в них появлялся вдруг проем, неожиданная щель, светлая дыра, и это было как внезапное предчувствие некой бездны, из которой в этот миг на меня упал сверху какой-то луч, быстрый, испытующий взгляд, открылся неопределимого цвета, но в любом случае, вне всякого сомнения, светлый глаз – вроде бы как у врача, перед которым я оказался когда-то, еще в Аушвице. Прямо рядом со мной в мой угол зрения попал нелепый предмет: деревянный башмак, а по другую сторону чертова шапка, похожая на мою, две остроконечные принадлежности – нос и подбородок; между ними пустая впадина: лицо. За ним еще головы, предметы, тела; я понял, что это остатки груза, отходы, точнее говоря, которые пока, наверно, сложили сюда, в сторону. Сколько-то спустя, и я не знаю, был то час, или день, или год, я отметил, наконец, голоса, шорохи, шум работы, перекладывания. Голова рядом со мной вдруг приподнялась и пониже, у плеч, я увидел руки в рукавах заключенного, они собирались забросить тело на какое-то подобье тачки или тележки, поверх кучи других, уже на нее наваленных. В тот же миг моих ушей достигли обломки слова, которое мне едва удалось разобрать, и еще большего труда мне стоило узнать – а ведь надо было помнить! – в этом хриплом шепоте такой звонкий когда-то голос. «Про-те-с-тую...» – пробормотал он. На одну секунду, прежде чем продолжить свой взлет, он остановился в воздухе, словно от удивления, так я почувствовал, и тут же я услыхал другой голос, ясное дело, того, кто держал его за плечи. Голос был приятный, мужественный, дружелюбный; особый лагерный немецкий с небольшим акцентом свидетельствовал, по-моему, скорее об известной растерянности, своего рода изумлении, чем о злобе: «Was? Du willst noch leben?»[22] – спросил он, и в самом деле, я тоже в ту минуту нашел это странным, ничем не обоснованным и, в общем, достаточно глупым. Тут я твердо решил: что до меня, я буду разумнее. Но уже наклонились и надо мною, и я не смог не сощуриться, потому что чья-то рука шарила по соседству с моими глазами, а после и меня швырнули на середину клади в тележку поменьше и стали толкать куда-то, не очень хотелось знать, куда. Только одно меня занимало, одна мысль, один вопрос, который только в эту минуту пришел мне на ум. Может, это моя вина, что я не знал, но, что поделаешь, я никогда не был настолько предусмотрителен, чтобы поинтересоваться насчет бухенвальдских обычаев, правил, методов, одним словом – как это делают

[22] Was? Du willst noch leben? (немецкий) – Что? Хочешь еще жить?

здесь: газом ли, как в Аушвице, или с помощью лекарства, о чем я также там слыхал, возможно, пулею или еще как-нибудь, одним из тысячи других способов, для которых моих знаний недостаточно, – я понятия не имел. Во всяком случае, я надеялся, что больно не будет, и, как ни странно, возможно, но и она, эта надежда, была такая же точно настоящая, так же точно наполняла меня, как другие, более доподлинные – если можно так выразиться, – которые мы связываем с будущим. Только тогда я узнал, что самолюбие – это такое чувство, которое сопровождает человека до последнего дыхания, по-видимому, потому что, в самом деле, как ни терзала меня эта неопределенность, я ни о чем не спросил, ничего не попросил, я даже беглого взгляда не бросил назад, на того или на тех, кто толкал тачку. Дорога привела к повороту на высоте, и вдруг широкая панорама открылась внизу подо мною. То был густо заселенный пейзаж на исполинском склоне, с одинаковыми каменными домиками, с аккуратными зелеными бараками и особой их группой несколько более мрачных, возможно новых и еще не покрашенных, со сложным, но, видимо, упорядоченным переплетением внутренних проволочных оград между различными зонами и – подальше – с массою громадных, сейчас обнаженных деревьев, теряющихся в тумане. Не знаю, чего ждала перед дальним зданием толпа голых мусульман, в сопровождении нескольких чинов, разгуливавших взад-вперед, и, если глаза меня не обманывали, нет, действительно, по их табуреткам и проворным движениям я их сразу узнал: парикмахеров – таким образом, выходит, они ждали, наверняка, бани, чтобы их потом впустили в лагерь. Но и дальше вглубь замощенные булыжником лагерные улицы тоже заполнены движением, незначительными хлопотами, суетой, знаками времяпрепровождения – старожилы, хворые, важные особы, кладовщики, счастливые избранники из внутренних команд приходили-уходили, исполняли повседневные свои обязанности. Здесь и там подозрительные дымы смешивались с более приветливыми парами, откуда-то мягко поднималось ко мне знакомое позвякивание, как колокольный звон в наших снах, и мой любопытный взгляд наткнулся там, внизу, на процессию, несущую что-то тяжелое, на плечи положены жерди, на жердях дымящиеся котлы, жерди сгибаются от их тяжести; и в воздухе, отдающем кислятиной, я издали узнал, сомнений не было, аромат супа из репы. Напрасно, потому что этот вид, этот аромат смогли извлечь из моей груди, уже онемевшей в остальном, то чувство, чья нараставшая волна оказалась еще способна выжать из иссохших глаз несколько капель потеплее, которые, посреди холодной сырости, окропили мое лицо. И впустую все рассуждения, разум, понимание, здравые мысли – я не мог не услышать в себе чего-то тишком прокравшегося, похожего на тоску по чему-то, словно бы и стыдящегося своего безрассудства, и все же упорствующего: хотелось бы еще немножко пожить в этом славном концентрационном лагере.

8

Надо признаться: есть вещи, которых я никогда не сумел бы объяснить, не сумел бы в точности, нет, откуда ни взгляни, со стороны ли моих ожиданий, правил, разума – словом, со стороны жизни, порядка вещей, насколько я уже с ними знаком, по крайней мере. Так, когда меня где-то снова сгрузили с тачки на землю, я никак не понимал, что может быть общего между мною и, например, машинкой и бритвой. Битком набитое помещение, по первому впечатлению в точности как душ, где и меня уложили на скользкую деревянную решетку посреди бесчисленных ступней, пяток, пинавших и топтавших меня, посреди покрытых язвами голеней и костей, в общем и целом уже больше отвечало примерно моим ожиданиям. Вскользь мелькнула последняя мысль: ну вот, похоже, аушвицкие порядки в ходу и здесь, по-видимому. Тем больше было мое удивление, когда после недолгого ожидания, а потом свистящих, клокочущих звуков вдруг из кранов наверху полилась вода, обильными струями, горячая вода. Я не слишком обрадовался, потому что охотно погрелся бы еще немножко, но поделать ничего не мог, когда внезапно неодолимая сила исторгла меня из этого копошащегося леса ног и, между тем, завернула меня кругом во что-то вроде большой простыни, а сверху еще в одеяло. После я помню плечо, на котором висел головой назад, ногами вперед; дверь, крутые ступени узкой лестницы, еще дверь, потом помещение, зал, можно бы сказать комнату, где, кроме размеров и освещения, мой недоверчивый взгляд поразила почти казарменная роскошь обстановки, и, наконец, кровать – обыкновенная, настоящая кровать, как видно, на одного, с хорошо набитым соломенным тюфяком и двумя серыми одеялами – на нее я и перекатился с того плеча. Еще – двух людей, обыкновенных, красивых, с лицами, с волосами, в белых штанах, майках, деревянных шлепанцах; я разглядывал их, любовался ими, а они смотрели на меня. Тут только я обратил внимание на их рты, и на то, что какой-то певучий язык какое-то время уже звучит у меня в ушах. У меня было чувство, что они хотят что-то у меня узнать, но я мог только головой покачать: «Не понимаю». В ответ я услышал от одного из них по-немецки, но с очень странным акцентом: «Hast du Durchmarsch?»[23] – то есть, нет ли у меня поноса, и с некоторым изумлением я отметил, что мой голос – почему? – ответил «Nein» – думаю, опять-таки, снова только из самолюбия, наверно. Тогда – коротко посовещавшись и посуетившись – они всунули мне в руки два предмета: посудину с остывшим кофе и хлеб, по моим соображениям, приблизительно шестую часть хлебца. Я мог его взять, мог его съесть, ничем не отплачивая, ничего не давая в обмен. Тут же мои внутренности подали признаки жизни, начали волноваться,

[23] Hast du Durchmarsch? (немецкий) – Понос у тебя есть?

бунтовать и на какое-то время приковали все мое внимание, а главное, все мои силы, чтобы мне как-нибудь случайно не выдать своего обмана. Потом я опомнился – заметил, что один из двух снова здесь, но теперь уже в сапогах, в красивой темно-синей шапке, в куртке заключенного с красным треугольником.

Тут снова на плечо, вниз по лестнице, и на этот раз прямо наружу, на вольный воздух. Скоро мы вошли в просторный деревянный барак серого цвета, лечебное заведение вроде Revier, если я не ошибался. Нечего и говорить, тут я уже нашел все примерно и в целом соответствующим моим ожиданиям, все, в конечном счете, было в полном порядке, чтобы не сказать «уютно и по-свойски», вот только предыдущее обхождение – кофе и хлеб – я не совсем понимал. Вдоль нашего пути, во всю длину барака нас приветствовал старый знакомый – ряд трехэтажных боксов. Каждый набит под завязку, и сколько-нибудь наметанный глаз, какой, к примеру, могу сказать, имею я, был способен и в этом хаотическом смешении бывших лиц, кожи, изукрашенной язвами и чесоткой, костей, отрепьев, в груде заострившихся конечностей легко разглядеть, что все эти принадлежности могут означать по меньшей мере пять, а в иных случаях и шесть тел на отсек. К тому же напрасно искал я на голых досках солому, полагавшуюся, в конце концов, для подстилки даже в Цейце, – но по тому времени, на которое я, по-видимому, еще могу здесь рассчитывать, это не такая уж важная подробность, верно, я был согласен. И тут новая неожиданность – а мы тем временем остановились, и до моих ушей дошел разговор, что-то вроде переговоров между человеком, который меня нес, и еще кем-то, естественно. Сперва я даже не знал, хорошо ли вижу, но нет, я не мог ошибиться: барак здесь был прекрасно освещен сильными лампами. Слева и здесь я видел два ряда обычных боксов, но доски здесь были застланы слоем стеганых одеял, красных, розовых, синих, зеленых и лиловых, поверх еще один слой, из таких же одеял, а между двумя слоями – тесно друг к другу, наголо остриженные детские головы, мальчики помоложе-постарше, но в среднем примерно моего возраста, робко выглядывают. И только я успел все это заметить, как меня поставили на пол, и кто-то меня поддерживал, чтобы я не упал, чтобы снять с меня одеяло и наскоро перевязать мне бумагой колено и бедро, а потом натянуть на меня рубаху; и вот я уже вполз между двумя слоями стеганых одеял и между двумя мальчиками, поспешно потеснившимися, на средние нары.

Там меня и оставили после, опять без всяких объяснений, и снова я мог положиться только на ход собственных мыслей. Во всяком случае, нельзя было не признать, я здесь, и этот факт – я не мог этого отрицать – с каждым мгновением возобновлялся, снова и беспрерывно, держался все дальше и дальше. Позже я усвоил еще кое-какие нужные сведения. Здесь, например, по-видимому, скорее начало барака, чем ко-

нец, как показывала и дверь напротив, открывавшаяся наружу, и размеры светлого пространства передо мною – пространства для передвижения и для работы начальников, писарей, врачей, на самом видном месте оно было оборудовано чем-то вроде стола, покрытого белой простыней. Кого приютили деревянные коробки чуть подальше, позади, у тех большею частью была дизентерия или тиф, а если не была, так будет, по крайней мере, по всей вероятности. Первый признак – как дает знать также неистребимый запах – Durchfall, иначе Durchmarsch[24], о чем прежде всего спросили меня люди из банной команды, и по этому признаку – признаю – мое место, собственно, было бы здесь, если бы так случилось, что на их вопросы я ответил бы правду. Дневное довольствие и кухня в общем были, по-моему, как в Цейце: утром кофе, суп уже задолго до полудня, пайка – треть хлебца или четвертушка, но тогда большей частью с Zulage. О времени дня из-за постоянно одинакового освещения, на которое нисколько не влияли свет или темнота в окнах, я мог судить с трудом, уже только по некоторым безошибочным приметам: так, об утре – по кофе, о том, что пора спать – по «спокойной ночи», которым нас ежевечерне напутствовал врач. Уже в первый же вечер я завязал с ним знакомство. Я обратил внимание на какого-то человека, который остановился перед нашим боксом. Очень высоким он быть не мог, потому что его голова была примерно на одном уровне с моей. Лицо было не только что полное, но прямо-таки пухлое, местами даже слишком, и не только с усами, закрученными в кольцо и уже почти совсем седыми, но, к большому моему изумлению, – потому что до сих пор в концлагере никогда еще этого не видел, – с такою же седой, очень ухоженной бородой, маленькой и аккуратно заостренной на подбородке. На нем была большая, высокого достоинства шапка, темные шерстяные брюки, но, хотя и сшитая из хорошей ткани, куртка заключенного, с нарукавной повязкой, с красной меткой и с буквой «F» в ней. Он подробно осмотрел меня, как принято осматривать вновь поступающих, и что-то мне сказал. Я ответил единственной фразой, какую знаю по-французски: «Жё нё компран па, мёсьё»[25]. «Уи, уии, – сказал он на это полнозвучным, дружелюбным, немного хриплым голосом, – бон, бон, мон фис»[26], – и с этими словами положил на одеяло перед моим носом кусочек сахара, настоящего, в точности такого, какой я помнил еще из дому. Потом он обошел всех остальных ребят, в обоих боксах, на всех трех ярусах, и каждому из них досталось по кусочку сахара из его кармана. Одни просто получали

[24] Durchfall, Durchmarsch (немецкий) – понос.

[25] Жё нё компран па, мёсьё (Je ne comprends pas, monsieur – французский) – я не понимаю, месье.

[26] Уи, уии, ... бон, бон, мон фис (Oui, ouii... bon, bon, mon fils– французский) – Да, даа... хорошо, сынок.

свой кусочек, перед другими он задерживался подольше, а некоторые могли с ним и заговорить, а он как-то особо трепал их по щеке, болтал и щебетал с ними, ну прямо как иной раз человек со своими любимыми канарейками в отведенный им час. Еще я заметил, что кое-каким его любимчикам, главным образом тем, кто понимал его язык, досталось по второму кусочку сахара. Тогда я признал то, чему меня всегда наставляли дома, что образование, в самом деле, вещь очень полезная, и особенно знание иностранных языков.

Все это, говорю, я понял, принял к сведению, но только с таким чувством, я мог бы даже сказать, на том условии, что между тем чего-то ожидал, хотя и не мог знать точнее, чего именно, ну, допустим, поворота, ключа к разгадке, пробуждения, так сказать. На следующий день, например, когда посреди другой работы у него нашлось для этого время, врач указал пальцем на меня. Меня вытянули с моего места и усадили перед ним на стол. Он извлек из горла несколько дружелюбных звуков, осмотрел меня, простукал, коснулся холодным ухом, колючими кончиками усов моей груди, спины, знаком приказал: вздохни, покашляй. Потом уложил меня на спину, велел кому-то вроде санитара снять с меня бумажные бинты, и он занялся моими ранами. Поглядел, сперва только издали, потом очень осторожно ощупал вокруг, и в ответ немедленно появилось что-то из внутреннего содержимого. Тогда он хмыкнул и озабоченно покачал головой, словно это как-то огорчило, несколько расстроило его, так мне показалось. Быстро забинтовал снова, точно убрал с глаз долой, и я должен был понять, что эти раны не слишком ему понравились, и он никак не мог с ними примириться, остался ими недоволен.

Но и в других отношениях я не прошел экзамена, ничего не поделаешь. Например, никак не мог сговориться с ребятами, которые лежали рядом. А они друг с другом общались беспрепятственно – через меня, поверх моей головы или перед нею, но так, будто она была только какою-то помехой на путях между ними. Еще до того осведомились, кто я да что. Я сказал: «Ungar» – и услышал, как тут же вдоль и поперек побежал слух: венгерски, венгрия, мадьярски, матьяр, онгроа, и еще многое разное другое. Один даже сказал: – Хеньир – то есть «кэньер», хлеб, и то, как он засмеялся и целый хор подхватил его смех, не могло оставить у меня никаких сомнений, что он с нашим братом уже знаком, и довольно основательно. Это было неприятно, и мне хотелось как-то довести до их сведения: это недоразумение, ведь венгры-то не считают меня одним из своих, что в общем и целом я тоже могу разделить их взгляд на них и что я нахожу очень странным и даже более того, в первую очередь, недостойным, что здесь именно из-за них на меня смотрят косо – но мне пришла в голову глупая помеха, а именно что я мог бы высказать им это только по-венгерски, конечно, или, в крайнем случае, по-немецки, а это еще хуже, я и сам так находил.

Далее, была другая ошибка, еще один грех, которого я не мог скрыть никакими усильями, день за днем, в конечном счете. Я скоро узнал, что в случае нужды принято звать парня только чуть постарше нашего и с виду похожего на помощника санитара. В таких случаях он появлялся с плоской посудиной на длинной рукоятке и мы ее заталкивали под одеяло. Потом опять надо его звать: «Bitte! Fertig! Bitte!»[27], покуда не подойдет забрать. Ну так вот, законность такой потребности раз-другой в день не мог бы оспаривать никто, даже и он сам. Да только я-то утруждал его три, а в иной день и четыре раза, и это уже, я видел, его злило, что, впрочем, вполне понятно, отрицать не могу и не стану. Однажды он даже отнес посудину к доктору, что-то объяснял ему, доказывал и все показывал на содержимое, а тот задумался на миг над вещественной уликой, но потом помахал рукой и покачал головой – в знак отказа, безошибочно. Вечером я не остался и без сахара: все было в порядке, выходит – я мог снова твердо угнездиться в несомненной и на тот день, во всяком случае, еще не поколебленной, кажущейся несокрушимою надежности стеганых одеял и согревающих тел.

На другой день, когда-нибудь между кофе и супом, из внешнего мира вошел человек, очень высокая персона, я сразу заметил. Большая шапка черного фетра, как у художника, безукоризненно белый халат, под ним стрелка брюк, как лезвие бритвы, обут в начищенные до блеска полуботинки, а лицо испугало меня не только какою-то грубостью черт, словно бы вырубленных зубилом, какой-то чрезмерной мужественностью, но и кожей, поразительно лилово-красной, точно бы свежесодранной, чуть ли не открывающей глазу сырое мясо. В остальном высокий, полный, на висках черные волосы уже смешиваются с седыми, заложил руки за спину, и с моего места не разобрать, что обозначено на его нарукавной повязке, но особенно знаменательно, что на красном треугольнике не обозначено ничего: зловещий знак беспримесной немецкой крови. Вдобавок впервые в жизни я мог поглядеть на заключенного с номером не в десятках тысяч, не в тысячах и даже не в сотнях, но только о двух цифрах. Наш врач немедленно заспешил его приветствовать, потрясти ему руку, слегка похлопать по плечу, одним словом – снискать его расположение, словно долгожданного гостя, который наконец удостоил дом своим визитом – и, к моему величайшему изумлению, я вдруг должен был убедиться, что несомненно, судя по всему, он говорит с гостем обо мне. Он показал на меня кругообразным движением руки, и из его быстрой немецкой речи до моего слуха ясно дошло выражение: «zu dir»[28]. Потом он продолжал в том же духе, доказывал, увещевал под непрерывную разъясняющую жестикуляцию, как бывает, когда мы предлагаем какой-нибудь товар, если хотим как можно

[27] Bitte! Fertig! Bitte! (немецкий) – Пожалуйста! Я готов! Пожалуйста!
[28] zu dir (немецкий) – для тебя.

скорее от него избавиться. А другой сперва только слушал, не говоря ни слова, как более весомая сторона, я мог бы сказать, как трудный покупатель, но под конец, казалось, вполне согласился – так, по крайней мере, я чувствовал по направленным на меня быстрым, колючим, уже каким-то хозяйским взглядам его маленьких темных глаз, коротким кивкам, рукопожатию, по всему, как он держался, когда уходил, – ну и по прояснившемуся, довольному лицу нашего врача тоже.

Долго ждать не пришлось, как снова открылась дверь, и я с первого же взгляда разобрался в одежде заключенного: красный треугольник с буквой «Р» в нем – которая, как было всем известно, обозначала поляков – и на черной нарукавной повязке слово «Pfleger», то есть вошедший исполнял должность санитара. Он выглядел молодым, примерно как раз лет на двадцать с небольшим. У него тоже была красивая синяя шапка, хотя и поменьше, из-под нее на уши и даже на шею мягко спадали каштановые волосы. Все черты его продолговатого, но полного и округленного лица были правильны и приятны в высочайшей мере, румянец во всю щеку, выражение рта, мягкого и чуть слишком крупного, самое симпатичное: одним словом, он был красивый, и я, наверно, полюбовался бы им, – если бы он немедленно не стал разыскивать врача, если бы тот немедленно не указал ему на меня и если бы не одеяло у него на руке, в которое он сейчас же меня завернул, вытянув с моего места, чтобы взвалить на плечо, как это здесь в обычае, по-видимому. Не совсем беспрепятственно, потому что я обеими руками вцепился в разделяющие боксы поперечину, как раз оказавшуюся в пределах досягаемости, – просто так, наудачу, инстинктивно, я бы сказал. Мне было еще и чуточку стыдно: тогда я лишний раз испытал, до какой степени даже день-другой жизни могут, по-видимому, ввести разум в заблуждение, утяжелить наши обстоятельства. Но он оказался сильнее, и попусту я размахивал руками, а после колотил его кулаками по спине внизу, норовя угодить по почкам, он и над этим только смеялся, как я мог почувствовать по содроганию его плечей; тогда я перестал сопротивляться, сдался: пусть несет, куда ему вздумается.

Странные есть места в Бухенвальде. За проволочной оградой выходишь к одному из этих хорошеньких зеленых бараков, которыми до сих пор – если ты гражданин Малого лагеря – ты мог восхищаться скорее только издали. Теперь ты можешь удостовериться, что внутри – во всяком случае в этом бараке – есть коридор, так и сияющий подозрительной чистотой. Из коридора ведут двери – настоящие, доподлинные, белые двери, – за одной из которых теплая, светлая комната, и уже готова, словно только и ждет твоего прибытия, пустая кровать. На кровати красное стеганое одеяло. Твое тело уходит в хорошо набитый соломенный матрас. Между ними – слой чего-то белого, прохладного, можешь убедиться, ты не ошибся, это простыня, в самом деле. Затылком тоже ощущаешь непривычное, но

не то, чтобы неприятное давление: это тугая соломенная подушка, на ней белая наволочка. Pfleger складывает вчетверо и кладет тебе на ноги одеяло, в котором он тебя принес: выходит, оно тоже в твоем распоряжении, на тот случай, наверно, если бы так получилось, что ты недоволен температурой в комнате, как знать. Потом он садится на край кровати с какою-то картонкой и карандашом в руках и справляется, как твое имя. Я сказал ему: «Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig»[29]. Он записывает, но продолжает настаивать, и может пройти некоторое время, пока поймешь, что его интересует и имя, «Name» тоже, и еще какое-то время – как это было, например, со мной, – пока наткнешься на него, роясь в своих воспоминаниях. Я должен был повторить три или четыре раза, пока он, наконец, понял, по-видимому. После этого он показал мне, что написал, и я прочитал над каким-то разлинованным листом, вроде температурного: «Kewischtjerd»[30]. Он спросил: «добро йес?», «правильно?», и я сказал ему: «Gut» – тогда он положил картонку на какой-то стол и ушел.

Теперь – ведь, по всей очевидности, у тебя есть время – можешь немного осмотреться, оглядеться, сориентироваться. Можешь установить, например, – если бы до сих пор это не бросилось тебе в глаза, – что в комнате есть и другие. На них стоит только взглянуть, чтобы запросто догадаться: все они тоже больны, должно быть. Ты сможешь угадать, что этот цвет, это ласкающее твой глаз впечатление, это надо всем царящее темно-красное – на самом деле, цвет какого-то отсвечивающего лаком вещества, покрывающего продольные доски дощатого пола, и что в том же тоне подобраны и одеяла на всех кроватях. Всего их примерно двенадцать. Каждая на одного человека, двухэтажных только эта, на которой лежу и я, внизу, возле перегородки справа от меня, сбитой из выкрашенных в белое дощечек, потом – передо мной, и еще две у противоположной перегородки. Ты будешь озадачен, как много места остается неиспользованным, – большие, удобные, с добрый метр промежутки между кроватями в ряду, – и, может быть, удивишься роскоши, когда там и сям увидишь пустую кровать. Ты сможешь обнаружить очень славное, составленное из многих стеклянных квадратиков окно, пропускающее свет, и в глаза тебе может броситься бледно-коричневое клеймо на твоей наволочке, изображающее орла с крючковатым клювом; после ты, наверно, разберешь на клейме буквы: «Waffen SS». Но лица напрасно пытался бы ты испытывать, отыскивать какой-то знак, какое-то проявление в ответ на твое прибытье, которое, в конце концов, ты мог бы считать все-таки новостью в какой-то мере, наверно, распознать на них интерес, разочарование, радость, досаду, что угодно, хотя бы мимолетное любопытство – и чем дольше, тем

[29] Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig (немецкий) – [лагерный номер] 460.921.
[30] По-венгерски пишется: Koves Gyorgy. Произносится Кёвеш Дёрдь.

неприятнее, тем тревожнее, тем, я бы сказал, загадочнее будет, в известном смысле, тишина, ты сможешь испытать это позже, несомненно, самое странное впечатление, если бы ты каким бы то ни было образом попал сюда. На четырехугольном свободном пространстве, обставленном кроватями, ты сможешь разглядеть застеленный белым маленький столик, у противоположной стены другой, побольше, с несколькими стульями вокруг, у двери большую, нарядную, громко гудящую железную печку, а рядом отсвечивающий черным полный ящик для угля.

И тогда ты можешь начать ломать себе голову: как, собственно, понимать все это, эту комнату, эти шутки с одеялом, с кроватями, с тишиной. Одно и другое может прийти тебе в голову, ты можешь пытаться припоминать, делать выводы, черпать из своих познаний, выбирать. Возможно – станешь раздумывать ты, как и я, – это тоже такого рода место, пожалуй, о каких мы слыхали еще в Аушвице, где пациентов держат прекрасно, на молоке и сливочном масле, а потом, например, понемножку, по кишочке вытягивают все внутренности, одну за другой, на пользу знанию для научных целей. Но, конечно, ты должен признать, это всего-навсего одно предположение, одна из многих других возможностей; а главное, молока и масла я не видел никаких следов. Мало того, пришло мне в голову, там в это время уже давно принесли суп, а здесь – ни малейшего признака, шума, запаха. И вот, у меня явилась мысль, возможно, несколько сомнительная – но кто мог бы рассудить, что возможно и правдоподобно, все перечислить и дойти до конца всех неисчислимых идей, находок, игр, шуток и серьезных замыслов, которые, все до последнего, исполнимы, осуществимы в концентрационном лагере, из мира фантазии легко переходят в действительность, претворяются в жизнь – смог бы ты, даже если бы собрал воедино все твои знания? Итак – представил я себе – человека, например, доставляют в такую вот точно комнату. Укладывают, скажем, в такую точно кровать со стеганым одеялом. Ходят за ним, ухаживают, во всем угождают – вот только единственно: есть не дают, скажем. Если угодно, можно, пожалуй, наблюдать и за тем, как кто умирает с голоду, например, – в конце концов, и в этом может быть, наверно, свой интерес, какая-то польза в высшем смысле, почему бы и нет, надо было согласиться. Я поворачивал свою мысль и так и этак, и она казалась мне все более здравой, все более годной: но тогда она могла уже прийти в голову и кому-нибудь покомпетентнее моего, наверно, так я находил. Я стал присматриваться к соседу, больному, лежавшему приблизительно в одном метре слева от меня. Он был пожилой, лысоватый, его лицо еще сохраняло что-то от черт прежнего лица и даже от мяса местами. Но со всем тем я обратил внимание, что его уши подозрительно начинают походить немного на восковые листья искусственных цветов и что характерную желтую окраску на кончике носа и вокруг глаз я уже хорошо знаю. Он лежал на спине, его одеяло слегка двигалось,

приподнималось и опускалось: казалось, он спит. На всякий случай, в виде опыта, так сказать, я шепнул ему: «Понимаем ли по-венгерски?» Ничего: казалось, он не только не понимает, но даже не слышит. Я уже отвернулся и как раз готовился прясть дальше нить своих мыслей, когда сказанное шепотом, но вполне внятно слово вдруг коснулось моего слуха: «Да...» Это был он, несомненно, хотя глаза он не открыл и положения не изменил. А я, глупейшим образом, так обрадовался, сам не знаю чему, что на несколько минут забыл, чего я, собственно, от него хочу. Я спросил: «Откуда вы?» – и он ответил, снова после паузы, показавшейся бесконечной: «Из Будапешта...» Я осведомился: «Когда?» – и после терпеливого ожидания узнал: «В ноябре...» Только тогда я наконец спросил: «Есть тут дают?» – и снова, лишь по прошествии должного времени, которое, видимо, почему-то требовалось ему всякий раз, он ответил: «Нет...» Я спросил...

Но именно в эту минуту опять вошел Pfleger и направился прямо к нему. Он поднял его стеганое одеяло, завернул в простое, и я только дивился, с какой легкостью он вскинул на плечо, а потом вынес в дверь это еще довольно тяжелое тело – только теперь я его увидел, – и размотавшийся конец бумажной перевязки на животе словно бы приветствовал меня на прощанье. В этот же миг послышался короткий щелчок, потом электрическое потрескивание. Потом появился голос: «Friseure zum Bad, Friseure zum Bad», то есть «парикмахеры в баню, парикмахеры в баню», – сказал он. Голос был слегка картавый, а впрочем очень приятный, проникающий в душу, я бы сказал, вкрадчиво мягкий и певучий – из тех, что, кажется, глядят на тебя, и сперва он чуть ли не поднял меня с кровати. Но у больных, я увидел, это событье вызвало ровно столько же волнения, примерно, сколько до того мое появление, и я подумал, выходит, здесь и это дело обычное, наверно. Справа над дверью я обнаружил коричневый ящик, что-то вроде громкоговорителя, и сообразил, что этой аппаратурой, должно быть, пользуются военные, передают откуда-то свои приказы. Немного погодя Pfleger появился снова, и снова у соседней со мною кровати. Он откинул стеганое одеяло и простыню, просунул через какую-то щель руку в соломенный матрас, и по тому, как он приводил в порядок солому, а после снова накрывал ее простыней и, наконец, одеялом, я понял: едва ли я еще увижусь с человеком, который тут лежал. Я ничего не мог с собой поделать, мое воображение продолжало задавать вопросы: не может ли это быть наказанием за то, что он разболтал тайну, а они – почему бы и нет, в конце концов? – какой-то аппаратурой, вроде той, что там, напротив, прибором, кто знал бы чем, подслушали, уловили? Но снова голос привлек мое внимание – на этот раз голос больного, ближе к окну, от меня третья кровать, мне кажется. Больной был очень худой, молодой и бледный, он носил волосы, и к тому же густые, белокурые и волнистые. Два или три раза он про-

изнес одно и то же слово, или скорее простонал, растягивая гласные, какое-то имя, которое я не сразу, но все же разобрал: «Петька!.. Петька!..» На что Pfleger так же протяжно и, я почувствовал, вполне сердечно ответил одним словом: «Цо?» Тогда тот сказал что-то подлиннее, и Петька – потому что я понял: так, стало быть, зовут Pfleger-а – подошел к его кровати. Он долго что-то шептал, примерно так, как когда увещаешь другого, призываешь его: еще только капельку терпения, еще только немного выдержки. Тем временем он просунул руку ему за спину и, приподняв его немного, поправил под ним подушку, расправил на нем стеганое одеяло, и все это дружелюбно, охотно, с любовью – одним словом, так, что это полностью смешало и опровергло почти все мои прежние домыслы. То выражение на запрокинувшемся снова назад лице я не мог принять ни за что иное, кроме выражения примиренности, некоторого облегчения, а те замирающие, похожие на вздох и все-таки отчетливо слышные слова: «Динкуйе... динкуйе бардзо...» – ни за что иное, кроме благодарности, если не ошибся. И окончательно мои трезвые размышления были опрокинуты приближающимся гулом, потом шумом, потом, наконец, проникающим снаружи, из коридора, бряканьем, которого ни с чем не спутаешь и которое взбудоражило все мое существо, наполнило ожиданием, все возрастающим, все более неодолимым и под конец заставило забыть всякое различье между мной и этой готовностью. За дверями гомон, хождения взад-вперед, стук деревянных подошв, потом густой голос кричит нетерпеливо: «Цал цекс! Эссенхола!», то есть «Saal sechs! Essenholen!», то есть «Шестая палата! За едой!» Pfleger вышел, потом с помощью кого-то, чью руку только я углядел в приоткрытую дверь, втащил тяжелый котел, и комнату так и залил аромат супа – даже если бы сегодня то был очевидным образом всего-навсего запах сухих овощей или известного супа из крапивы, только и всего: выходит, я как бы ошибся и в этом.

Позже у меня появилось больше наблюдений, по мере того, как проходили часы, времена дня, а потом уже и дни, разобрался мало-помалу и во многом ином. Во всяком случае, спустя некоторое время, даже если исподволь, сдерживая себя, с осторожностью, но пришлось признать, согласиться с непреложностью фактов, что – как видно – и это возможно, и это вероятно и что именно только тем необычайнее, ну и, конечно, тем приятнее, но при этом не более странно, если подумать, как следует, чем любые другие странности, которые – в конечном-то счете речь идет о концентрационном лагере – все и возможны и вероятны, как и наоборот, вполне естественно. Но с другой стороны, именно это меня беспокоило, тревожило, подрывало в известном смысле мою безопасность: в конечном счете, если поглядеть разумно, я не видел никакой причины, не мог найти никакого рационального, никакого знакомого, приемлемого для моего ума основания, почему мне довелось быть именно здесь, а не

где-нибудь в другом месте скорее. Мало-помалу я открыл, что все больные здесь носят повязки, не то, что в предыдущем бараке, и тогда через какое-то время рискнул предположить, что там была терапия, а здесь – кто знает? – возможно, хирургическое отделение; но я никак не мог еще, естественно, считать это достаточным основанием, должным объяснением тому труду, усилиям, тому слаженному с действительностью сцеплению рук, плеч, мыслей, которое, по сути дела, – как хорошенько поразмыслишь, – привело от той тележки в эту палату, в эту кровать. Я пытался разобраться и в больных, составить себе какое-то представление. В общем, я заметил, большей частью то должны были быть старые, коренные заключенные. Высоких чинов я не видел ни одного, хотя, с другой стороны, например, я как-то не мог бы их сравнить и с заключенными из Цейца. Со временем мне бросилось в глаза и то, что на груди у их посетителей, которые заглядывали к ним на словечко всегда в одни и те же вечерние часы, я вижу только красный треугольник и никогда, к примеру, зеленый или черный – не скажу, впрочем, что мне их хоть сколько-нибудь не доставало, но не видел я и желтых, а этих, наоборот, моим глазам скорее не хватало. Одним словом, они были другие, по крови, по языку, по возрасту, но и помимо того каким-то образом другие, чем я сам или кто-либо еще, кого я до сих пор всегда легко понимал, и это немного меня стесняло. С другой стороны, – я должен был это чувствовать, – именно здесь, возможно, именно где-то в этом может быть, объяснение. Вот, например, Петька: каждый вечер мы засыпаем под его прощание «добра ноц», каждое утро просыпаемся на его слова «добре рано». Всегда безупречный порядок в палате, пол протерт влажной тряпкой, надетой на палку, ежедневная доставка угля и сама топка, раздача порций и сюда же принадлежащее мытье котелков и ложек, в случае надобности перенос больных и кто знает, что еще, – всё-всё дело его рук. Если он и не слишком разговорчив, его улыбка, его услужливость всегда те же, одним словом: точно он не исполняет важную должность, первое лицо в палате, в конце-то концов, но только, и прежде всего, ходит за больными, Pfleger, как это и стоит на его нарукавной повязке, на самом деле.

Или вот врач – выяснилось, что тот человек с лицом из сырого мяса – врач, и даже главный врач. Его приход, я мог бы сказать «его визит» – всегда одна и та же, всегда неизменная утренняя церемония. Едва только палата готова, едва только мы выпьем кофе и посуда исчезнет за переделанной из одеяла занавеской, где ее держит Петька, как уже стучат в коридоре знакомые шаги. В следующую минуту энергичная рука распахивает дверь настежь, и с приветствием, надо полагать, «Guten Morgen», но услышать и понять из него можно только растянутый горловой звук «Moo'gn», – входит врач. Отвечать ему – кто знает, почему – нам не полагается, очевидным образом он и не ждет ответа, разве что от Петьки, который принимает его со

своею улыбкой, с непокрытой головой и с почтительным видом, но – как я за это долгое время имел случай наблюдать много раз – не вполне с тем хорошо известным уважением, которым мы вообще обязаны платить вышестоящим властям, но, скорее, как-то так, будто просто уважает его, и только, по собственному усмотрению, по своей свободной воле, так сказать. Потом врач берет по одной истории болезни, заранее разложенные Петькой на белом столе у него под рукой, и просматривает их, глядя сурово и вдумчиво, – как если бы, скажем, то были настоящие истории болезни, скажем, в настоящей больнице, где нет ничего важнее, нет вопроса естественнее, чем, скажем, здоровье больных. Далее, обернувшись к Петьке, он обращается к тому или другому с одним словом, а точнее всегда только с одним из двух. «Kewisch... Was? Kewischtjerd!» – читает он, например, и объявиться, откликнуться, подать какой бы то ни было знак своего присутствия – как я быстро усвоил – было бы таким же неприличием, как отозваться на его «доброе утро». «Der kommt heute 'raus!»[31] – говорит он затем, и, как я выяснил со временем, всякий раз это означало, что соответствующему больному, если мог, то на собственных ногах, если нет, то на плече у Петьки, но в любом случае надлежало в первой половине дня появиться у него, среди его ножей, ножниц и бумажных бинтов, приблизительно в десяти-пятнадцати метрах от выхода из нашего коридора – в его кабинете. (Он, впрочем, не спрашивал моего разрешения, как доктор в Цейце, и мои крики, казалось, нисколько ему не помешали, когда он какими-то странной формы ножницами сделал еще два разреза в моем бедре, – но по тому, как он после отдавливал мои раны, выложил их изнутри марлей и, наконец, правда, очень скупо, но все же смазал какой-то мазью, мне пришлось признать, что он, бесспорно, специалист). Другое возможное его замечание: «Der geht heute nach Hause!»[32] – означало, напротив, что этого больного он считает уже выздоровевшим, и таким образом, стало быть, он может уйти – nach Hause, то есть домой, то есть обратно в свой лагерный блок, к своей работе, в свою команду, естественно. На другой день все снова происходит точно так же, по точной копии и по правилам того же распорядка, в котором Петька, мы, больные, и даже чуть ли не предметы оборудования тоже, – все кажемся принимающими участье с одинаковой серьезностью, играем свои роли, способствуем тому, чтобы это неизменное ежедневно повторялась, укреплялось, набирало навык и оправдание – одним словом: как будто не было ничего более естественного, ничего более бесспорного, чем для врача лечение, а для нас, больных, очевидная забота о скорейшей поправке, стремительном выздоровлении, а потом о возвращении домой, это наша единственная цель, которой ждем не дождемся, на самом деле.

---

[31] Der kommt heute 'raus! (немецкий) – Этот сегодня пусть выйдет!

[32] Der geht heute nach Hause Komm! (немецкий) – Этот сегодня идет домой.

Впоследствии я о нем кое-что узнал. Может случиться, что в процедурной большое движение, мы не одни. В таких случаях Петька ссаживает меня со своего плеча на скамеечку сбоку, и там мне надо ждать, пока доктор не позовет, если хорошо настроен, то, например, поторапливающим: «Komm, komm, komm, komm!»[33] – не ухватит за ухо по сути дружелюбной, но все-таки не совсем приятной ухваткой, притянет к себе и одним махом подымет на операционный стол. Иной раз я могу попасть в настоящую толкучку, санитары приносят и уносят пациентов, ходячие больные приходят сами, в комнате работают и другие врачи, санитары, и тогда может случиться, что другой врач, рангом пониже, производит надо мной очередную процедуру, только скромнее, в стороне, подальше от операционного стола, который стоит посредине. С одним из них, низеньким, седым, носом похож слегка на хищную птицу, треугольник тоже красный без знаков, и номер если и не из двух или трех цифр, то все же в благородных пределах тысяч, – я познакомился, я бы сказал даже подружился. Он как-то упомянул, – впрочем и Петька впоследствии подтвердил, – что наш врач сидит в лагере уже двенадцать лет. «Zwölf Jahre in Lager», – сказал он тихо, кивая головой, с таким выражением лица, словно говорил о каком-то редком, не вполне правдоподобном и – по его мнению, по крайней мере, как мне показалось, – прямо-таки неисполнимом достижении. Я спросил его: «Und Sie?» – «O, ich, – его лицо тут же изменилось, – seit sechs Jahren bloss» – всего шесть лет, отмахнулся он, как от пустяка, от какой-то малости, не стоящей даже разговора. Собственно, это он стал меня расспрашивать, хотел узнать, сколько мне лет, как, каким образом я очутился так далеко от дома, с этого и началась наша беседа. «Hast du was gemacht?» – спросил он, сделал ли я что-нибудь, какую-нибудь пакость, может быть, и я ему сказал: нет, «nichts», ровным счетом ничего. Тогда почему же я все-таки здесь? – хотел он знать, и я ему сказал, по той же простой причине, по какой и другие из моей расы. Да, но, – настаивал он дальше, – почему я был арестован, «verhaftet», и я вкратце рассказал ему, как сумел, про то утро с автобусом, с таможней и потом, попозже, с жандармерией. «Ohne dass deine Eltern», то есть неужели без ведома моих родителей, – желал он услышать, и я сказал ему «ohne», естественно. Он казался пораженным до крайности, как будто никогда еще ничего подобного не слыхал, и я подумал: что ж, кажется, он сумел хорошо спрятаться здесь от мира на эти шесть лет. Тут же он передал новость дальше, другому врачу, работавшему рядом с ним, а тот еще дальше, врачам, санитарам, больным, какие выглядели покрепче. В конце концов, я почувствовал, что на меня глядят отовсюду, качая головами, и на лицах какое-то особое чувство, которое меня стесняло немного, потому что мне чудилось, будто они меня жалеют. Мне очень захо-

[33] Komm (немецкий) – иди.

телось им сказать: да ведь нет на то никакой причины, по крайней мере, в эту минуту – но, в конце концов, так и не раскрыл рта, что-то меня удержало, духа не хватило, что ли, позволю себе так выразиться; потому что я заметил, что это чувство им приятно, доставляет какое-то удовольствие, на мой взгляд. Больше того, позже – потому что случалось еще раз-другой, что так расспрашивали, разузнавали, – у меня бывало впечатление, что они прямо ищут случая, средства, повода испытать это чувство, может быть, конечно, я ошибаюсь, но едва ли; по какой-то причине, надобности, в виде доказательства чего-то, может быть, своего метода, а возможно, кто знает, того, что они еще способны к нему вообще, – мне, во всяком случае, примерно так и казалось. После этого они обменивались такими взглядами, что я со страхом озирался, не следят ли за нами посторонние; но повсюду мой взор встречался с теми же нахмуренными лбами, прищуренными глазами, сжатыми губами – словно бы вдруг им снова пришло в голову и получило подтверждение нечто, и я поневоле подумал: вот она, должно быть, причина, почему они здесь.

Потом посетители, например: я присматривался и к ним, пробовал разглядеть, распознать, какой ветер, какое дело их привело. Прежде всего я заметил, что большей частью они приходят, обыкновенно всегда в одно и то же время; из этого я заключил, что и здесь, в Бухенвальде, в Большом лагере, тоже может быть такой же час, по-видимому, как у нас в Цейце; здесь тоже, наверно, между возвращением команд и вечерней поверкой, должно быть. Больше всего приходивших были с буквой P, но я видел и J, и R, и T, и F, и N, и даже No, и кто знает, каких только не видел: во всяком случае, могу утверждать, благодаря им я узнал много интересного, усвоил много нового и больше того, только таким образом, собственно говоря, зорче всмотрелся в здешние обстоятельства, условия, общественную жизнь, с позволения сказать. В Бухенвальде коренные обитатели почти красивые, лица полные, движения, походка быстрые, многим разрешены и волосы, а полосатую одежду заключенного они надевают скорее только днем, на работу, как я видел и на Петьке. Когда же вечером, раздав нам хлебную пайку на ужин (обычную треть или четвертушку, с Zulage или без, как обычно), он собирается, например, в гости, то выбирает из своего запаса рубашку или свитер и к ним, – как бы стараясь, может быть, несколько спрятать перед нами, больными, свое удовольствие, тем не менее очень, хорошо заметное и на лице, и в движениях, – модный коричневый костюм в чуть заметную полоску, у которого, правда, посреди спины вырезан четырехугольник и положена заплата из материи для платья заключенного, на брюках по обеим сторонам по длинному мазку несмываемой красной масляной краски, ну и на груди и на левой штанине красный треугольник с номером: вот и все изъяны. Впрочем, большею неприятностью, я бы сказал, пыткой бывало для

меня, когда он готовился к вечернему приему гостей. Причиной была одна несчастливая случайность в оборудовании: так получилось, что штепсель находится как раз у изножья моей кровати. Как бы я ни силился при таких обстоятельствах занять себя, как бы ни разглядывал безупречную белизну потолка, эмалированный абажур лампы, как ни старался погрузиться в свои мысли, все-таки приходится, в конечном счете, заметить Петьку, который сидит на корточках с котелком и собственным электрическим кипятильником, услышать клокотание разогревающегося маргарина, учуять неотвязный запах поджаривающегося в нем лука, уложенных сверху ломтиков картошки, а потом, может быть, еще и нарезанной туда же wurst из Zulage, а в другой раз отметить особый звук легкого удара, потом вдруг усиливающегося шипения, вызванного – взгляд хотя и схватил, но тут же отвернулся, и в глазах еще долго рябило – чем-то желтым во внутренности и белым на периферии: яйцом. Когда потом все изжарено, готово, входит приглашенный к ужину гость. «Добре вечер!» – говорит он, приветливо кивая головой: он тоже поляк, его зовут Збышек, иной раз, в определенных сочетаниях, или, может, это ласковая форма, я слышу: «Збышку», и он тоже Pfleger, где-то подальше, как мне сообщают, в какой-то другой палате. Он тоже приходит разодетый, в сапогах, в короткой куртке темно-синего сукна, спортивной или охотничьей, но на спине и у него заплата, естественно, а на груди номер заключенного; под курткой черный свитер, доходящий до подбородка. Высокий, плотного сложения, с головой, обстриженной наголо – по необходимости или, может быть, по собственному усмотрению, по прихоти, с веселым, хитроватым и смышленым выражением мясистого лица, в целом я находил его человеком приятным, симпатичным, хотя, что до меня, не променял бы, скажем, Петьку на него. Потом они садятся к заднему, большему столу, съедают свой ужин, ведут беседу, и случается, что тот или другой из польских больных в палате вмешивается тихим словом, замечанием; или они забавляются, упираясь локтями в стол и сцепившись ладонями, меряются силами, и к большой радости всей палаты – и моей тоже, естественно – в общем Петьке удается придавить руку Збышека, на первый взгляд более сильную; одним словом, я понял, эти двое делят выгоды и убытки, радость и заботу, все дела-неприятности, но явно и имущество, и паек, что, стало быть, они друзья, как принято говорить. Кроме Збышека, появлялись у Петьки и другие, обменивались быстро словечком, а иногда какой-то вещью, тоже второпях, и если я никогда не видел, какою именно, то в сущности и это всегда было ясно, я легко мог понять, естественно. Приходили еще другие, к тому или иному из больных, которые здесь лежали, наскоро, крадучись, скрытно, только что не тайком. Присаживались на минутку к кровати, иногда клали на покрывало пакетик, обернутый в грубую бумагу, скромное приношение; а скорее как-то почти отговариваясь. Потом, – хотя я не слышал

их шепота, а если и слышал, то не мог понять, – казалось, расспрашивают: ну, как идет поправка, что нового; информируют: а там, снаружи, дела идут так и этак; передают: приветствуют тот и этот и просят узнать, как здоровье; заверяют: их приветы передадут, еще бы; вдруг замечают: время-то вышло, потом, похлопывая по руке, по плечу, как бы говорят: не беда, они придут еще в самом ближайшем будущем, и с этим удаляются, опять крадучись, поспешно, в большинстве заметно довольные – но впрочем, без какого либо иного результата, выгоды, ощутимой пользы, как я видел; и тогда приходилось допустить, что они единственно затем и приходили, по-видимому, за этими несколькими словами, ни за чем больше, кроме того только, чтобы повидаться со своими больными. Если бы я не знал и без того, сама эта поспешность ясно показывала бы: они явно делают что-то запрещенное, вообще возможное только с петькиного попустительства, можно предположить, и, вероятно, на условии этой краткости. Больше того, я подозреваю и решился бы на основании долгого опыта заявить напрямик, что сам этот риск, это своеволие, я бы сказал еще, упрямство как-то входят частью в это событье – так, по крайней мере, я заключал по выражению этих быстро исчезающих лиц, трудно определимому, но как бы светлеющему от удавшегося непослушания; как если бы – так мне казалось – удалось этим что-то изменить немного, пробить брешь, посадить где-то крохотную ошибку в заведенном порядке, в единообразии будней, чуть-чуть в самой природе, может быть, так я себе представлял, по крайней мере. Но самых странных людей я видел возле больного, который лежал на дальней от меня кровати, у противоположной перегородки. Петька принес его на плече еще до полудня и потом очень много с ним возился. Я видел, случай, наверно, тяжелый, и слышал, что больной – русский. После, вечером, посетители заполнили половину палаты. Я видел много R, но и разные другие буквы, меховые шапки, странные ватные штаны. Видел, например, людей с прической на одной половине головы, а с другой половиной совершенно голой. И других, с обычными волосами, только как раз посередине, со лба до затылка, тянется длинная дорожка, или просека, в точности по ширине машинки. Куртки с обычными отметинами, но также с двумя наперекрест мазками красной кистью, вроде того, как мы вычеркиваем, например, на письме что-то ненужное – букву, цифру, знак. На других спинах далеко светится большой красный круг, в нем жирная красная точка, привлекая, заманивая, подавая сигнал на манер мишени: вот куда вам надо будет стрелять при случае. Они стояли, переминались с ноги на ногу, советовались потихоньку, один из них наклонился поправить подушку, другой – может быть, мне так показалось – попытался добиться от него слова или взгляда, и вдруг я увидел, как у них сверкнуло что-то желтое, откуда-то взялся нож, с помощью Петьки появилась металлическая кружка, потом легкая струйка – и если я не поверил своим гла-

зам, теперь нос мог свидетельствовать неопровержимо, что предмет, который я только что видел, был лимон, бесспорно, в самом деле. Потом снова открылась дверь, и я до крайности удивился, когда стремительно вошел врач: примера его появления в такое необычное время я до сих пор еще никогда не видел. Немедленно перед ним расступились, и он, наклонившись над больным, осмотрел его, прощупал что-то, но коротко, и потом немедленно удалился, сердито при этом ворча, с суровым, я бы сказал кусачим лицом, не сказав никому ни единого слова, не удостоив никого ни единым взглядом, и даже обращенных к нему взглядов как-то силился скорее избежать – мне, по крайней мере, так показалось. Вскоре я увидел, что посетители странным образом притихли. То один, то другой отделялся от остальных, шел к кровати, наклонялся над ней еще раз; и потом они стали уходить, поодиночке, по двое, как пришли. Но теперь чуть более уныло, чуть более озабоченно, чуть более устало, и как-то даже я сам пожалел их в эту минуту, потому что должен был видеть: это как если бы они окончательно потеряли, может быть, и безосновательную свою надежду, может быть, втайне хранимую веру. Потом, спустя какое-то время, Петька очень бережно взвалил на плечо и куда-то унес труп.

И наконец, был там еще и пример моего человека. Я столкнулся с ним в умывальной – мало-помалу мне уже и в голову не приходило, что я могу мыться в другом месте, а не в умывальной комнате, в конце коридора налево, под краном, который закрывался и открывался, и то не по обязанности, а потому, что так принято, до меня это дошло мало-помалу; со временем я даже обратил внимание, чуть ли не обижался, что помещение не топят, вода холодная и нет полотенца. Там же находится красное, переносное, похожее на открытый шкаф приспособление, его всегда чистый резервуар неизвестно чьей заботой меняется, чистится. Однажды, когда я уже как раз собрался уходить, вошел какой-то человек. Человек был красивый, гладкие черные волосы зачесаны назад, но непослушно падают обратно на лоб с двух сторон, лицо с зеленоватым отливом, как бывает иногда у очень черноволосых людей, и по цветущему мужскому возрасту, по ухоженной наружности, белоснежному халату я бы принял его за врача, если бы надпись на нарукавной повязке не известила, что он только Pfleger; а буква T в его красном треугольнике извещала о чешском происхождении. Он остановился, как вкопанный, словно удивленный и даже, может быть, несколько пораженный моим видом, так он глядел на мое лицо и выглядывавшие из рубахи шею, грудную кость, голени. Он тут же что-то спросил, и я сказал ему, так как, между тем, ко мне прилипло из польских разговоров: «Не розумьем». Тогда он спросил по-немецки, кто я и откуда. Я сказал, что Ungar, отсюда, из Saal sechs[34]. На что он, пользуясь вдобавок для своего

[34] Saal sechs (немецкий) – Шестая палата.

объяснения указательным пальцем, выговорил: «Du: warten hier. Ik: wek. Ein moment zurück. Verstehen?»[35] Я сказал ему: «Еще бы, verstehen». Он ушел, вернулся, и я поймал себя на том, что у меня в руке четвертушка хлеба и маленькая, хорошенькая баночка консервов с поднятой уже крышкой, а в ней непочатый, розовый мясной фарш. Я поднял глаза, чтобы поблагодарить, – увидел уже только дверь, как раз захлопнувшуюся за ним. Когда я потом вернулся в свою палату и попытался рассказать Петьке, несколькими словами описать этого человека, он сразу же понял, что это может быть Pfleger соседней палаты, Saal семь. Назвал и его имя: я понял так, что Бауш, но он сказал что-то вроде «Бохуш», если подумать, как следует. Так, впрочем, я слышал позже и от соседа – тем временем больные в нашей палате переменились, появились новые. Вот и надо мной, например, Петька в первое же утро унес одного и быстро принес другого, мальчика моего возраста и, как я узнал позже, моей расы, но, должно быть, из Польши, по фамилии Кухальский или Кухарский – я слышу это от Петьки и Збышека, всегда налегающих, ударяющих на «харский»; иногда они шутят с ним, а не то и подтрунивают, и прямо дразнят, может быть, потому что часто он злится, как выдает, по крайней мере, его быстрая речь, раздраженная окраска уже погрубевшего голоса и беспрерывное егожение, обрушивающее между поперечными досками дождь соломинок на мое лицо, – к большой забаве всех поляков в палате, как я мог убедиться. Возле меня, в кровать венгерского больного, тоже попал кто-то, тоже подросток, сперва я не очень разобрался, кто такой. Хотя с Петькой он легко объяснялся, все же мое ухо, понемногу набравшееся опыта, не признавало его вполне за поляка. Я заговорил с ним по-венгерски, он не ответил, но со своими уже отрастающими рыжими волосами, довольно полным, указывающим на солидное благополучье лицом, усыпанным веснушками, с голубыми глазами, быстро все прикидывающими, тут же во всем разбирающимися, он сразу показался мне подозрительным немного. Пока он устраивался, размещался, я заметил на внутренней стороне его запястья синие знаки: аушвицкую нумерацию, в миллионных числах. Только когда однажды утром совершенно неожиданно распахнулась дверь и вошел Бохуш, чтобы, как обычно раз-два в неделю, и теперь тоже положить мне на одеяло свое приношение из хлеба и мясных консервов, а потом, не оставляя времени даже для благодарности и даже Петьке только кивнув, был уже снова за дверью; тогда выяснилось, что все-таки он знает по-венгерски, и вдобавок, по крайней мере, не хуже моего, потому что немедленно спросил: «Кто это был?» Я сказал ему, насколько мне известно, Pfleger из другой палаты, некий Бауш, и тут он меня поправил: «Наверно, Бохуш» – потому что это, как он утверждал,

[35] Du: warten hier. Ik: wek. Ein moment zurück. Verstehen? (немецкий, с ошибками) – Ты – здесь ждать. Я: уход. Назад одна минута. Понимать?

очень частая фамилия в Чехословакии, кстати, и он сам оттуда. Я поинтересовался: как это, что он до сих пор не понимал по-венгерски? – и он ответил, потому, что очень не любит венгров. Я согласился, что он прав и что в целом и сам не нахожу много оснований для любви к ним. Тогда он предложил, давай говорить на языке евреев, но мне пришлось признаться, что этого языка не понимаю, напротив, я, и таким образом мы остановились все-таки на венгерском. Он назвал и свое имя: Луиз или, может быть, Лойиз, я не совсем понял. Я заметил: «Лайош, стало быть», – но он горячо протестовал, потому что так получится венгерское имя, а он чех и настаивает на этом различии: Лоиз. Я спросил у него, откуда он знает столько языков, и он рассказал, что, на самом деле, родом из Верхней Венгрии, откуда они с семьей, с родней, с массой знакомых бежали от венгров, как он выразился: «от венгерской оккупации», и правда, мне пришел на память какой-то день, очень давний, еще дома, когда флаги на улицах, музыка и празднество, продолжавшееся с утра до вечера, извещали о радости, что Верхняя Венгрия снова наша. В концлагерь он попал уже из какого-то места, которое – если я правильно расслышал – называется Терезин. Он заметил: «Ты знаешь его, наверняка, как Терезиенштадт». Я сказал: «Нет, я не знаю его ни так ни эдак, вообще никак не знаю» – чему он очень удивился, но примерно так же, как обыкновенно удивлялся я людям, никогда еще не слыхавшим, например, о чепельской таможне. Тут он меня просветил: «Это гетто в Праге». Он утверждал, что, кроме венгров и чехов, ну и евреев и немцев, может общаться со словаками, поляками, украинцами, а если нужно, то даже и с русскими. В конце концов, мы совсем подружились, и я рассказал ему, – потому что он спросил, – как я познакомился с Бохушем, потом мои самые первые переживания, впечатления, что я думал в первый день, например, об этой палате, и мой рассказ до того заинтересовал его, что он даже перевел Петьке, который очень надо мной смеялся; таким же образом он перевел про мой страх в связи с венгерским больным и петькин ответ, что смерти того венгра ожидали уже несколько дней и по чистой случайности она случилась именно тогда; и еще другое, и только то немного смущало меня, что каждую свою фразу он начинал словами «тен матьяр», то есть «этот венгр» и таким образом переходил, очевидно, к тому, что хотел сказать, но эта его манера выражаться словно бы ускользала от петькиного внимания, к счастью, как мне казалось. Я заметил также, хотя и не задумывался над этим, не делал из этого никаких выводов, как удивительно часто он выходит и всякий раз остается снаружи очень подолгу, и только когда однажды он вернулся в палату с хлебом и консервами – вещами явно от Бохуша, – я был несколько изумлен, без всякого основания, впрочем, нечего и говорить, я это признавал. Как он рассказал: он тоже случайно встретился с ним в умывальной, так же точно, как я. Он и с ним заговорил, точно так же, как со мной, и все ос-

тальное так же точно произошло потом, как со мной. Отличье было только в том, однако, что он мог с ним и говорить, оказалось, что у них одно отечество, чему Бохуш очень-очень обрадовался, и это, в конечном счете, естественно, как он считал; да я и сам признавал. Все это – если взглянуть разумно – я находил понятным, ясным и не вызывающим протеста и сам был того же мнения, что, наверно, и он, как, по крайней мере, выяснилось из его последнего присловья: «Не сердись, что я увел у тебя твоего человека»; иными словами, теперь ему будет доставаться то, что до сих пор мне, и теперь мне придется смотреть, как он подкрепляется, а в прошлом он смотрел на меня. Тем больше я удивился, когда, едва ли минуту спустя, дверь вдруг открылась, влетел Бохуш, и прямо ко мне. С тех пор он уже всегда приходил к нам обоим. Иногда приносил две порции, каждому по своей, иногда только одну – когда как выходило, но в последнем случае никогда не забывал движением руки распорядиться, чтобы делились по-братски. Он и в дальнейшем постоянно торопился, не терял времени на разговоры; выражение лица и в дальнейшем постоянно занятое, иногда озабоченное, бывает даже почти сердитое, чуть ли не озлобленное, как у того, кто теперь под удвоенным грузом забот, уже двойные обязанности давят ему на плечи, но он не может ничего сделать, кроме как нести то, что вдруг навалилось ему на шею. И я мог только догадываться, все это только потому, что он, кажется, находил в этом радость, нуждался в этом; в определенном смысле, это был его метод, позволю себе так выразиться; ибо другой причины, учитывая в особенности цену, которой может достигнуть такой редкий товар, и большой спрос на него, я никоим образом не был способен найти, как ни разглядывал, ни вертел, ни ломал себе голову.

Тогда-то я и понял, я думаю, по крайней мере в общих чертах, этих людей. Потому что призвав на помощь весь свой опыт, собрав все звенья цепи, я уже не мог сомневаться, нет: пусть в ином обличии, но я его хорошо знаю – в конечном счете, это было опять-таки то же самое средство, упорство, даже если, очевидным образом, какое-то прекрасно разработанное, самое успешное из всех, что были мне известны до тех пор, но главное, нечего и говорить, самая полезная для меня форма упорства, спора быть не могло.

Могу сказать: с течением времени человек привыкает даже к чудесам. Мало-помалу я уже ходил в процедурную на собственных ногах – если врачу случалось утром так распорядиться, – как был, босиком, в рубахе, закутавшись в одеяло, и в колком воздухе, среди многих знакомых запахов открывал какой-то новый оттенок: распускающейся весны, по всей вероятности, если принять в соображение, как прошло время. На обратном пути мне попадалось мельком на глаза что-то вроде большого автомобильного прицепа на резиновом ходу, его тянули, вытягивали из серого барака по другую сторону нашей ограды из колючей

проволоки несколько человек в одежде заключенных, и из поклажи с верхом, я замечал, мерзло свисали желтые конечности, виднелись иссохшие части тела; я теснее натягивал на себя одеяло, чтобы как-нибудь не простыть ненароком, и старался чем скорее доковылять обратно в свою теплую палату, обтереть сколько-нибудь, чистоты ради, ноги, а потом быстро спрятаться в постели, закутаться своим стеганым одеялом. Тут я вступал в разговор с соседом, пока он еще был здесь (сколько-то спустя он ушел «nach Hause»; и поляк постарше занял его место); смотрел по сторонам, если было на что, слушал приказы по репродуктору и могу сказать: только благодаря им, ну и еще с некоторой помощью воображения я сумел отсюда, из постели, приобрести полный кругозор, следить неотступно, поставить перед собою, словно бы колдовством, весь лагерь, все его краски, вкусы, запахи, приходы-уходы, все его событья и происшествия, мелкие и крупные, от утренней зари до вечерней, а иногда даже и после. Так, «Friseure zum Bad, Friseure zum Bad»[36] звучит по много раз в день, и чем дальше, тем чаще, и дело ясное: прибыл новый транспорт. Вместе с этим всякий раз: «Leichenkommando zum Tor», то есть «труповозы к воротам»; а если просят подкрепления, я могу заключать отсюда о наличности, о качестве груза. Я мог усвоить, что в этих обстоятельствах «Effekten», то есть рабочие складов, тоже должны спешить к вещевым складам, и иногда «im Laufschritt», то есть «бегом». А если, например, вызывают двух или четырех Leichnamträger, скажем, «mit ein» или «zwei Tragbetten sofort zum Tor!»[37] – можно быть уверенным, что на этот раз где-то произошел единичный несчастный случай, на работе, на допросе, в подвале, на чердаке, кто знает где. Я принял к сведению, что у «Kartoffelschäler», то есть у команды чистящих картошку есть не только дневная смена, но и «Nachtschicht»[38]; и еще много разного другого. Но каждый день после полудня, всегда в один и тот же час, звучит загадочное послание: «Ela zwo, Ela zwo, aufmarschieren lassen!» – и я долго ломал себе голову над этим поначалу. А ведь отгадка была простая, но прошло время, пока по какой-то праздничной, бесконечной, как в храме, тишине, всякий раз следовавшей за этими словами, по командам «Mützen ab!», «Mützen auf!», по какой-то жиденькой, пискливой музыке, доносившейся иногда, я догадался: там, снаружи, лагерь стоит на поверке, тогда «aufmarschieren lassen» означает «построение», «zwo» – zwei, а «ela» – явно «L. Ä.», то есть «Lagerältester», и значит, в Бухенвальде действуют два Lagerältester, первый и второй, и это, в сущности, если подумать, не такое уж большое чудо, в конце концов, в таком лагере, где девяностотысячный

[36] Friseure zum Bad (немецкий) – Парикмахеры в душевые.
[37] Leichnamträger, ... mit ein ... zwei Tragbetten sofort zum Tor! (немецкий) – Труповозы с одними... с двумя носилками сейчас же к воротам.
[38] Nachtschicht (немецкий) – Ночная смена.

номер уже давно присвоен – как мне известно. Затем потихоньку умолкает и наша палата, Збышек – если то была его очередь гостить – тоже ушел уже, и Петька оглядывает все вокруг в последний раз, прежде чем погасить свет со своим обычным «добра ноц». Тогда я ищу самого удобного положения, какое только способна мне дать моя постель и разрешают мои раны, натягиваю одеяло на ухо, и вот уже застигает меня беззаботный сон: нет, больше этого я не могу желать, больше этого в концентрационном лагере – признавался я – не могу достигнуть.

Две вещи только беспокоили меня немного. Одна – две мои раны: никто не стал бы спорить, они были на месте, вокруг еще всё воспалено, мясо еще наружу, но по самым краям уже тонкая пленка, тут и там появляются коричневатые струпья, врач уже не шпигует раны кругом марлей, да и на процедуры почти не зовет, а если и зовет, мы заканчиваем тревожным образом быстро, и выражение его лица тревожным манером довольное. Другая вещь – событье очень радостное, по сути дела, несомненно, не могу отрицать. Когда Петька и Збышек, например, прислушиваясь к чему-то вдалеке, вдруг прекращают свой разговор и поднятым пальцем требуют одновременно молчания и от нас остальных, мое ухо тоже, в самом деле, улавливает глухой гул, а иногда отрывистые, отдаленные звуки, похожие на собачий лай. По другую сторону перегородки, где, как я догадываюсь, должна быть палата Бохуша, теперь тоже очень большое оживление, судя по голосам, которые пробиваются сюда еще долго после того, как погасят свет. Вой сирен по нескольку раз в сутки теперь уже в порядке вещей, и стало привычным делом просыпаться каждую ночь под распоряжение громкоговорителя: «Krematorium, ausmachen!»[39] – потом, минуту спустя, но теперь уже раздраженно скрипя: «Khematohium! Sofoht ausmach'n!» – из чего я мог понять: он ни в коем случае не желает, чтобы нежелательный свет пламени каким-то образом созвал самолеты на его голову. Парикмахеры, уж и не знаю, когда спят; перед баней – я узнал – вновь прибывшие теперь могут простоять два-три дня голыми, прежде чем попадут внутрь; и Leichen-kommando тоже – я слышу – работает без перерыва, в три смены. В нашей палате нет ни одного свободного места, и, вдобавок к привычным язвам, резаным ранам, я на этих днях впервые услыхал от венгерского парня, занимающего одну из постелей напротив, еще и об огнестрельном ранении. Он получил его по пути сюда, во время многодневного пешего марша из периферийного лагеря, какого-то, если я правильно понял, Ордруфа, и, судя по его рассказу, примерно похожего на Цейц: они беспрерывно обходили противника, то есть американскую армию, и на самом деле пуля назначалась человеку рядом, который устал и как раз вышел из ряда, но он тоже был ранен в ногу. Ему еще повезло, что кость не задело,

[39] Krematorium, ausmachen!» «Khematohium! Sofoht ausmach'n!» (немецкий) – Крематорий погасить. Кхематохий сейчас же погасить.

прибавил он, и я подумал: ну, со мной, например, такого произойти уже не могло бы. В моей ноге пуля, куда бы ни попала, попала бы в кость, это ясно, тут и спорить не о чем. Скоро выяснилось, что он и вообще-то только с осени в концлагере; его номер, восемьдесят тысяч с чем-то, не очень-то знатный здесь, в нашей палате. Одним словом: отовсюду доходят теперь слухи и вести о наступающих переменах, неудобствах, смуте, беспорядках, заботах и тревогах. То Петька обходит все кровати с каким-то листом в руках и спрашивает у каждого, и у меня тоже: можешь идти, ходить, «laufen»? Я сказал ему: не, не, я нет, «ich kann nicht». – «Таг, таг, – ответил он, – du kannst»[40], и с этими словами записывает мое имя, точно так же, впрочем, как и всех прочих в палате, даже Кухарского, у которого обе отечные ноги все целиком в параллельных разрезах, похожих на раскрытые рты, я видел однажды в процедурной. В другой вечер – я как раз сжевал свой хлеб – слышу по радио: «Alle Juden im Lager» – все евреи в лагере – «sofort» – немедленно – «antreten!» – строиться, но голос такой страшный, что я немедленно сел в постели. «Цо то робиш?» – спросил Петька с любопытством в лице. Я показал ему на громкоговоритель, но он только улыбнулся своей обычной улыбкой и обеими руками дал знак: назад, успеется, к чему этот переполох, зачем эта спешка? Но репродуктор не умолкает, скрипит, говорит весь вечер: «Lagerschutz» – вещает он, то есть призывает вооруженных дубинками ответственных из команды лагерного надзора немедленно взяться за дело, но, вероятно, не вполне доволен и ими, так мне кажется, потому что вскоре – и я едва был способен слушать это без содрогания – требует к воротам Lagerältester и капо Lagerschutz, то есть прямо двух самых важных среди всех мыслимых лагерных властей, «aber im Laufschritt»! В другой раз он полон вопросами, укорами: «Lagerältester! Aufmarschieren lassen! Lagerältester! Wo sind die Juden?!»[41] – допрашивает, призывает, приказывает, стрекочет, скрипит без перерыва ящик, а Петька только сердито отмахивается или говорит ему: «Курва его мать!» И тогда я полагаюсь на него, в конце концов, он-то знает, и лежу себе спокойно дальше. Но если в тот, предыдущий вечер не было охоты, назавтра, кажется, деваться было уже некуда: «Lagerältester! Das ganze Lager: antreten!»[42] – потом, спустя немного, рев моторов, собачий лай, треск выстрелов, удары палок, стук бегущих ног и, по их следам, тяжелое грохотанье сапог показывают, что наконец – если некоторым так больше по вкусу – солдаты тоже могут взять дело в свои руки и что за плоды у такого непослушания, пока, в конце концов, тем или иным образом, не наступит разом тишина. Тут вскорости и совершенно неожиданно заявляется врач: ведь

[40] laufen; ich kann nicht; du kannst (немецкий) – Бежать; я не могу; ты можешь.
[41] Aber im Laufschritt... Aufmarschieren lassen! Wo sind die Juden? (немецкий) – Но бегом! Выстраивай ряды! Где евреи?
[42] Das ganze Lager: antreten ! (немецкий) – Весь лагерь, стройся!

с обычным утренним визитом он уже был, как будто снаружи ничего не происходит. Но теперь он не такой холодный, не такой холеный, как раньше: лицо помято, халат не совсем безупречен – изуродован пятнами ржавчины, тяжелым взглядом налившихся кровью глаз он испытующе обводит палату: ищет пустую кровать, очевидно, вне всякого сомнения. «Wo ist der, – говорит он Петьке, – der, mit dieser kleinen Wunde hier?!»[43], выписывая неопределенное движение над своим бедром и ляжкой, между тем как его испытующий взгляд приостанавливается на каждом лице, в том числе на миг и на моем, и я очень сомневаюсь, чтобы он меня не узнал, даже если вышло так, что он сразу отвернулся, чтобы снова впиться глазами в Петьку, ожидая, торопя, требуя, возлагая на него, в каком-то роде, обязанность отвечать. Я ничего не сказал, но про себя уже приготовился встать, надеть свою одежку и идти куда-то, в самую гущу сумятицы; но тут, к великому своему изумлению, вижу, что Петька – во всяком случае, судя по выражению его лица – понятия не имеет, кого это может иметь в виду доктор, потом, после короткой нерешительности, его словно бы вдруг осенило все-таки, и со словами «Ach... ja» он указывает, расправив руку, на мальчика с пулевым ранением, и врач, кажется, соглашается немедленно, его тоже, кажется, осенило, как будто вдруг разгадали и наконец уладили его заботу, в самом деле. «Der geht sofort nach Hause!»[44] – распоряжается он тут же, и тогда произошло событье, действительно редкостное, необычное, я бы мог сказать, непристойное, подобного которому я еще ни разу до тех пор не видел в нашей палате и на которое едва мог смотреть без некоторого смущения, не краснея. Подстреленный мальчик встал с постели и сперва только сложил ладони перед врачом, как будто собрался молиться, и когда тот попятился и остался на какой-то миг перед ним неподвижен, недоумевая, упал на колени, вцепился во врача обеими руками, ухватившись за его ноги и обхвативши их; после этого я только увидел, как быстро сверкнула рука врача, и услыхал сразу вслед громкий хлопок пощечины, и только понял его негодование, но слов, которые он произнес прежде, чем оттолкнуть коленом препятствие и в ярости выбежать вон с лицом еще краснее, чем обычно, – уже в точности не разобрал. В опустевшей кровати появился новый больной, опять мальчик – хорошо знакомая мне с виду перевязка, тупоконечная и твердая, свидетельствует, что на ногах у него нет уже ни одного пальца, – и при первом же случае, когда Петька шел в мою сторону, я сказал ему тихо, между нами: «Дьинкуе, Петька». Но из его вопроса: «Was?...», из того, что на мое заверение: «Aber früher, vorher...» – то есть «но ведь прежний, вот только что...» – он ответил полным непониманием, совершенной неосведомленностью в лице,

[43] Wo ist der, der, mit dieser kleinen Wunde hier?! (немецкий) – Где же этот, тот, с маленькой раной.
[44] Der geht sofort nach Hause! (немецкий) – Этот сразу же идет домой.

из удивленного, не знающего о чем речь движения головы я вывел, что на этот раз, кажется, непристойность допустил я и что некоторые вещи, соответственно, мы вынуждены устраивать исключительно сами с собой, наверно, так оно кажется. Но первым делом, всё было по справедливости, как нужно и можно, – так, по крайней мере, считал я, – ведь, в конце концов, я был раньше его в палате, потом у него больше сил, а значит, и сомнения не было – по-моему, то есть – что у него снаружи больше шансов; и главное, в конечном итоге, я легче, кажется, способен примириться с несчастьем другого, чем с собственным несчастьем: этот вывод приходилось мне сделать, этот урок извлечь, как ни погляди, ни прикидывай, ни подходи. Но самое главное: чего стоит такая забота, когда стреляют? – ведь двумя днями позже у нас уже зазвенело окно и какая-то шальная пуля вонзилась в противоположную стену. В тот же день было еще событье, в ходе которого подозрительные личности то и дело заглядывали к Петьке обменяться на бегу несколькими словами; и он сам часто уходил куда-то, иногда надолго, чтобы вечером снова появиться в палате с каким-то продолговатым пакетом, свертком подмышкой. Я подумал: простыня, но нет, потому что было и древко, ну тогда белый флаг, а из его середины выглядывает оконечность, вершина какой-то хорошо укутанной вещи, какую я до сих пор никогда не видел в руках у заключенного, и вся палата пришла в движение, ахнула, загудела, и Петька, перед тем как засунуть вещь под кровать, показал всем, позволил взглянуть на один миг каждому из нас, но с такою улыбкой, каким-то таким движением прижимая ее к своей груди, что и я ощутил себя чуть ли не под рождественской елкой, заполучившим, наконец, долгожданный дорогой подарок: коричневая деревянная часть, и из нее выходит короткая стальная трубка, отливающая синим, – карабин-обрез, сразу и слово пришло на память, как я его читал когда-то в своих любимых романах про разбойников и сыщиков.

Следующий день снова обещал быть бурным – но кто сумел бы учесть все дни по отдельности и все эти событья? Во всяком случае, могу сказать: кухня до самого конца действовала в обычном порядке, и врач большей частью был точен. Потом однажды утром, вскоре после кофе, поспешные шаги в коридоре, пронзительный крик вроде условного знака, на который Петька быстро вытаскивает из своего тайника и зажимает подмышкой свой сверток, после этого исчезает. Вскоре, так около девяти, я слышу впервые, как ящик приказывает не заключенным, а военным: «Zu allen der SS Angehörigen» – и дважды, раз за разом: «Das Lager sofort zu verlassen»[45] – то есть велит им немедленно оставить лагерь. Потом я слышал шум боя – приближающийся, удаляющийся, какое-то время чуть ли не под

[45] Zu allen der SS Angehörigen das Lager sofort zu verlassen» (немецкий) – Всем, принадлежащим к СС, сейчас же покинуть лагерь.

самым ухом, позже постепенно смолкающий, и наконец настала тишина – даже слишком большая тишина, потому что напрасно я ждал, прислушивался, подстерегал и принюхивался: ни в урочный час, ни позже никак не удалось мне уловить – хотя давно уже настал срок – ни бряканья, ни сопровождающих его ежедневных криков разносчиков супа. Время шло, наверно, к четырем, когда ящик наконец щелкнул и после короткого хрипа и шипенья уведомил всех нас, что у микрофона Lagerältester, «говорит Lagerältester». «Kameraden, – сказал он, и было слышно, что он борется с чувством, которое душит его, отчего его голос то прерывался, то становился слишком резким, почти визгливым, – wir sind frei!» – то есть мы свободны, и я подумал, что, стало быть, в этом и Lagerältester тоже, вероятно, разделяет взгляды Петьки, Бохуша, врача и им подобных, дует с ними, как видно, в одну дудку, с позволенья сказать, если уж это он возвестил о событии, и вдобавок с такой явной радостью. Потом он произнес короткую, красивую речь, после него говорили другие, на самых разных языках: «Attention, attention!» – услышал я, например, по-французски; «Позор, позор!» – почешски, я думаю; «Ниманье, ниманье, руски товарищи, ниманье!» – и певучая интонация вдруг привела на ум приятное воспоминание, тот язык, на котором, когда я прибыл сюда, говорили вокруг меня люди из банной команды; «Увага, увага!» – и на это сразу же в волнении сел в постели рядом с моей больной-поляк и заорал на нас на всех: «Чиха бендж! Терас польски комуники!» – и тогда только я вспомнил, как он волновался, ерзал, дергался весь день напролет; и потом вдруг, к моему великому изумлению: «Вниманье, вниманье! Венгерский комитет лагеря...» – и я подумал: вот те раз, я и не подозревал, что такой существует. Но напрасно я был весь вниманье, от него тоже, как и от всех предыдущих, я мог услышать только о свободе, но ни единого намека, ни упоминания о супе, которого мы не получили. Я тоже ужасно радовался, вполне естественно, что мы свободны, но, с другой стороны, ничего не мог с собой поделать, не мог избавиться от мысли: вчера ничего подобного еще не могло случиться. Снаружи был уже темный апрельский вечер, и Петька уже тоже вернулся, раскрасневшийся, разгоряченный, полный массой непонятных слов, когда в громкоговорителе, наконец, снова объявился Lagerältester. Сейчас он обращался к бывшим членам Kartoffelschäler-Kommando[46], просил их оказать такую любезность – занять прежние места на кухне, а всех прочих обитателей лагеря попросил не спать, хотя бы даже и до глубокой ночи, потому что для них уже варится крепкий суп-гуляш; только тогда я снова откинулся с облегчением на подушку, только тогда что-то стало медленно оттаивать во мне, только тогда я и сам подумал – может быть, впервые серьезно – о свободе.

[46] Kartoffelschäler-Kommando (немецкий) – Группа по очистке картофеля.

9.

Домой я вернулся примерно в ту же пору, что уехал. Во всяком случае, леса вокруг были уже давно зеленые, над большими ямами, где зарыли трупы, тоже пробилась трава, и асфальт запустелой с началом новых времен Appellplatz, замусоренный остывшим пеплом костров, всевозможным тряпьем, бумагой, консервными банками, уже плавился в летнем зное, когда в Бухенвальде спросили и у меня: не хочу ли я пуститься в дорогу? В большинстве поедут молодые, под началом у одного важного лица из венгерского лагерного комитета, поседевшего человека в очках, который будет улаживать наши дела в пути. Сейчас есть грузовик, и американские солдаты готовы отвезти нас на какое-то расстояние к востоку, а дальше уже наше дело, сказал он и попросил, чтобы мы называли его «дядя Миклош». Мы должны жить дальше, прибавил он, и в самом деле, ничего другого нам не остается, в конце концов, я признал, раз уж нам представилась возможность вообще этого достигнуть, естественно. В общем и целом я мог считать себя целым и невредимым, за исключением некоторых странностей, неудобств. Так, к примеру, если я где-нибудь на своем теле вдавливал палец в мясо, след оставался виден надолго, вмятина, как в каком-нибудь неживом, лишенном упругости материале, скажем, в сыре или в воске. Лицо тоже немного удивило меня, когда я увидел его в первый раз в бывшей эсэсовской больнице, в уютной комнате с зеркалом, потому что по прежним временам я помнил другое лицо. На том, что я видел сейчас, лоб под отросшими на несколько сантиметров волосами был поразительно ниже, два вновь образовавшихся бесформенных и странных вздутья под ушами, в других местах – мягкие сумки, мешочки, в целом, как, по крайней мере, свидетельствовало мое чтение в прошлом, скорее приобретаемые в разнообразных сластолюбивых забавах и потому характерные для людей, преждевременно состарившихся, с их складками и морщинами; и взгляд его уменьшившихся в размерах глаз я хранил в памяти иной – более дружелюбный, я бы сказал, внушающий больше доверия. И еще я прихрамывал, тянул немного правую ногу: «не страшно, – это дядя Миклош, – воздух родины всё наладит». Дома, объявил он, мы построим новую родину, и, для начала, немедленно обучил нас нескольким песням. Когда мы проходили пешком через села или маленькие городки – а это случалось по пути, и не раз, – мы пели их, выстроившись по-военному, по трое в шеренге. Сам я особенно полюбил ту, что начинается словами «На краю Мадрида стоим на страже», хоть и не мог бы в сущности объяснить, почему. По иной причине, но охотно я пел и другую, прежде всего ради этого места: «Весь день работаем, как проклятые, / и с голоду чуть не дохнем./ Но винтовка уже зажата в руке!» И еще по одной причине мне была по сердцу песня, в которой есть строчка: «Мы мо-ло-дая гвар-дия ра-бо-чих и кре-стьян», после

которой надо было обыкновенным голосом выкрикнуть, вставить: «Рот-фронт!», потому что каждый раз тогда я отчетливо улавливал звон затворяющегося окна или хлопанье двери, каждый раз замечал человека, поспешно пробирающегося от одних ворот к другим или быстро исчезающего в подворотне, – немца.

Кстати, я пустился в путь с легким багажом: американский военный мешок не совсем удобной формы – слишком узкий, а соответственно и слишком длинный, голубая парусиновая штука. В мешке два моих толстых одеяла, смена белья, свитер из брошенного склада СС, серый, хорошей вязки, на запястьях и на шее зеленые полоски, ну и кое-какие припасы на дорогу: консервы и другое. На мне были американские армейские штаны, суконные, зеленого цвета, того же происхождения надежные с виду ботинки на шнурках и на резиновом ходу, над ними краги из кожи, которой сносу нет, с ремнями и застежками. На голову я приспособил шапку странной формы и, во всяком случае, оказавшуюся немного тяжелой, не по сезону, которую украшали крутой козырек и тулья с ребрами и с остриями – косо посаженный четырехугольник, а в геометрии – пришло на ум из далекого прошлого, из школьных времен – ромб, и когда-то, до меня, ее, должно быть, носил польский офицер, как говорили. Куртку тоже я мог бы, наверно, приобрести на складах получше, но, в конечном счете, удовольствовался той же самой, неизменной, хорошо послужившей, привычной, старой, полосатой, только без номера и треугольника, и даже прямо-таки выбрал ее, можно сказать, не хотел расставаться, так, по крайней мере, не будет никаких недоразумений – думал я, – а кроме того, я находил ее удобной, практичной и легкой одеждой, по крайней мере сейчас, летом. Мы проделывали наш путь на грузовиках, на телегах, пешком, на общественном транспорте – как когда и чем могли снабдить нас разные армии. Мы спали в повозках, запряженных волами, на партах и учительских столах в брошеных школах или просто так, под сияющим звездами летним небосводом, в парке на клумбах, на мягком газоне среди хорошеньких, похожих на пряничные, домиков. Мы даже плыли на пароходе по небольшой – во всяком случае, на взгляд, который помнит Дунай, – реке, она зовется, как я узнал, Эльбой; и я проходил место, которое, по всей видимости, было тоже когда-то городом, а теперь остались только груды камней да черные голые стены тут и там. У подножья этих стен, развалин и еще под остатками мостов жили, ютились, спали теперь тамошние люди, и я пытался радоваться, естественно, но только не мог не чувствовать: они-то как раз меня несколько и стесняли. Я катался в красном трамвае и ехал в настоящем поезде с настоящими вагонами и в них настоящими купе для людей – хотя мне досталось только место на крыше. Я сошел в каком-то городе, где наряду с чешской речью слышалась уже и венгерская; и пока мы ожидали обещанной вечером пересадки, возле вокзала вокруг нас собрались женщины, старики, мужчины, разные люди.

Они спрашивали: из концлагеря ли мы едем и допытывались у многих из нас, и у меня тоже, не встречался ли я там случайно с их близкими, с таким-то или таким-то по имени. Я говорил им, что в концлагере у людей вообще нет имен. Тогда они силились описать их наружность, лицо, цвет волос, особые черты, а я пытался им растолковать: это впустую, ведь в концлагерях люди по большей части сильно изменяются. Тогда они потихоньку оставили меня, разошлись, кроме одного, который совершенно по-летнему был одет только в рубашку и брюки и между ними запустил большие пальцы по обе стороны от подтяжек, за пояс, а остальные пальцы в это время барабанили по материи снаружи, играли. Ему хотелось знать, и это вызвало у меня улыбку, видел ли я газовую камеру. Я сказал ему: «Тогда мы теперь не разговаривали бы». «В самом деле», – ответил он, но действительно ли они были, газовые камеры, и я сказал ему, конечно, среди прочего есть и газовые камеры, естественно: все зависит от того – прибавил я еще, – что в каком лагере в ходу. «В Аушвице, например, мы можем на них рассчитывать. Но я, – заметил я, – из Бухенвальда». – «Откуда?» – переспросил он, и пришлось повторить: «Из Бухенвальда». – «Значит, из Бухенвальда?», – наклонил он голову, и я сказал ему: «Да, оттуда». На это он сказал: «Позвольте, минутку» – с лицом неподвижным, строгим, почти что наставническим немного, каким-то образом. «Значит, ваша милость, – и не знаю почему, но меня почти умилило каким-то образом это очень серьезное, прозвучавшее в известной мере церемонно обращение, – слышала про газовые камеры», и я сказал ему: «конечно». «И однако же, – так он продолжал, все с тем же жестким, словно наводящим порядок и вносящим ясность выражением, – ваша милость самолично, собственными глазами в этом не убеждалась» – и мне пришлось признать: «Нет». На это он заметил: «Вот как» – потом, коротко кивнул и зашагал дальше, жестко выпрямив спину, и мне казалось, что он даже доволен почему-то, если я не ошибся. Вскоре после этого позвали: «В атаку, поезд подан!», и мне удалось занять вполне сносное место, на широких деревянных ступенях, ведущих в вагон. К утру я проснулся оттого, что мы весело пыхтели. Позже я заметил, что названия мест уже повсюду могу читать по-венгерски. Эта водная гладь – мне показали – которая оттуда меня слепит, уже Дунай, а земля вокруг, которая разогревалась и трепетала в раннем солнечном свете, говорят, уже венгерская. Какое-то время спустя мы прибыли под ветхую кровлю, в зал со сплошь разбитыми стеклами: Западный вокзал, упоминалось вокруг меня, и правда, это был он, в общем и целом я узнал.

Снаружи, перед зданием, солнце жгло тротуар. Велики были зной, шум, пыль и движение. Трамваи были желтые, и на них номер: 6 – значит, и это не переменилось. Были и продавцы, со странными пирогами, с газетами, с другим товаром. Люди были очень красивые, и, по-видимому, у всех были дела, важные за-

нятья, все спешили, неслись, бежали куда-то, проталкивались в разные стороны. Нам тоже, как выяснилось, надо немедленно попасть на пункт регистрации и там сейчас же записаться, чтобы как можно скорее получить деньги и документы – теперь необходимые принадлежности жизни. Этот пункт – я узнал – находится как раз у другого вокзала, у Восточного, и мы тут же, на ближайшем углу захватили вагон трамвая. Улицы я нашел ободранными, ряды домов выщерблены местами, а те, что еще держались, обветшали, появились проломы, дыры, вылетели окна, но я все-таки более-менее узнал маршрут, так же, как площадь, где мы сошли через некоторое время. Медпункт был как раз напротив кинотеатра, который я еще помнил, в большом, сером, некрасивом общественном здании: его двор, вестибюль, коридоры уже полны людей. Они сидели, стояли, суетились, гомонили, болтали или молчали. Многие были одеты кое-как, в то, что нашлось на лагерных и армейских складах, головы покрыты, некоторые в полосатых куртках, как и я, но есть уже и приодевшиеся по-буржуазному, в белых рубашках, с галстуком, руки заложены за спину, снова советуются о важных предметах, полны достоинства, словно до того еще, как отправились в Аушвиц. В одном месте припоминали лагерные условия, сравнивали, в другом обсуждали виды на пособие, какая может быть сумма и размер, еще другие обнаруживали в ходе дела ненужные церемонии, противозаконные привилегии, выгоды для других в ущерб им самим, несправедливости, но по единственному пункту соглашались все: нужно ждать, и, в любом случае, долго. Но мне стало очень скучно, и, взвалив свой мешок на плечо, я скоро вышел обратно во двор, а оттуда побрел к воротам. Я снова увидел кинотеатр, и мне пришло в голову, если бы я прошел направо один, максимум два квартала, то дорогу мне – если только память меня не обманывает – пересекла бы улица Незабудок.

Дом я нашел легко: он стоял на месте и ничем не отличался от остальных на улице, желтых или серых, несколько обветшавших, как мне, по крайней мере, показалось. В прохладной подворотне из старого, с загнувшимися краями списка имен я узнал, что и номер квартиры тот же и что мне надо подняться на третий этаж. Я медленно карабкался по лестничной клетке, где пахло прогорклым и немного кисловатым, из окна были видны подвесные круговые галереи и внизу печально чистый двор: посередине какой-то газон, ну и обычное тоскливое дерево со своей чахлой пыльной листвой старалось вовсю. Навстречу мне проворно спускалась женщина с повязкой на голове и с пыльной тряпкой в руках; откуда-то доносилась музыка по радио; и где-то ревел ребенок, безутешно. Когда потом передо мной открылась дверь, я был очень удивлен, потому что после столь долгого перерыва вдруг снова увидел маленькие косые глазки Банди Цитрома, только в этот раз на лице еще сравнительно молодой, черноволосой, немного приземистой, не слишком высокой жен-

щины. Она отступила немного, наверно – подумал я – из-за моей куртки, и чтобы она случайно не захлопнула вдобавок дверь перед моим носом, я тут же спросил: «Дома Банди Цитром?» Она ответила: «Нет». Я спросил: только теперь, в настоящий момент? – на что она сказала, качая головой и зажмуриваясь: «Вообще» – и только когда она снова открыла глаза, я заметил, что на нижних ресницах теперь немножко блестит влага. И губы у нее слегка подергивались, и тут я решил, что лучше всего мне убраться чем поскорее – но из полумрака прихожей вдруг появилась тощая пожилая женщина в головном платке и темном платье, и сперва надо было сказать и ей: «Я пришел к Банди Цитрому», и она тоже сказала: «Его нет дома». Она, впрочем, была вот какого мнения: «Приходите в другой раз. Через несколько дней, может быть», – и я обратил внимание, что молодая женщина на эти слова немного отвернула голову каким-то странным, обороняющимся и в то же время каким-то бессильным движением и при этом подняла ко рту тыльную сторону ладони, как будто хотела, может быть, задушить, подавить в себе какое-то рвущееся наружу слово, звук. Потом пришлось еще сказать старухе: «Мы были вместе» и объяснить: «В Цейце», и в ответ на ее какой-то строгий, почти что требующий отчета вопрос: «А почему вы не вернулись домой вместе?» – чуть ли не оправдываться: «Мы расстались. Я попал потом в другое место». И еще она желала знать: «Есть ли там еще венгры?» – и я отвечал: «Конечно, много». Тогда с заметным торжеством она сказала молодой женщине: «Вот видишь!» – и мне: «Я все время говорю, теперь еще только начинают возвращаться. Но моя дочка нетерпеливая, она больше не хочет верить» – и я почти уже сказал, но потом все-таки промолчал, что дочка, по-моему, конечно толковее, она знает Банди Цитрома лучше. Потом она еще пригласила меня войти, но я ответил, что мне сперва надо домой. «Наверняка, родители вас ждут», – сказала она, и я ответил: «Конечно». – «Ну, тогда идите поскорее, – заметила она еще, – пусть порадуются», – и на этом я ушел.

Я добрался до вокзала, и так как нога начала всерьез о себе напоминать, и потому, что среди многих других трамваев передо мной как раз повернул номер, издавна знакомый, я сел в трамвай. Сухопарая старуха на открытой площадке посторонилась немного, чудная, старомодная, в кружевном воротнике. Вскорости явился человек в картузе, в униформе и потребовал мой билет. Я сказал ему: «У меня нет». Он предложил: «Приобретите». Я сказал: «Я с чужбины, у меня нет денег». Тогда он поглядел на мою куртку, на меня, а потом еще на старуху и довел до моего сведения, что есть правила пользования транспортом и эти правила установил не он, а те, кто над ним. «Если вы не приобрели билета, надо сойти», – таково было его мнение. Я сказал ему: «Но ведь у меня болит нога», и при этих словах, я заметил старуха отвернулась, и с таким обиженным видом, будто я ее чем-то попрекнул, не знаю почему. Но к откры-

той двери вагона, с большим шумом уже издали, продирался дородный, растрепанный брюнет. На нем была рубаха с расстегнутым воротом, светлый полотняный костюм, черный ящик на плече, на ремне, и в руке портфель. «Что за безобразие, – закричал он, – дайте сюда билет!» – распорядился он, протягивая или, скорее, подпихивая монету кондуктору. Я попытался поблагодарить, но он прервал меня, запальчиво оглядываясь вокруг: «Лучше бы некоторые постыдились», – сказал он, но кондуктор уже ходил внутри вагона, а старуха все глядела в другую сторону. Тогда, со смягчившимся лицом, он повернулся ко мне. Спросил: «Из Германии приехал, сынок?» – «Да». – «Из концлагеря?» – «Естественно». – «Из какого?» – «Из бухенвальдского». Да, он уже слыхал о нем, знает, это тоже «был один из кругов нацистского ада» – так он выразился. «Откуда тебя уволокли?» – «Из Будапешта». – «Сколько ты там пробыл?» – «В целом год».– «Много, наверно, всякого насмотрелся, сыночек, много ужасов», – сказал он на это, но я ничего не ответил. А он продолжал: главное – что это кончилось, миновало, его лицо прояснилось, и, показывая на дома, между которыми мы как раз гремели, он осведомился: что я сейчас ощущаю, вернувшись домой, при виде города, который покинул? Я сказал ему: «Ненависть». Он замолчал, но скоро заметил, что, к сожалению, должен понять мои чувства. Впрочем, по его мнению, «в данной ситуации» у ненависти тоже есть свое место, роль и «даже польза», и он предполагает, добавил он, что и я того же мнения, и что он прекрасно знает, кого я ненавижу. Я сказал ему: «Всех». Он снова помолчал, на этот раз дольше, потом повторил: «Должно быть, ты пережил много ужасного?» – и я ответил: зависит от того, что он считает ужасным. Наверно – сказал он на это с некоторым смущением в лице – мне приходилось терпеть много лишений, голодать, и, вероятно, меня и били, к тому же, и я сказал ему: «Естественно». – «Почему, мой мальчик, – закричал он тогда, и мне показалось, что он вот-вот выйдет из терпения, – ты на все говоришь «естественно», и все время на такие вещи, которые совершенно неестественны?!» Я сказал: «В концлагере это естественно». – «Да, да, там да, но... – и тут он запнулся, заколебался немного, – но... ведь сам концентрационный лагерь – вещь неестественная!» – напал он, наконец, на верное слово, вроде бы, и я ничего ему не ответил, потому что начал медленно признавать: о нескольких предметах мы никогда не сможем спорить, как видно, с посторонними, с невеждами, в известном смысле с детьми, так сказать. Вдобавок была пора выходить, спохватился я при виде площади, которая была на месте и ничуть не изменилась, разве что стала немного оголеннее и заброшеннее, – и я сообщил ему об этом. Но он составил мне компанию и, указав на тенистую скамейку без спинки, в стороне, предложил посидеть с ним минутку.

Сперва он был в нерешительности, казалось. В самом деле – заметил он – только теперь начинают «по-настоящему вы-

ходить наружу ужасы», и прибавил, что «мир пока стоит в недоумении перед вопросом: как, каким образом все это вообще могло произойти?» Я промолчал, и тогда, повернувшись ко мне всем телом, он вдруг сказал: «Ты не хотел бы, сынок, рассказать о том, что пережил?» Я удивился немного и ответил, что очень много интересного не мог бы ему рассказать. Он улыбнулся чуть-чуть и сказал: «Не мне – миру». Тут я удивился еще больше и спросил у него: «Но о чем же это?» – «О лагерном аде», – ответил он, на что я заметил, что об этом вообще ничего не могу сказать, так как ада не знаю и даже представить себе не мог бы. Но он объявил, это только такое сравнение: «Разве не в виде ада следует нам представлять себе концентрационный лагерь?» – спросил он, и я ответил, чертя каблуком кружки в пыли под ногами, что каждый представляет на свой лад и вкус, а я, во всяком случае, могу представить себе только концентрационный лагерь, потому что знаю его в какой-то мере, ада же не знаю. «А все-таки если попытаться?» – настаивал он, и еще через несколько кружков я ответил: «Тогда я представил бы себе такое место, где нельзя соскучиться»; хотя – прибавил я – в концлагере можно было, даже и в Аушвице тоже – в определенных условиях, конечно. На это он помолчал, потом спросил, но уже как-то почти нехотя, так я почувствовал: «И чем ты это объясняешь?» – и после короткого раздумья я нашелся: «Временем». – «Как так временем?» – «А так, что время помогает». – «Помогает...? В чем?» – «Во всем», – и я попытался объяснить ему, что это совсем другое дело, например, прибыть на станцию, если и не роскошную, то вполне пристойную, чистую, опрятную, где все проясняется перед нами только медленно, по порядку, постепенно. Когда прошли одну ступень и знаем, что она позади, приходит следующая. Когда после мы всё узнали, мы уже и всё поняли. И тем временем, пока он всё понимает, человек не остается праздным: он уже выполняет новое свое дело: живет, действует, движется, отвечает на каждое новое требование каждой новой ступени. Если бы, напротив, это не было распределено во времени и всё знание обрушилось на нас разом, на одном месте, возможно, этого не выдержала бы ни наша голова, ни сердце – пытался я как-то просветить его, а он выловил из кармана истрепанную бумажную пачку, из которой предложил помятую сигарету и мне, но я отказался, потом после двух глубоких затяжек, упершись локтями в колени, подавшись телом вперед и даже не глядя на меня, он сказал каким-то глухим, бесцветным голосом: «Понимаю». – «С другой стороны, – продолжал я, – недостаток, я бы сказал, порок в том, что время надо заполнять. Я видел, к примеру, – сказал я ему, – заключенных, которые были уже четыре, шесть или даже двенадцать лет в концлагере, точнее не уже, а все еще». Так вот, этим людям все эти четыре, шесть или двенадцать лет, или, в последнем случае, двенадцать раз по триста шестьдесят пять дней, то есть двенадцать раз по триста шестьдесят пять по

двадцать четыре часа, и далее, двенадцать раз, по триста шестьдесят пять, по двадцать четыре... и все это в обратном порядке, по секундам, по минутам, по часам, по дням, иначе говоря, все это время целиком им надо было как-то заполнить. Опять-таки с другой стороны – продолжал я – именно это, возможно, и помогало им, потому что если бы все эти двенадцать раз, по триста шестьдесят пять, по двадцать четыре, по шестьдесят, и снова по шестьдесят, все это время разом, одним ударом обрушилось им на голову, они наверно не устояли бы – как выдерживали обычно – ни телом, ни головой. И так как он молчал, я прибавил еще: «Вот как примерно надо представлять себе». А он, в точности как раньше, только вместо сигареты, которую тем временем отшвырнул, сжимая обеими руками свое лицо и, может быть, оттого голосом еще более глухим, еще более сдавленным сказал: «Нет, невозможно себе представить» – и я, со своей стороны, признал, что он прав. И подумал: вот почему, кажется, вместо этого говорят «ад», наверно.

Но потом он быстро выпрямился, взглянул на часы, и лицо его изменилось. Он довел до моего сведения: он журналист, и притом, как он добавил, «в демократической газете», и только тут я сообразил, кого из отдаленных времен напоминали мне уже и до сих пор кое-какие его слова: дядю Вили – с тем, я признал, различьем, скажем, в достоверности, какое приблизительно я мог бы распознать, допустим, в словах и особенно в поступках, в мере упорства того раввина, если бы, например, сравнил его с дядей Лайошем. Эта мысль вдруг пришла мне в голову и впервые, на самом деле, действительно довела до сознания, что мы, вероятно, скоро увидимся, так что потом я уже прислушивался к журналисту только вполуха. Он бы хотел – сказал он – нашу случайную встречу превратить в «счастливую случайность». Он предложил: напишем статью, начнем «серию статей». Статьи написал бы он, но исключительно на основе моих слов. Так я мог бы получить и какие-то деньги, которые мне, наверно, пригодятся в начале «новой жизни», хотя – прибавил он с чем-то вроде просительной улыбки – очень много он «предложить не может», потому что газета еще новая и «ее материальные источники пока невелики». Но в настоящий момент, так он считал, самое главное не это, а «заживление ран, которые еще кровоточат, и наказание преступников». Прежде всего, однако, «нужно расшевелить общественное мнение», рассеять безразличье, равнодушье, даже скепсис. Общие места здесь ни на что не годны, нужно, по его мнению, выявить причины, истину, каким бы болезненным ни было испытание, необходимо смотреть правде в глаза. В моих словах он видит много оригинального, в их совокупности – выражение эпохи, некую «печальную печать» времен, если я правильно понял, что означает новый, личный оттенок в утомительном потоке фактических материалов, – так он сказал и спросил моего мнения. Я заметил, что прежде всего мне надо бы устроить собственные дела, но,

по-видимому, он неверно меня понял, потому что сказал: «Нет. Это уже не только твое дело отныне. Это дело нас всех, всего мира», – и я сказал ему: да, но только теперь мне уже время пойти домой; тогда он попросил извинения. Мы поднялись, но он, казалось, еще мялся, обдумывал что-то. «Не могли бы мы начать наши статьи фотографией момента встречи?» – спросил он. Я ничего не ответил, и тогда, с короткой полуулыбкой, он сделал такое замечание: «Журналиста профессия иногда вынуждает к бестактности», но если мне это не по вкусу, он, со своей стороны, не хотел бы «навязываться силой». Потом он сел, раскрыл на колене черную записную книжку, что-то быстро в ней набросал, затем вырвал листок и, снова вставая, протянул мне. Это его фамилия и адрес редакции, и, «в надежде на скорое свидание», он прощается со мной, и потом я ощутил дружеское пожатье его теплой, мясистой, немного потной ладони. Разговор с ним оставил и у меня приятное, успокаивающее впечатление, а его самого я нашел симпатичным и доброжелательным. Я подождал, пока его фигура потеряется в толчее пешеходов, и только после этого выбросил его записку.

Через несколько шагов я узнал наш дом. Он стоял на месте, в целости и сохранности. Прежний запах в подворотне, дряхлый лифт на покое в своей зарешеченной шахте и старые ступени, истертые до желтизны, приняли меня, а выше я мог бы увидеть один поворот лестницы, памятный по некоему интимному, особому мгновению. Поднявшись на свой этаж, я позвонил в нашу дверь. Она сразу и открылась, но лишь настолько, насколько позволил внутренний запор, такая задвижка с крючком, цепочка, и я удивился немного, потому что подобного приспособления по прежним временам не помнил. В дверной щели тоже чужое лицо: желтое и скуластое лицо женщины приблизительно средних лет глядело на меня. Она спросила, кого мне нужно, и я сказал ей: «Я здесь живу». – «Нет, – ответила она, – здесь мы живем», – и уже захлопнула бы дверь, да не смогла, потому что я задержал ногой. Я попробовал ей объяснить: это ошибка, ведь я уехал отсюда, и это совершенно точно, что мы здесь живем, а она твердила мне: я ошибаюсь, поскольку здесь, вне всякого сомнения, живут они, и трясла головой, любезно, вежливо, но с сожалением, а между тем беспрерывно силясь: она – захлопнуть дверь, я – удержать. Потом в какой-то миг я поглядел вверх, на номер, не ошибся ли я все-таки дверью, и тут, по-видимому, моя нога поддалась, и ее старания оказались успешнее, и я услышал, как она дважды повернула ключ в защелкнувшемся замке.

Обратный ход к ступеням остановила знакомая дверь. Я позвонил: вскоре появилась толстая, крупная женщина. Она уже почти захлопнула дверь – на знакомый уже лад, – но за ее спиной блеснули очки, и из полумрака выступило серое лицо дяди Флейшмана. Рядом с ним внушительный живот, шлепанцы, крупная рыжая голова, детский пробор и погасший окурок сига-

ры: старый Штейнер предстал передо мной, совершенно так же, как я расстался с ними в прошлый раз, будто вчера, в тот вечер накануне таможни. Они стояли, глядели, потом выкрикнули мое имя, и старый Штейнер даже обнял меня, как я был, в шапке, в поту, в моей полосатой куртке. Они повели меня в комнату, а тетя Флейшман заспешила на кухню, поглядеть, «найдется ли что перекусить», как она сказала. Надо было отвечать на обычные вопросы: откуда, как, когда, каким образом? – потом я спросил и узнал, что в нашей квартире, действительно, уже живут другие. Я справился: «А мы?» – и так как они как-то затруднялись с ответом, спросил «А мой отец?», на что они уже окончательно замолчали. Немного спустя чья-то рука – я думаю, может быть, дяди Штейнера – медленно поднялась, двинулась в путь, потом опустилась, словно осторожная старая летучая мышь, на мою руку. Из того, что они после этого сказали, я, в основном, извлек, что «в подлинности печального известия мы, к сожалению, сомневаться не можем», потому что оно было основано на свидетельстве сослуживцев, по словам которых мой отец «скончался после недолгих мучений» в «немецком лагере», хотя, собственно говоря, лагерь находится на австрийской территории, как же он называется... ну... эх, и я сказал: «Маутхаузен». – «Маутхаузен!» – обрадовались они, потом снова помрачнели: «Да, так оно и есть». После этого я спросил, нет ли у них случайно каких-нибудь известий о моей матери, и они сразу сказали, конечно, и к тому же хорошие: она жива, здорова, несколько месяцев назад заходила сюда, в дом, они сами ее видели, говорили с ней, она спрашивала про меня. А моя мачеха? – полюбопытствовал я еще и узнал: «Да, конечно, она тем временем уже вышла замуж». – «Вот как, и за кого?» – осведомился я, и на имени они снова запнулись. Один сказал: «Какой-то Ковач, если не ошибаюсь», – а другой: «Нет, не Ковач, вернее, Футо». Я сказал: «Шютё», – и опять они радостно закивали, заверили: «Так оно и есть, конечно, Шютё» – в точности как перед этим. Она ему многим обязана, «по сути дела, всем», сказали они потом: он «сберег добро», он «прятал ее в тяжелые времена» – так они выразились. «Может быть, – задумался дядя Флейшман, – она немного поторопилась», – с этим согласился и старый Штейнер. – «Но в конечном итоге, – прибавил он, – оно понятно», – что признал и другой старик, в свою очередь.

После этого я посидел с ними еще некоторое время, потому что очень давно уже не сидел так, в мягком кресле, обитом бордовым бархатом. Пришла и тетя Флейшман и принесла на белой фарфоровой тарелке с орнаментом по краям хлеб, намазанный жиром и украшенный толченым красным перцем и тонкими кружками лука: она так помнила, что когда-то я очень это любил, и я немедленно подтвердил, что и сейчас в равной мере. Два старика между тем рассказывали: «конечно, дома тоже было не сладко». Из их рассказов я вынес, в целом, впечатление какого-то запутанного, смутного и несвязного событья, с ту-

манными очертаниями, ни увидеть, ни понять его толком я, в сущности, не мог. Зато я заметил, что в их речах то и дело, с частотой чуть ли не утомительной повторяется одно и то же слово, которым они обозначают каждый новый поворот, перемену, ступень: так, для примера, «пришел» в дом со звездой, «пришло» пятнадцатое октября, «пришли» нилаши, «пришло» гетто, «пришел» берег Дуная, «пришло» освобождение. И заметил обычную ошибку: словно бы все это событье, размытое, кажущееся прямо-таки невообразимым и в подробностях – как мне виделось – уже и для них самих решительно не восстановимое, случилось не в правильном русле минут, часов, дней, недель и месяцев, но, так сказать, всё разом, как-то в одном-единственном головокружительном порыве вихря, такая, допустим, странная послеобеденная встреча, вдруг превратившаяся в сходку буянов, когда многие участники внезапно, неизвестно почему все теряют разум и в конце, наверно, уже и сами не знают, что делают. В какой-то момент они примолкли, потом, после короткой паузы, старый Флейшман вдруг обратился ко мне с вопросом: «А на будущее какие у тебя планы?» Я удивился немного и сказал ему: «об этом я еще не очень думал». Тогда другой старик пришел в движение и наклонился ко мне, сидя на своем стуле. Также и летучая мышь снова поднялась и вместо руки в этот раз опустилась на мое колено. «Прежде всего, – сказал он – тебе надо забыть эти ужасы». Я спросил, удивляясь еще больше: «Зачем?» – «Затем, – ответил он, – чтобы ты мог жить», – и дядя Флейшман кивнул и прибавил: «Жить свободно», – на что другой старик кивнул и прибавил: «С таким грузом мы не можем начинать новую жизнь», – и в этом была своя истина, я признавал. Вот только не вполне понимал, как они могут желать невозможного, и заметил им: что случилось, то случилось, и, в конечном счете, я не могу приказывать своей памяти. «Новую жизнь, – рассуждал я, – я мог бы начать только тогда, если бы родился заново или если бы какой недуг, болезнь или что подобное затронуло мой ум, чего, смею надеяться, они мне не желают. И кстати, – прибавил я, – я не замечал, чтобы были ужасы», – и тогда, я увидал, они очень удивились. Что это значит, – хотели они знать, – «не замечал»? Тогда я, в свою очередь, у них спросил: – а они что делали в эти всем известные «тяжелые времена»? «Как сказать... жили», – задумался один. «Старались выжить», – прибавил другой. Стало быть: они тоже все время делали шаг за шагом – установил я. Как это понимать: делали шаг за шагом? – не поняли они, и тогда я им тоже рассказал, как это происходило, например, в Аушвице. В одном эшелоне – не скажу, что всегда и непременно, потому что не могу знать, – но в нашем случае, по крайней мере, надо считать приблизительно три тысячи человек. Возьмем из них, скажем, тысячу мужчин. На осмотр будем считать одну-две секунды на человека, чаще одну, чем две. Самого первого и самого последнего исключим, они никогда не считаются. Но в середине,

где стоял и я, надо, таким образом, отвести десять-двадцать минут на ожидание, пока дойдешь до той точки, где решится: сразу ли в газ или еще один шанс. Между тем очередь все движется, все подвигается, и каждый делает шаг, то поменьше, то побольше, в согласии с требованиями рабочей скорости.

Потом настала короткая тишина, которую нарушил только один звук: тетя Флейшман забрала пустую тарелку, стоявшую передо мной, и вынесла ее и больше не вернулась. Два старика спросили, какое это имеет отношение к нашему разговору и что я хочу сказать. Я ответил, что ничего особенного, но ведь не совсем так было, что вещи «приходили», и только, – мы тоже шли навстречу. Только теперь все кажется законченным, завершенным, бесповоротным, окончательным, таким страшно быстрым и таким ужасающе туманным, таким, как «пришло»: теперь, единственно лишь задним числом, если смотреть назад, наизнанку. Ну и конечно, если знать свою долю заранее. Тогда, действительно, можно отметить, что проходит время. Какой-нибудь глупый поцелуй, например, – такая же необходимость, как, скажем, бездельный день в таможне или газовые камеры. Впрочем, куда бы ни глядеть, назад или вперед, оба взгляда ошибочные – рассуждал я. В конце концов, иногда и двадцать минут, сами по себе, вполне долгое время. Каждая минута началась, длилась, потом окончилась, прежде чем началась следующая, в свою очередь. Теперь – сказал я – примем только в соображение: каждая такая минута могла бы, собственно говоря, принести что-то новое. На самом деле, не принесла, естественно – но все-таки надо согласиться: могла бы принести, в конечном счете в каждую из них могло бы случиться что-то другое, чем то, что случайно случилось, в Аушвице точно так же, как, допустим, дома, когда мы провожали моего отца.

В ответ на эти мои последние слова старый Штейнер зашевелился. «Но что мы могли бы сделать?!» – спросил он с выражением полусердитым-полужалобным. Я сказал ему: ничего, естественно; или – прибавил – что угодно, что было бы в точности таким же безумием, как то, что мы ничего не сделали, опять-таки и все еще только естественно. «Но не об этом речь», – пытался я продолжать, объяснить им. «Так о чем же, собственно?» – спросили они, тоже почти теряя терпение, и я ответил, чувствуя, что и сам раздражаюсь все больше: «О шагах». Все шагали, пока только могли шагать: я тоже делал свои шаги, и не только в очереди в Биркенау, но уже дома. Шагал с отцом и шагал с матерью, шагал с Аннамарией и шагал – и среди всех шагов этот был, наверно, самый трудный – со старшей сестрой. Теперь уже я мог бы ей сказать, что это значит – «еврей»: ничего, для меня и первоначально, по крайней мере, ничего, пока только не начинаются шаги. Всё неправда, нет другой крови, и нет остального, только... я запнулся, и вдруг пришли мне на ум слова журналиста: есть только заданные ситуации и в них новые заданности. Я тоже пережил заданную мне долю. То была не моя доля, но я

прожил ее – и я никак не понимал, как это до них не доходит: теперь мне надо уже что-то начинать, куда-то ее пристроить, к чему-то приладить, теперь уже я решительно не могу довольствоваться тем, что была ошибка, слепой случай, что-то вроде уклонения с пути или что, может быть, вообще ничего этого не было. Я видел, видел прекрасно, что они плохо меня понимают, что мои слова им совсем не по вкусу, некоторые даже прямо их раздражают, как будто. Видел, что дядя Штейнер временами готов был вмешаться, а раз-другой почти вскочил с места, видел, как другой старик его удерживал, и слышал, когда он сказал: «Оставьте его: не видите, что он хочет выговориться? Пусть говорит, оставьте», – я и говорил, наверно, впустую, и немного бессвязно. Но все равно я дал им понять: мы никогда не можем начать новую жизнь, всегда только продолжаем старую. Шаг за шагом делал я, и никто другой, и, я объявил, в заданной мне доле я всегда хранил порядочность. Единственное пятно, я бы сказал, ошибка в общей картине, единственная случайность, которую, возможно, они могли бы поставить мне в укор, – это что мы теперь здесь беседуем, но уж тут я ничего не могу поделать. Того ли они хотят, чтобы вся эта порядочность и все мои предыдущие шаги, все до одного, потеряли всякий смысл? Почему эта внезапная перемена, почему это сопротивление, почему они не хотят признать: если доля существует, тогда невозможна свобода; а если – продолжал я, сам изумляясь все более, горячась все сильнее, – а если существует свобода, тогда нет доли, вернее – я остановился, но только чтобы сделать вдох, – вернее, тогда доля – это мы сами, додумался я вдруг, и с такой ясностью в тот миг, как еще никогда раньше. Мне было немного жаль, что только они передо мной, а не противник поумнее, так сказать, более достойный. Но теперь здесь были они, они повсюду – так, по крайней мере, мне чудилось в ту минуту, – и во всяком случае они были там, когда мы прощались с моим отцом. Они тоже делали свои шаги. Они тоже заранее знали, они тоже заранее видели всё, они тоже так провожали моего отца, словно уже хоронили его, а после тоже сцепились только из-за того, ехать ли мне на электричке или лучше на автобусе в Аушвиц... но тут вскочил уже не только дядя Штейнер, но и старый Флейшман. Он, правда, и теперь силился удержать другого, но уже не смог. «Как? – рявкнул на меня тот, побагровев и ударив себя в грудь кулаком. – Может, мы еще и виноваты, мы, жертвы?!» – и я пытался объяснить ему: не вина, но только надо бы признать, смиренно, просто, единственно чтобы понять, порядочности ради, так сказать. Нельзя, пусть попробуют понять, нельзя отобрать у меня всё, нельзя, чтобы я не был ни победителем, ни побежденным, чтобы я не мог быть прав и чтобы не мог ошибаться, чтобы я не был ни причиной, ни следствием ничему, – пусть попробуют признать, я почти умолял: не могу я проглотить эту глупую горечь, что я невиновен, вот и всё. Но, я видел, они не хотят признавать ничего, и, взяв свой мешок и шапку, под несколько сбивчивых

слов, неловких жестов, еще каких-то не доведенных до конца движений и недоговоренных предложений, – удалился.

Внизу меня встретила улица. К матери мне надо ехать на трамвае. Но тут я вспомнил: да, конечно, ведь у меня нет денег, и я решил, пойду пешком. Чтобы собраться с силами, я остановился еще на минуту у прежней скамьи на площади. Там впереди, в том направлении, куда мне надо будет идти и где улица, кажется, продолжается, расширяется и теряется в бесконечности, барашки над синеющими холмами уже были фиолетовые, а небо пурпурное. Кругом меня тоже что-то словно бы изменилось: движение стало потише, людская поступь замедлилась, голоса притихли, взгляды смягчились и лица словно бы обернулись друг к другу. Был тот особый, характерный час – еще и теперь, еще и здесь я его узнал, – мой самый любимый час в лагере, и какое-то острое, болезненное и напрасное чувство захватило меня: тоска по дому. Вдруг все ожило, все было тут и нахлынуло на меня, все странные настроения застигли врасплох, все мелкие воспоминания потрясли. Да, в известном смысле жизнь там была чище и проще. Всё пришло мне на память, и всех я вспомнил по очереди, и тех, кто меня не интересовал, и тех, чье единственное оправдание, возможно, – только эта перекличка, мое существование: Банди Цитрома, Петьку, Бохуша, врача и всех остальных. И тут впервые я подумал о них с крохотным укором, с какой-то любовной обидой.

Но не будем преувеличивать, ведь в этом и вся загвоздка: я существую, и прекрасно знаю, что приму любой довод за эту цену – что мне дано жить. Да, обводя взглядом эту тихую площадь в сумерках, эту облезлую, но все еще полную тысячами обещаний улицу, я уже чувствовал, как растет, как копится во мне готовность: я буду продолжать свою жизнь, которую невозможно продолжать. Мать ждет и, конечно, очень мне обрадуется, бедная. Я помню, когда-то у нее были такие планы, чтобы я стал инженером, врачом или еще чем-то в этом роде. Так оно и будет, вероятно, так, как она хочет; нет такой бессмыслицы, которую мы не пережили бы с полной естественностью, а у меня на пути, я уже знаю, – вон подстерегает меня, как какая-то неизбежная ловушка, – счастье. Ведь еще там, даже рядом с дымовыми трубами, было в перерывах между муками что-то, походившее на счастье. Все спрашивают только про тяготы, про «ужасы»: а между тем, что до меня, может быть, это переживание остается самым памятным. Да, о нем, о счастье концентрационных лагерей надо было бы им рассказать в следующий раз, когда спросят.

Если вообще спросят. И если только и сам не забуду.

Перевели с венгерского
© Шимон Маркиш и Жужа Хетени

Originally published under the title SORSTALANSÁG, Copyright © 1975 by Imre Kertész published by permission of Rowohlt Berlin Verlag GmbH, Berlin

Жужа Хетени

ПОРЯДОК ХАОСА

Имре Кертес и его роман «Обездоленность»

Имре Кертес (Kertész Imre) родился в 1929 году; по словам писателя, он может уместить свою биографию в несколько дат: 1944, 1945, 1953, 1956. Первые две совпадают с хронологическими рамками первого его романа «Обездоленность», в котором воссоздан путь подростка через Освенцим в Бухенвальд и обратно в Будапешт.

Кертес начал писать этот роман в 1960 году и работал над ним десять лет. Издательство, в которое он обратился, печатать его отказалось; книга вышла (в другом издательстве) спустя еще пять лет (1975), и была практически не замечена – роман прочли узкие круги «интеллектуалов».

Несколько статей, в которых критики нового поколения старались обратить внимание широкой публики на «Обездоленность», появились лишь в 1983-85 годах. Сам Кертес в 1989 году начал хлопотать о новом немецком переводе романа, который до этого вышел еще в Восточной («Демократической») Германии.

Новый перевод стал решающим шагом к присуждению писателю Нобелевской премии. От начала работы над текстом до нобелевского триумфа (2002) прошло сорок два года – срок, вполне сопоставимый со сроками публикации рукописей, которые «не горят», с той разницей, что Кертес, в отличие от советских своих коллег, «успел» к своему успеху.

Кертес не шел на уступки режиму и жил более чем скромно. Он зарабатывал на жизнь «легкой» драматургией и переводами произведений австрийских и немецких философов – Витгенштейна, Фрейда, Гофмансталя, Ницше, Шницлера...

В отношении Кертеса к немецкой культуре – особый выбор поведения и философии быта. Его ровесники, которые не уехали в Палестину (а позже – в Израиль), получая образование, сознательно или подсознательно (да и под влиянием родителей, которые не могли простить истории, что люди, говорившие на языке обожаемых ими Гете и Вагнера, стали надзирателями концлагерей) отказались от немецкого языка, а вместе с ним – и от немецкой культуры. Школьные уроки немецкого языка Кертеса продолжались в экстремальных условиях концлагеря, но он вынес из этого урока нечто большее, чем понимание цивилизации.

Он не отказался от немецкой культуры, потому что нашел «настоящего» обвиняемого: «это не немцы, а тоталитарный режим», – пишет его товарищ по перу Михай Корниш. И потому Кертес может позволить себе жить не только в Будапеште, но и в Берлине.

Второй и третий его романы («Фиаско» и «Кадиш по нерожденному ребенку») позволили исследователям говорить о Кертесе, бле-

стящем эссеисте, авторе книги рассказов «Английский флаг», как о представителе философской прозы.

Роман «Галерный дневник» – размышление о трудностях творчества. Как сказал Кертес в день присуждения премии, для него «писать – высшее удовольствие, которое награждает за все». Даже в самые трудные и нищие годы тоталитарного режима он невозмутимо придерживался того образа жизни, который, по его представлению, должен вести писатель – определенные часы работы над произведениями, два часа прогулки в день, узкий круг друзей, весьма ограниченное участие в «общественной жизни», дистанция от политической грязи.

Произведения писателя начали переводиться на европейские языки и стали известными на Западе после 1990 года. Благодаря этому ему были присуждены многочисленные премии, такие, как премия Гердера Немецкой академии художеств.

С романа Имре Кертеса «Обездоленность» (1975) начинается третий период литературы о Катастрофе. К первому относятся произведения, написанные сразу после войны, дневники, полудокументальная проза. Второй период начался после революции 1956 года – лучший роман, «Элизиум» Имре Кеси, служил во многом интертекстуальным «источником» для «Обездоленности». (Отмечаю для русского читателя, что совпадение имен и схожесть фамилий Кеси и Кертеса – чистая случайность.)

Время действия романа Кертеса: 1944–45 годы. В первой главе отца четырнадцатилетнего мальчика мобилизуют в рабочий батальон, во второй он сам тоже получает назначение на работу на заводе, в третьей его арестуют по пути на работу, четвёртая глава – путь в концлагерь, пятая – четыре дня в Освенциме, четыре дня в Бухенвальде и потом переезд в Цейц, шестая – жизнь и работа в лагере, седьмая – физическая и душевная деградация мальчика, в восьмой – он попадает в больницу и его перевозят в Бухенвальд, где он доживает до освобождения лагеря, а в девятой он возвращается в Будапешт. Этот, казалось бы, «скучный» хронологический порядок является формообразующим элементом романа, который – по словам самого писателя – не имеет права ни выходить из строго определенных экзистенциальных рамок времени, ни перемешивать порядок событий. В этом «порядке» налицо открытая полемика с романом «Le grand voyage» Хорхе Семпруна (он же Жорж Семпрен), который всю поездку в вагоне в тот же самый Бухенвальд передает, разбивая действие описаниями событий, происходивших до этого, в лагере и после освобождения.

Новизна романа Кертеса – *в характере* повествования. Писатель сам прошёл описываемый путь в том же возрасте, что и его герой. Повествование ведется от первого лица, однако, по сути, это самый настоящий «объективный роман» в том же смысле, в каком мы говорим об «объективной лирике». Собственно действие происходит во внутреннем мире мальчика. Хотя роман показывает весь набор ужасов Катастрофы, самое ужасное – видеть разрушение человече-

ской души. Это – своеобразный роман воспитания, мы наблюдаем за тем, как меняется рассказчик. Чистота ребёнка позволяет показать его как *tabula rasa*, как лакмусовую бумажку. Странность повествования в том, что молодой герой наблюдает за явлениями и событиями с позиции почти постороннего наблюдателя – он таким взглядом наблюдает и за вшами на своем теле, стараясь их понять так же, как и немецких солдат. Отстраненный взгляд его сохраняется и при описании тех редких случаев, когда он проявляет эмоции – но сразу за этим появляется снисходительная усмешка над самим собой. Кертес шокирует своих читателей тем, что, особенно в начале, его рассказчик пользуется холодно-изысканным языком школьных сочинений, с присущими такого рода сочинениям ошибками и косноязычием выспренних и канцелярских оборотов. (Нужно отметить, что эти «ошибки» представляют для переводчика особую трудность.) Язык героя (по глубине использования этого приема автора «Обездоленности» можно сравнить с такими писателями, как Бабель или Платонов) разоблачают весь этот мир лицемерия, ту Венгрию тридцатых годов, в которые мальчик вырос, и одновременно и те тоталитарные пятидесятые-шестидесятые, которые продемонстрировали Кертесу то же раздвоение сознания, что и довоенный фашизм в своем «мягком» варианте режима Хорти. «Когда я прошел диктатуру Ракоши 50-х годов, восстание 1956 года, его подавление и особенно последующий длинный процесс приспособления кадаровских времен, когда приманили к себе людей – вот тогда я понял, что же такое произошло в Освенциме... То, что я жил под диктатурой, помогло мне изобразить другую диктатуру», – говорит Кертес.

Подросток старается вести себя по-взрослому. В самом начале он говорит: «Я хотел было расстегнуться, но потом передумал: я шел против ветра, хотя и легкого, и пола моего пальто могла отпахнуться и прикрыть желтую звезду, а это было бы против правил. Есть вещи, к которым я теперь должен относиться поосмотрительнее». Кертес создаёт фигуру, в которой стремление к взрослому поведению подавляет всякие эмоции. Этот «монстр» – продукт времени.

Герой старается понять всё; ключевые слова романа: я понял, я признал. «Понимает», что прав мясник, который не любит евреев: иначе было бы ему неудобно их обманывать, а так он поступает согласно своему убеждению. Повторяя слова взрослых, герой «понимает», что старики в вагоне воют от жажды, а потом умирают. «Понимает», почему выходящих из вагона евреев ждут немецкие солдаты с бичами, ведь вокруг этих солдат столько опасных заключенных в полосатой одежде. Он «понимает», почему в транспорте ищут золото – конечно, ведь евреи «на пороге новой жизни». Он старается принять и унизительное бритьё волос на лобке – «от этой потери было больно, я злился и был поражён, но было бы смешно задумываться над такой мелочью, в конце концов».

Таким же образом он воспринимает и лагерную жизнь. В первый день заключенные стараются работать с полной отдачей, желая показать себя (и венгров вообще!) в лучшем виде. Когда мальчик, спо-

ткнувшись, роняет мешок на землю, надсмотрщик бьёт его смертным боем и целый день за ним следит. «...Надо признаться, в конечном счете, по праву; в самом деле, пусть я шатался, пусть сгибался, пусть бывало темно в глазах, но я выдержал, ходил туда-обратно, уносил и приносил, и без того, чтобы хоть раз уронить еще один мешок, и в последнем итоге – надо признать – в конечном счете, это подтверждало его правоту».

После этого случая мальчик начинает терять человеческий облик и вскоре попадает в больницу. Превратившись в вонючий кусок мяса, он сохраняет взгляд на себя со стороны. Ему стыдно, но он не имеет сил говорить и объяснить солдату, зажимающему нос, что это не в его «стиле», что это вонючее тело – не он. И опять-таки он «понимает» солдата, потому что доказать это невозможно. Кертес провоцирует читателя мнением ребёнка, которое строится на основе терпимости, понимания другого человека: так его, очевидно, учили родители и школа. На самом же деле герой ничего не понимает, наоборот, заблуждается, и не должен бы понимать, тем более принять ничего, что происходит вокруг и с ним. Но поведение ассимилированных евреев, послушных граждан своих среднеевропейских родин, было именно таким. Уступить свое место другим, не мешать, не выделяться, не бунтовать. Мальчик называет «честным» жандарма, который не принимает взятки от человека, желающего сбежать, но и не отпускает его. Он считает себя честным потому, что не бежит с другими. Слова потеряли своё значение. Зная из детских книжек, что путешествовать интересно, герой Кертеса добровольно записывается в венгерском лагере на работу в Германии. Он рад получить удостоверение о службе в рабочем батальоне на заводе, ведь оно дает ему «привилегию» выезжать за пределы города – «обычным» гражданам с жёлтой звездой такое не разрешалось. С присущим его семье и вообще среднему классу отвлечённым уважением к немецкой культуре и порядку, мальчик любуется спокойствием немецких солдат, их точной благодушной работой без какой-либо заминки. Герой рад, что он – как ему кажется – понравился немцу, сортирующему заключенных (кого на работу, кого прямо в крематорий). Ему нравится сама местность, домики с футбольным полем, все «очень чисто, опрятно и красиво – в самом деле; приходилось согласиться»; и постепенно доходит до ошеломляющего признания: «могу сказать, я и сам быстро полюбил Бухенвальд».

Этот парадокс точно в середине романа художественно переосмысляется во втором парадоксе. Мальчик возвращается из маленького рабочего лагеря туда же, в Бухенвальд, в больницу: это, действительно, возвращение из самого глубокого круга ада. Сознание больного старается понять еще кое-что, а именно – вшей, покрывающих его рану: «...Только глядел на эту ненасытность, на это копошение, жадность, аппетит, на это откровенное блаженство: в известном роде как будто бы уже был знаком немного откуда-то. Тогда я и заметил: как-то я могу их понять, если все обдумать. В конце концов, мне почти полегчало, отвращение почти прошло». На этой низшей точке существования приходит конечное понимание: таково

все устройство природы, как бы общий порядок мира. И с неё, с этой низшей точки начинается путь обратно; в экзистенциальном смысле – в жизнь, а в пространстве – в Будапешт.

В вагоне происходит внутренняя перемена, начинающаяся мирным и лёгким чувством безразличия, вместо раздражения от прижатых друг к другу тел – чувством внутренней близости, родства. «Впервые после долгого времени я избавился, наконец, и от мук раздражительности: тела, прижатые к моему, больше не мешали, скорее я как-то даже радовался тому, что они здесь, что они со мной, что они такие родственные и такие похожие на мое, и тут впервые мною овладело какое-то непривычное, противоестественное, какое-то неловкое, я бы сказал, нескладное чувство к ним – может быть, любовь, пожалуй, я думаю». Лёжа на платформе среди трупов, он смотрит в небо, где тучи расходятся на миг, и кажется, что по нему пробегает луч света, как быстрый, испытующий светлый взгляд оттуда: «в этот миг на меня упал сверху какой-то луч, быстрый, испытующий взгляд, открылся неопределимого цвета, но в любом случае, вне всякого сомнения, светлый глаз».

Кажется, что этот божественный взгляд есть следствие появления в мальчике любви к людям и причина появления желания жить. Возвышенное и праздничное настроение подкрепляется тем, что звон ложек сравнивается со звоном колоколов. Предвкушение еды, как бы материально приглашающей жить дальше, вызывает слёзы и второй парадокс: «...хотелось бы еще немножко пожить в этом славном концентрационном лагере». Этот процесс возвращения в жизнь поразительным образом напоминает известную сцену из «Войны и мира» Льва Толстого, где разочарованный князь Андрей на поле Бородинской битвы – и перед смертью – исполняется любовью к жизни и к людям. Отчасти и поэтому можно сказать, что роман Кертеса не только роман о Катастрофе – концлагерь здесь символизирует жизнь вообще. Небесный взгляд и звон колоколов являются введением к тому ряду чудес, которые творят не небеса, а люди, помогающие мальчику выжить, вопреки логике и разуму. Вместо «я понял, я признал» мы читаем: «Надо признаться: есть вещи, которых я никогда не сумел бы объяснить, не сумел бы в точности, нет, откуда ни взгляни, со стороны ли моих ожиданий, правил, разума – словом, со стороны жизни, порядка вещей, насколько я уже с ними знаком, по крайней мере».

Кертес говорит в одном из эссе о порядке вещей: «Жизнь не имеет смысла. Существование не имеет цели. Разум не располагает знанием. Человеческое сознание – явное короткое замыкание, последствие ракового разрастания мозга. Добро – бунт против закона мира, против закона смерти, если хотите, против Бога».

Роман Кертеса, как было уже сказано выше, по сути дела, совсем не «роман о Катастрофе европейского еврейства». В центр произведения поставлены экзистенциальные вопросы бытия и философия жизни, свободы, судьбы, метафизика скандала Катастрофы.

Этим объясняется и шокирующая концовка романа: «о счастье концентрационных лагерей надо было бы им рассказать в следую-

щий раз, когда спросят. Если вообще спросят. И если только и сам не забуду».

В лагере мальчик научился любить, а, вернувшись в родной город, ненавидит всех. Ему кажется, что те, которые не прошли лагеря, – чужие, невежды, в каком-то смысле, дети. Последняя глава романа показывает прежде всего *последствия* Холокоста. Внутреннее развитие подростка, переходящего на глазах у читателя из детства во «взрослость» (если не в старчество или безвозрастность), внушает мысль о негативной инициации человечества, вступившего после Катастрофы в новую эпоху. Лагерь здесь – аллегория экстремальной ситуации, жизни вообще, но уже без европейско-буржуазного обаяния «Волшебной горы» Томаса Манна. Там смертельная болезнь разит своих жертв случайно, а здесь – устроенные руками людей заводы массового уничтожения, машина смерти. Ключевые слова: машины и масса.

Если до этого говорили об особом приеме передавать детский взгляд на события, об особом повествовании, то за этим к концу романа нужно увидеть, как все более четко вырисовывается фигура нарратора, который пересказывает, как бы вспоминает прошлое. В тональности текста не сразу замечаем его, этого пожилого «продолжения» тогдашнего подростка. Он является центральной фигурой следующего романа «Кадиш по нерожденному ребенку». Некоторые критики считают, что «Обездоленность» не похожа ни на какой другой роман Кертеса. Об этом можно спорить, это вероятно так, если говорить о стилистике или о приемах. Но психологическая органичность связи между частями трилогии – «Обездоленности», «Кадиша» и «Фиаско» – бесспорна. До того бесспорна, что нельзя бы и их читать в другом порядке. Кертес – как бы продолжая известное высказывание Адорно: «После Освенцима больше нельзя писать стихи» – говорит, что после Освенцима нельзя писать ни о чем другом, кроме Освенцима. Если упрощать эту мысль, то «Кадиш» говорит о том, что с лагерным опытом нельзя рожать детей, а «Фиаско» о том, что нельзя рожать текст. «Обездоленность» – свидетельство об этом. Это – некрасивый, неудобный, непростой текст. Он не дает нам покоя, не поддается однозначной дешифровке, и как бы мы ни любили детей вообще, и как бы ни жалели молодого героя, полюбить его мы не можем. Кертес парализует наши чувства, он апеллирует к нашему разуму.

Мы начинаем думать. И снова оказываемся в ловушке. Получается, что концлагерь является весьма логическим развитием идеи о совершенном и рационально организованном человеческом обществе, столь прекрасно задуманном Французской революцией, и является одновременно тупиком европейской цивилизации, общества, в котором люди неспособны возлюбить друг друга, неспособны возлюбить своих ближних. Разум и любовь построили лагеря и тюрьмы. Можно ли в таком случае надеяться на тот взгляд сверху, на луч света между облаками, на иррациональную помощь человека? В поэтике случайностей, в иррациональной любви Кертес показывает невидимую сущность мира, порядок хаоса.

Леа Гольдберг

БРАТЬЯ В ЖЕРТВУ ТЕБЯ ПРИНЕСУТ

О ЧЕТЫРЕХ СЫНОВЬЯХ

1. Сын, неспособный задать вопрос

Сказал неспособный задать вопрос:
И на сей раз, отец, пощади,
Мою душу, где ад кромешный пророс,
От гнева и зла огради.

Ибо нет для ада ни слов, ни слез,
Ибо нет для смерти имен.
А я, неспособный задать вопрос,
Семикратно речи лишен.

Ибо мне суждены были петли путей,
Не отрада, не мир – но мгла.
Было велено мне видеть муки детей,
Перешагивать их тела.

Ибо всадников плети глаза мне секли
Не давали веки сомкнуть.
В мои ночи шипящие змеи вползли:
Вовек не сумеешь заснуть!

Я не знал, нет ли в этом вины моей,
Грешен, нет ли – не знал ответа.
Не наивный, не умный я, не злодей –
Оттого, как спросить, не ведал.

Оттого звать расплату я не посмел.
Нет ни брата, ни ангела рядом.
Оттого я один, я вернулся, я цел.
Так ответь на вопрос, что не задан.

2. Нечестивый сын

Отец, отец, – сказал сын-злодей, –
Утешенья тебе не дам.

Ибо сердце мое стало тверже камней,
Видя, что учинили вам.

Видя дочку твою в кровавой пыли,
Сжавшую кулачки –
Ресницы присыпаны прахом земли,
Взывают к смерти зрачки.

Видя, как пятилетний голодный малыш
Затравлен сворой собак,
Как люди бегут из-под рухнувших крыш
В могилу, в огонь, во мрак.

И я дал обет: буду глух и жесток,
От беды отверну я взор.
Но по душу мою пришли – и зарок
Обратился в мой приговор.

Ни в душе, ни на теле частицы живой.
Эту месть мне назначил Творец.
И пришел я к тебе, одинокий, чужой.
Притупи же мне зубы, отец.

3. Наивный сын

Ведь всегда зажигаются звезды на небе ночном,
И роса, как слеза на ресницах, висит на ветвях.
Ведь всегда зажигаются звезды на небе ночном,
Зажигает фонарщик огни на столбах.

И глядится в глаза твои благословенный покой,
Видишь, как улыбаются дети в предчувствии сна.
Ведь всегда по ночам ожиданий трепещущий рой,
Этой ночью лишь мука одна.

Ведь обычно в ночи мимо темных небесных зияний,
Мимо бреда луны, млечный путь голубой заслоня,
Мимо спящих садов, меж кошмаров и благоуханий
Мрачной тенью бредут привиденья минувшего дня.

Ведь обычно в ночи кто-то гонит злодейской рукою
Изумленный мой дух в тот обман, где мерцают огни.
Ведь обычно и в тучах сквозит ожиданье покоя.
Этой ночью лишь звезды одни.

4. Умный сын

Отец запер в доме все двери подряд,
Засова не снял ни с единой
И склонился всмотреться в незрячий взгляд,
Взгляд последний умного сына.

РУБАШКА В ПОЛОСКУ

Мы сновидцы. Не верь, что твой сон прозорлив,
Что душой ты спокоен, и трезв, и суров.
Выше горла подступит весенний прилив,
Смыв остатки несбывшихся снов.

И увидишь, проснувшись, что сон твой убит,
Ты продрог, негде скрыться – ни звуков, ни лиц.
Утро светом хлестнет и росой окропит,
И повесит слезу меж ресниц.

Лишь коснешься ты мира застывших сердец,
И расколется мир твой, как хрупкий сосуд.
Раз в полоску наряд тебе выбрал отец,
Братья в жертву тебя принесут.

Перевела с иврита ***Елена Аксельрод***

Ицхокас Мерас

НА ПОЛПУТИ

Была среда, тот день, когда Бог, сотворяя мир, дважды увидел, что хорошо.

* * *

Обогнув большой круг лесом, Адам трусцой вернулся во двор дома отдыха, сделал еще малый кружок вокруг фонтана – в его журчащих и сплетающихся струях играла, то исчезая, то вновь появляясь, изломанная радуга, – и, отдышавшись, рухнул на холщевый складной стул, растянулся и закрыл глаза.

Но и с закрытыми глазами все еще видел прозрачные брызги воды и эту радугу. Сто километров скоростного шоссе отделяли его от дома.

– И хорошо, – подумал он.

Тренинг намок, легкий ветерок освежал.

– Приятно, – сказал сам себе.

Лоб влажный, и шея, и бритая голова с овальным шрамом.

– Прекрасно, – проговорил он вполголоса, сделав глубокий вдох.

А с этим вдохом в первый раз почувствовал острый аромат настурции.

Неужели? Неужели?!

Весь двор был обсажен настурциями, они буйно цвели, переплетаясь пышными кустами, – ярко-красные, светло-желтые, пурпурные, желтоватые с красными прожилками, даже оранжевые и почти белые, одни цветы увядали, другие расцветали, и так уже три недели.

Он видел все эти краски, но запаха не различал.

Не открывая глаз, протянул руку, сорвал целую горсть цветов, уткнулся в них лицом. Цветы пахли.

И тут он ощутил прикосновение нежных губ к щеке, а открыв глаза, увидел женское лицо так близко, что не узнал его, только глаза, серые кошачьи глаза с широкими зрачками что-то ему напомнили.

– Ты? – спросил он, когда лицо чуть отдалилось.

– Я.

Он помотал головой.

– Воистину, неисповедимы пути Господни.

– Я только на три дня, на семинар.

Здесь все время люди меняются – агрономы, ветеринары, бухгалтеры, физики, кто только хочешь.

А теперь вот она, жена его друга.

Адам смутился, не понимая, почему в мыслях не назвал ее по имени.

– Что я тут с тобой буду делать?

– Что только захочешь, то и делай, – сказала она.

Серые глаза сузились и вновь распахнулись, мягкая теплая ладонь погладила его по щеке, и он то ли инстинктивно, то ли в благодарность за женскую теплоту коснулся губами ее руки.

– Ты знала, что я здесь?

– Нет, я бы не поехала. Но теперь, когда увидела, как ты бежал, подумала: а почему бы и нет! Почему бы и не провести три приятных дня с мужем лучшей подруги? Почему не попробовать?

– Ты так... сразу.

– Почему нет?

– Тебе все равно, что подумает Ева?

– Я ведь не побегу рассказывать Еве, да и ты тоже. Почему она должна что-то подумать? Она же не знает, куда я поехала. А кроме того...

– Ну-ну? Самого важного ты так и не сказала.

– Кроме того, я давно уже не страдаю излишней щепетильностью. Мой муж для меня ближе даже, чем ближайшая подруга. Так если у меня перед ним нет никаких угрызений, чего же угрызаться перед подругой?

– Обманываешь.

– Нет, не обманываю.

– Можно подумать, что ты все время на стороне пошаливаешь.

– Думай, что хочешь. В нашем случае это не имеет никакого значения.

– Ты никогда так со мной не говорила.

– Не было повода, а сегодня вдруг появился. И мы с тобой никогда вдвоем не оставались. А когда Ева и Алекс рядом, стоит ли говорить о таких вещах?

– Обманываешь.

– Нет.

– Ты что... хочешь сказать, что тут же потащила бы меня в постель?

– Не будь грубым. Мы бы миловались.

– Все равно, сама знаешь, что обманываешь. И не знаешь, что скажу я.

– А что ты можешь сказать? Мужчина вполне еще ничего, в самом деле, не шучу, минутку даже любовалась тобой, когда ты прибежал во двор, мужчина, три недели прохлаждавшийся в доме отдыха, мужчина, хоть однажды бросивший на меня взгляд, а, признайся! Может, скажешь, что нет? Один раз точно было. Или не было? Скажешь, мне только показалось? Могло быть и не один раз, просто ты стесняешься, я знаю. И что, ни с того ни с сего откажешься? Когда мы с тобой одни, свободны, никто нам не мешает, даже знакомых вокруг никого, только цветы. Посмотри, сколько цветов! Посмотри, там, вдали, какое море величественное! Подними голову, посмотри, как шумят, волнуются сосны! И

еще выше, на небо посмотри – какая синева, какая глубина! Дружочек! Ты что, не из плоти и крови?

– Ты с ума сошла или... издеваешься надо мной, – произнес он почти сердито.

– Я? Ей-богу, нет. Может, сам над собой издеваешься или... слишком уж зажат, не знаю.

– Ты все еще самого важного не сказала, – не отступал он. – Что бы ты ни говорила, а главного не сказала. Может, не знаешь? Или притворяешься?

– Знаю, ну и что, если знаю. Настоящий мужчина – тот, кто может всегда, даже когда не может, и испытывает наслаждение оттого, что может, вот что я тебе скажу как добрый друг.

Он вскочил со стула, обхватил ее за плечи, слегка встряхнул и снова спросил:

– Ты в своем уме или нет?

Она была ниже его, потому запрокинула голову, глядя ему прямо в глаза, и, продолжая игру, отступила:

– Успокойся. Теперь успокойся! Ладно? Я ведь тебя еще не тащу в постель, теперь только утро, до ночи еще далеко, правда?

И оба они рассмеялись.

– Скоро пора завтракать, – напомнила она.

– Я приму душ и приду.

– Я тоже. Сколько кругов ты сделал? Один? А я три. Твой столик занят?

– Я один, можешь подсесть.

– Договорились.

И Рута ушла.

А он вернулся к клумбе с настурциями, опустился на колени, обнял куст, вдыхал пьянящий аромат, наполнялся и упивался им и, закрыв глаза, повторял сам себе:

– Чувствую запах настурции, чувствую запах настурции, чувствую...

Через полчаса оба они, только что из-под душа, благоухающие, сидели за утренним столом, только они, никем не потревоженные, смотрели друг на друга и время от времени прыскали смехом.

Может, он и в самом деле в первый раз увидел, что Рута – очень привлекательная женщина, а может, только уговорил себя, что заметил это впервые.

* * *

В тот же день, в среду, за сто километров, на другом конце скоростного шоссе, зазвонил телефон.

Ева подняла трубку:

– Адам, это ты? – спросила она.

– Нет, – отозвался знакомый голос, – это Алекс.

– ...

– Ты меня слышишь?

– Слышу.

– А почему не отзываешься?

– Отзываюсь.

– Ты-меня-еще-любишь? – пропел коварно кошачьим голосом.

– Брысь!

– От-ве-чай!

– Как всегда. Чего хочешь?

– Я не про всегда говорю. Я про сегодня. Любишь ли... любишь ли меня, меня, меня, Алекса?

– Перестань веселиться, ладно?

– Ладно. Перестал. Рута на три дня уехала.

– Я знаю.

– И я свободен.

– Прекрасно.

– Не слышу восторга в твоем голосе.

– Потому что ты уже начал распускать перья.

– Всегда распускаю. Вокруг тебя, ей-богу, – всегда, даже Адам знает, хоть молчит. Он, конечно, умница и хороший друг, кто угодно на его месте давно бы уже мне нос расквасил, правда?

– Расквасил бы.

– Он ведь не думает, что мы с тобой спим, нет?

– Нет, не думает.

– Жаль.

– Что так не думает? Ты с ума сошел?

– Что не спим. Я день и ночь об этом мечтаю, во сне тебя вижу.

– И останешься при своих мечтах.

– Пусть бы и ты помечтала и не отказывалась бы от любого светлого желания, любой земной страсти, от самых прекрасных чувств.

Ева насторожилась. Только через минутку ответила:

– Что за вздор ты несешь!

– Ты – злая русалка, у которой одна сторона светится, улыбается, влечет, а другая – спрятана, заперта за холодной рыбьей чешуей и острыми щучьими иголками.

– ...

– Почему ты так забронировалась, девушка? Ведь ты и сама меня хочешь.

– Замолчи!

– Почему замираешь, когда танцуешь со мной, в моих объятиях?

– Прекрати! Я положу трубку!

– Почему тогда прижимаешься ко мне всем телом? Скажи... Ведь прижимаешься, правда? И вообще, сколько времени можно поститься?

Ева бросила трубку.

Телефон тут же зазвонил снова.

Она долго ждала, не спешила ответить. Ждала, пока схлынет заливший ее лицо румянец. Потом ответила.

– Если ты... когда-нибудь... опять...

– Нет, нет! Никогда! Успокойся, успокойся, хорошо, ты права, только успокойся, я глупо пошутил.

– Шуточки... Хороши шуточки... Посмотрела бы я на тебя, как бы ты шутил!

– Прости... Бога ради... Я, правда, не хотел...

– Ты всегда хочешь...

– Больше не буду хотеть! Клянусь! Хорошо?

– Не знаю.

– Теперь ты не знаешь... чего не знаешь? Ты еще сердишься?

– Не знаю.

– Если не знаешь, значит, простила.

– Может быть.

– А у меня есть лишний билет в филармонию. Ну, билет Руты. Пойдешь? Я с этим и звонил. А остальное...

– Не знаю.

– Адам ведь еще не вернулся?

– Нет.

– Ну, смотри, как хочешь. Ты что, очень занята сегодня вечером?

– Нет, не занята.

– Так пойдешь?

– ...

– Шопен – весь вечер. И ты откажешься от Шопена?

– Когда ты такой... нехороший...

– Я буду хороший! Я обещаю. Я буду тенью. Я буду услужливым и галантным спутником. Я слова не вымолвлю! Ты меня вообще не увидишь! Хочешь, я фрак надену, бабочку нацеплю. Ты и не почувствуешь, что я рядом! Я исчезну!

Тут Ева рассмеялась.

– Если тебя там не будет, если ты исчезнешь, так оставь мне билет, я сама поеду на концерт, запросто.

– Ну что ты, прелесть моя белая... Ты – и одна?! Не подходит для такой женщины, как ты, в самом деле, не годится. Да и так...

– Ну, ты и златоуст...

– Так идешь?

– Ладно.

– Пока, пока, пока!

– Пока.

Фрака у Алекса не было, но пеструю бабочку он таки нацепил и сиял, как жених, был беспредельно услужлив в каждом шаге, и в самом деле, он был и как бы и не был, словно милая тень, добрый призрак.

* * *

После ужина в большом фойе были танцы.

Оба принарядились.

Он надел белый костюм, а она – длинное зеленое платье с глубоким вырезом.

Оба они совсем не вязались со всеми собравшимися тут молодыми физиками и физичками в пестрых джинсах, но это никому не мешало, а им самим – тем более, и вместе со всеми они выделывали эти теперешние па, как и полагалось в мерцающем сумраке пестрой дискотеки, потом присели у бара перевести дух, и Рута потягивала «Мартель», а он – тоник, но все равно оба чуть опьянели, она – от коньяка, он – от ритма танца. ...Потом перешли на старинный медленный шаг, и она все теснее и теснее льнула к нему всем телом, и он не отстранялся, приятно было так качаться в этой полутьме, ни о чем не думая, качаться вдвоем как бы единым существом, и он сам прижался к ней теснее, и совсем забылся, но вдруг отпрянул, ощутив себя мужчиной.

«Настурции виноваты или Рута?» – подумал смущенно, улыбаясь сам себе, словно еще не поняв, что произошло.

Он нежно взял ее под руку и снова отвел к бару, ему хотелось заказать себе рюмку коньяку, впервые за полгода, за эти самые длинные в его жизни шесть месяцев, но не заказал, снова пил тоник, как будто страшно страдая от жажды, выпил полный стакан залпом, а она, проглотив последнюю каплю коньяка, спросила:

– Может, пойдем?

– Пойдем.

– К тебе?

– Ко мне.

– Понесешь на руках?

– Понесу.

Он поднял ее и понес, и она обняла его за шею и спросила:

– Будешь меня любить?

– Буду.

– Как мужчина, который может, даже когда не может?

– Да.

– Не пожалеешь, посмотришь.

– Я знаю.

* * *

После концерта Алекс отвез Еву домой.

Остановившись во дворе, выскочил, обогнул машину, открыл дверцу.

– Довольна? – спросил.

– Да, – ответила она.

– Очень довольна?

– Очень.

– Можно проводить тебя до дверей?

– Можно.

Она отперла дверь, включила свет в прихожей и обернулась к нему пожелать спокойной ночи, а он стоял, опустив голову, словно провинившийся мальчик, которому не хочется уходить, не попросив прощения, и ей стало жаль его, и он понял, что она не

скажет своего «спокойной ночи», и, медленно подняв голову, он шагнул в прихожую и захлопнул за собой дверь, а она все молчала, не говорила ничего, и тогда он протянул руки, нежно погладил ее покатые плечи и забормотал вполголоса:

– Ведь твои губы, как бутоны, ждут губ... Ведь груди твои, как пташки, трепещут... Ведь плоть твоя плоти жаждет... твое...

Она пятилась назад, назад, пока не уперлась спиной в дверь спальни, и он обнял ее за талию, ища ручку двери, и дверь открылась, но он не отпустил ее, и расстегивал пуговку за пуговкой, и понемногу раздел ее и сам разделся, и тогда обхватил ее руками, прижался к ней всем телом и, застыв с закрытыми глазами, заговорил:

– Какая... живительная... теплота... под раскрывшейся... холодной рыбьей чешуей... Какое неописуемое... счастье...

И она закрыла глаза и обняла его.

И, забывшись, она позволила ему делать, что хотел, а он все продолжал бормотать:

– Какое блаженство... Какой я... счастливый...человек...

И только позже, гладя его по голове, она словно пробудилась от сна, потому что рука искала и никак не находила овальный шрам.

Она в самом деле проснулась и, дождавшись, когда он наконец успокоился, а потом, свернувшись, тут же уснул на боку, все еще что-то бормоча, тихо поднялась с постели, оделась, вышла из дому, завела старенький додж, дала ему минутку погреться с сердитым урчанием и молча выехала со двора, а через несколько минут уже была на скоростном шоссе, и тогда выжала педаль газа до упора и помчалась на север, словно в старинной торжественной карете с крыльями.

Она посмотрела на часы, был двенадцатый час ночи, на шоссе пусто, и она прикинула, что за час, а может, и меньше одолеет эти сто километров, и будет еще совсем не поздно, только час ночи, когда она постучит в его дверь, и он откроет, может, уже задремав, а может, и нет, и она увидит его, и убедится, что он есть, что не исчез со своей полгода как бритой головой и этим овальным шрамом.

* * *

Рута обняла его обеими руками за шею, впилась губами в его губы и, сомкнув веки, шептала:

– Люби меня... Люби меня... Люби меня...

– Буду любить, – сказал он, нежно поглаживая ее плечи, и руки, и лицо, и грудь, прижавшись к ней боком, боясь шелохнуться, чтобы она не почувствовала вдруг его мужской силы.

– Люби меня, как мужчина, который может, хотя и совсем не может, – просила она.

И он любил ее так, и радовался, что может так любить, а за широким окном светила полная белесая луна, и ее нагое тело

так же светилось в своем движении, и он любил ее неутомимо, пока она, удовлетворенная, затихла и уснула в его объятиях.

Тогда он осторожно высвободил руки, тихо оделся и поспешил к своему старому форду. Машина кашлянула пару раз, чихнула и завелась, и он осторожно по извилистому спуску съехал с горы, повернул на скоростное шоссе и, объятый беспокойством, нажал на газ и погнал машину на юг.

Он пожалел, что не взял додж Евы, тот, хоть и старый, но мощнее, и теперь, на пустой дороге, легко взял бы сто пятьдесят, а форд больше ста не выжимал, но все же он надеялся за час с четвертью добраться до дома, тихо отпереть дверь, еще с порога позвать – Ева! – чтобы она не испугалась, а потом пробраться в спальню, она, пожалуй, еще не спит, читает, и бросить ей:

– Привет! Вот и я! А может, не ждала? Попробуй только сказать, что не ждала!

И упасть в кровать, уткнуться лицом в ее мягкий живот, как утром в куст настурции.

Так летели, спешили они оба навстречу друг другу, Ева была уже на полпути, как вдруг, словно рукой сжало ей сердце, и ком страха застрял в горле: что она скажет, как приедет, этой бритой голове? Утешит на остаток ночи? Чем утешит? Тем, что груди, как пташки, трепещут? Что холодная рыбья броня открылась? И кому – Алексу... Только испугает. Испугает только, больше ничего. И чего этот вихрь поднял ее с постели, толкнул среди ночи на пустое черное шоссе?

– Помешалась, баба, Господи, помешалась, – повторяла она себе самой вполголоса, заставляя себя услышать и понять.

– А может, нет? – вдруг снова засомневалась.

И обрадовалась, увидев невдалеке свет на бензоколонке.

Она без колебаний резко свернула туда и, даже не заглушив мотор, прошла в буфет и попросила чашку кофе.

– Больше ничего? – спросил пожилой мужчина в красной полосатой шапке.

– Спасибо, ничего.

– А бензина не надо?

– Не надо.

Она смотрела, как этот человек медленно нажимает на ручку кофейного аппарата, как шипя поднимается пар, как неторопливо он берет пакетик сахара, все рассматривая ее, видимо, не понимая, с чего это одинокая женщина посреди ночи и посреди дороги сворачивает к отдаленной бензоколонке, чтобы выпить кофе.

А она прижалась носом к оконному стеклу и всматривалась в темную ночь, в стальную ленту шоссе, пустую и пустую и пустую и исчезающую, смотрела, пока не засветился вдалеке огонек, а потом ярче стал и еще ярче, и она, боясь, что расплачется, сказала сама себе:

– Вот, эта машина проедет, тогда выпью кофе, в голове прояснится, и поеду домой.

– Вы что-то сказали, мадам? – спросил мужчина.
– Да-да, кофе очень вкусный.
– Спасибо, – отозвался тот.

* * *

А Адам, проехав почти полпути, вдруг что-то заволновался.

Странная мысль, наверное, впервые в жизни, словно кем-то нашептанная, неожиданно пронзила болью.

А что, если он приедет, тихо откроет дверь, а в доме гость. Хоть бы и Алекс. Годами, змеюка, только повода ищет, так и ходит кругами, словно петух, а тут – вот тебе, чем не сюрприз? Рута уехала, Ева одна, а лучший друг – ничего не может. И не грех вовсе. Где ж тут грех? Не грех, а святая обязанность, разве нет?

Что сказать, когда дверь откроется?

Первое же слово во рту застрянет.

Тут он и увидел слева от шоссе ярко освещенную бензоколонку, стояла она на полпути, и он, дав газу форду, поравнялся с колонкой, неожиданно свернул влево, пересек все запретительные белые линии, невысокий, как порожек, разделительный бортик посреди шоссе и въехал на стоянку.

И еще до того, как вышел из машины, увидел внутри прижавшуюся к окну знакомую головку и рассмеялся, входя внутрь.

– Давно меня ждешь? – спросил, споткнувшись возле нее.
– Недавно, – ответила она, еще не понимая, что происходит.
– Не так уж я и опоздал, правда?
– Ты? Не может быть... Не может этого быть! Мерещится? Мерещится! Я к тебе ехала... Сама не знаю, почему...
– А я к тебе. И я знаю!
– Как это мы тут встретились?
– Этого, ей-богу, не знаю. Да и знать не хочу. А ты хочешь?
– Нет, что ты. Не хочу... Не хочу!

Она обхватила обеими руками его бритую голову и вдруг заволновалась.

– Что-нибудь случилось?
– Случилось. Хорошее случилось.

Тут она обернулась к пожилому мужчине:

– Коньяку не найдется?
– Не держим, – развел тот руками, – но есть пузырек виски, для себя держу. Налить?
– Налейте.
– Угощаю, – сказал мужчина, – и кофе, и выпивкой, – и, словно оправдываясь, пояснил: – и скучно тут одному ночью.
– Спасибо, – отозвался Адам, перекатывая на языке глоток виски. – И приятно, что развлекли Вас.

Потом он взял Еву за руки, ее рука все еще дрожала, и он спросил:

– Соскучилась?

Она кивнула.

– Пойдем.

Он вывел ее наружу и спросил:

– Твоя машина просторнее или моя?

– Моя, – ответила она и усмехнулась.

Он умостил ее на заднем сиденье доджа, захлопнул дверь и, взяв в ладони ее лицо, выдохнул:

– Люблю...

А она одними губами, без голоса, отозвалась:

– И я...

Позже, кто знает, как много позже, да и какая разница, они снова сидели обнявшись, и Ева сказала:

– От тебя настурциями пахнет. Почему от тебя пахнет настурциями?

– Потому что настурция – душистый цветок.

* * *

Утром Рута проснулась, потянулась, открыла глаза, посмотрела на Адама, ее зрачки вдруг расширились, и она спросила:

– Это ты? Это был ты?

– Я, – ответил он, улыбаясь.

– Какая сладкая была ночь, – вздохнула она, зажмурившись.

– Сладкая, – отозвался он и поцеловал ее в губы.

А когда Алекс открыл глаза, он позвал:

– Рута?

– Нет... Ева.

Он, еще не веря, повернулся с боку на бок, потом подскочил, уставился на женщину:

– Это ты? В самом деле ты?

– Я.

– Мне не приснилось? Это не был сон?

– Нет, – улыбнулась Ева.

– Какой красивый, какой прекрасный был сон, – воскликнул он.

И поцеловал ее в губы, и она не сопротивлялась.

* * *

Уже был четверг, день, когда Бог, сотворяя мир, только раз увидел, что это хорошо.

Ведь не может такого быть, чтобы изо дня в день было дважды хорошо.

Между прочим, в тот самый день, с утра, Бог решил было, что настало уже время для конца света. Но потом передумал.

Перевела с литовского ***София Шегель***

Александр Крестинский

БРАТЬЯ

Когда я родился, дома была радость с привкусом горечи; мама мечтала о девочке и одеяло заготовила соответствующее – розовое, и ленту, которой меня предстояло обвязывать, вынося на улицу.

В каком-то смысле я мам понимаю: я, между прочим, в свое время боялся, что у нас с женой родится... да, мальчик! У меня тогда было такое убеждение, что я еще не готов к выращиванию мальчика – ведь мне самому тогда было всего двадцать два...

И все-таки в мамином поведении что-то было чересчур, какой-то явный перекос. Мама растила меня как девочку, не стригла волосы, а когда они стали до плеч, стала – о, ужас! – ввязывать в них широкий клетчатый бант. Хорошо помню фотографию, где я сижу на велосипеде-трехколеске в коротких штанишках с лямками крест-накрест, а на голове этот злосчастный бант, и лицо у меня кислое-кислое...

Игры в девочку закончились, когда мне стало шесть лет и мы переехали в другой район. Там мне предстояло завоевать свое место под солнцем, в кипящем дворе, где носилось, галдело, хохотало, ревело полсотни мальчишек и девчонок. Как только начались первые дразнилки, я взбунтовался. Меня повели в парикмахерскую, а потом купили первые длинные брюки. Что касается банта – я втоптал его в пыль и тайком вынес на помойку.

Я очень рано почувствовал тоску одиночества. Я завидовал мальчишкам, у которых были старшие братья. Я еще в школу не пошел, а уже начал донимать маму просьбой: роди брата! Конечно, я понимал, что младший брат – это совсем не то, чего мне хотелось. Но я был готов и к этому варианту: лучше иметь младшего брата, чем никакого...

Я так надоел маме своими разговорами о брате, что она однажды посадила меня перед собой и, глядя мне прямо в глаза, объяснила, что у нее серьезная сердечная болезнь и ей запрещено рожать.

Я мрачно выслушал маму и понял, что обречен на одиночество. На лице моем с того дня застыло то брезгливо-мрачное выражение, которое, вкупе с занудно-капризным голосом, закрепило за мной папино насмешливое прозвище – «Скрипучая телега».

Вообще-то я уже не хотел младшего брата, раз под угрозу ставилось мамино здоровье. Правда, была еще одна причина. У маминой подруги родилась девочка, и нас позвали в гости –

полюбоваться на младенца. Когда мы вошли в квартиру, уже в коридоре нас встретил пронзительный рев. Помню, я поразился, как громко орет этот только что родившийся человечек. В комнате я вообще оглох. Тетя Ида и дядя Мося носились вокруг постели с выражением безысходной печали на лицах. Раздался вопль: «Симочка, помоги!» Мама вымыла руки и приступила к делу. С чувством отчаянного ужаса смотрел я на голое, краснокожее, сучившее ножками существо. На пеленке расползалось ярко-желтое пятно, от которого дурно пахло. Я боялся, что меня стошнит. Мама быстро и ловко убрала из-под девочки эту страшную пеленку, скомкала, сунула в руки тете Иде. Тихо сказала: «Мося, тазик с теплой водой...» И дальше я слышал только тихий плеск воды и нежный мамин голос: «Ну, Аллочка, ну, девочка, сейчас мы будем чистые...» Потом мама протянула тете Иде запелёнутого и умолкшего младенца и повернулась ко мне:

– А что это ты такой бледный? Ох, уж эти мужчины... еще хотел ребеночка...

– Так я же просил мальчика, – вырвалось у меня.

Мама захохотала:

– Ты думаешь, мальчики не плачут и не какают?..

Долго еще гостей в нашем доме угощали историей про то, как я хотел мальчика и почему расхотел... Я видел, что надо мной смеются, и страдал.

Бог меня пожалел. Только я пошел в первый класс, оказалось, что у меня целых два старших брата. Двоюродных, конечно.

Первый – Аник, Арон Мерейнес, сын Рахили Ароновны от первого брака. Рахиль Ароновна – жена старшего папиного брата Володи.

Как-то в Доме творчества известный переводчик Владимир Григорьевич Адмони стал расспрашивать меня о моих родичах. Когда я назвал Рахиль Ароновну, он подпрыгнул резво не по возрасту и воскликнул: «Рахиль!» И после небольшой паузы тихо, задумчиво повторил: «Рахиль...» Рахиль Ароновна в тридцатые годы заведовала кафедрой иностранных языков в педагогическом институте, где работал и Владимир Григорьевич. В радуге чувств, которая пронеслась между первым и вторым «Рахиль», я угадал еще живую красочку восхищенной мужской оценки. Сейчас вспомнил снимок: Рахиль Ароновна в купальнике на берегу Черного моря. Какой эпитет подобрать? Величественная!.. Истинно так.

Второй брат – Марк. Он приехал в Ленинград из Таллинна, где жила папина сестра Лёля. Была она замужем за эстонцем, которого никто никогда не видел. «Линнамяу не едет к вам принципиально», – говорила тетя Лёля. Фамилию мужа она произносила, давя на окончание: мяу! (Вообще-то, справедливости ради, «мяэ», а не «мяу»).

Марк жил в семье отчима и иногда ночевал в профессорском доме в Лесном, но на каждый день снимал квартиру в центре.

Сходство между братьями было лишь в том, что оба они учились в Политехе. Они были ужасно разные, мои двоюродные братья!..

Аник исповедовал Евангелие от Чернышевского. Его героем был Рахметов. Аник спал на голых досках. Тонкое байковое одеяло присутствовало как уступка матери. Аник поднимал тяжелые гири. В выходной утром бегал по аллеям знаменитого парка Лесотехнической академии, где профессорствовал дядя Володя. На академическом корте Аник играл в большой теннис. Около кровати на полке лежали приятные на ощупь теннисные мячи. Однажды, разглядев меня голого, он с досадой сказал: «Да ты просто Буратино, так нельзя...» подарил мне теннисный мяч и велел сжимать его в руке по сто раз для тренировки кисти. Красивым почерком написал для меня список упражнений... Словом, будучи сам кандидатом в супермены, хотел и меня направить на ту же стезю. Господи, сколько он для меня сделал! Научил ездить на велосипеде, кататься на коньках... И это только физическая сторона дела. О духовной речь впереди.

Теперь Марк. Идти рядом с ним по улице было особым наслаждением. Человек двухметрового роста, широкоплечий (о таких, наверно, говорят: «косая сажень»?..), чуть сутулился, как все крупные люди, которым хочется выглядеть менее заметными. Лицо худощавое и острое, как хищной птицы. Короткая стрижка, которую все вокруг называли «под Маяковского». Девушки так и секли его взглядами, и он не мог устоять под этим обстрелом. Записная книжка его была полна телефонами всяких Оль, Надь, Алин, Галин... помню, там была Евгения 2 и Наталья 3. Я заглядывал ему через плечо, когда он, сидя в кресле, рылся в своей книжке. Однажды я спросил: «Почему Евгения 2?» «Потому что была первая», – ответил он задумчиво.

Не заметив, что я стою рядом, Аник сказал как-то человеку, нелестно отозвавшемуся о Марке: «Не трогай его. Он славный парень, просто слаб на одно место...» Эта загадочная фраза мучила меня несколько дней. Наконец, я не выдержал и спросил Аника: «Ты сказал, что Марк слаб на одно место. На какое?..» Аник посмотрел на меня внимательно, как будто по-новому оценивая: «Ну, понимаешь... Он слишком любит сладкое. Для мужчины это как-то несолидно, что ли...» И он сморщил лицо, выражая гримасой жалость и некоторое презрение. Ничего не поняв, я растерянно спросил: «Шоколадные, да?» «Да, и шоколадные!» – обрадовался Аник и подмигнул мне.

Один раз я видел Марка сильно пьяным. Он стоял на коленях перед ванной, а Аник поливал ему голову из душа. Он повернулся и сказал мне: «Брысь!»

У нас в семье было три химика. Дядя Володя занимался химией древесного волокна и был одним из ведущих профессоров Лесотехнической Академии. Тетя Нина занималась пластмассами. Перед войной это была совсем молодая отрасль науки и техники. Помню, я любил играть разноцветными пластмассовыми кубиками из лаборатории, где трудилась тетя Нина. На ее беду, училась она в Техноложке в одной группе с убийцей Кирова – Николаевым, и по этому поводу несколько лет была в ссылке. И, наконец, тетя Варя. Специалист в области физической химии, она преподавала в Ленинградском Университете. Муж ее, в дни романтической юности ненадолго примкнувший к эсерам, был арестован в начале 1938 года и исчез в сталинских застенках. Тетю Варю сослали в Киргизию. Киргизы быстро сообразили, какой ценный кадр залетел к ним по воле НКВД, и тетя Варя стала преподавать в университете города Фрунзе, и кажется, даже заведовала кафедрой...

Дядя Володя был колоритнейший профессор с массивной серебряной цепочкой поперек обширного живота. Часы, которые он извлекал из жилетного кармана, тоже были пузатые – луковицей. Но это внешние приметы. Он жил (или пытался жить) так, словно никакой революции не произошло. По телефону откликался: «Да, это я, милостивый государь...» Был убежденным монархистом. В канун выходного, когда семья засиживалась у самовара, просил кого-нибудь принести из кабинета том I, II или III. В первом томе (страницы с золотым обрезом) была история царствования Александра I. Во втором – Второго. В третьем – Третьего. Дядя Володя надевал пенсне и с выражением читал страниц десять-пятнадцать, и горе тому, кто посмеет отвлекаться или клевать носом в это время!..

Мне кажется, дядя Володя больше всех был похож на дедушку Николая Семеновича, которого я знаю только по шикарному снимку на твердом картоне, где учитель словесности, инспектор гимназии, а также автор монографии об исторической поэзии Аполлона Майкова (лаковая обложка и бархатная спинка!) был изображен полуанфас, рисующий высокий породистый лоб и аккуратно подстриженную окладистую бороду.

Когда мы гостили в Лесном одновременно с Марком, он возился со мной. Особенно я любил, когда он сажал меня на плечи. Всё замирало внизу живота, и я воображал себя лилипутом на плечах у Гулливера.

Однажды, двигаясь так, мы подошли к высоченной кафельной печи в углу гостиной, и там, наверху, в густом слое пыли что-то блеснуло. Я протянул руку и достал с печи монету. Она была тяжеленькая и желтая. Марк потер ее между пальцами и сказал: «Это же золотой! Царский!..» Дядя Володя долго разглядывал монету под лупой. Посмотрел на меня: «Ну, искатель кладов...» Он тщательно протер монету замшей и, открыв заветный ларец, в котором у него хранились дорогие конфеты, опустил туда золотой и повернул ключ... Снова посмотрел на

меня и профессорским тоном, не принимающим никаких возражений, произнес: «Это будет твой начальный капитал!»

Марк любил брать меня с собой на разборки с девицами. Здесь у него был какой-то расчет. Если он говорил: «Пойдем на прогулку?..» – я уже знал, что впереди очередная разборка. За одно лето я увидел столько разных девушек, что стал неплохим физиономистом, и всегда старался угадать: добрая или злая?.. Чаще всего мне это удавалось.

Марк был для меня вне критики. Просто жертва своей любвеобильной натуры. Цель его разборок заключалась в том, чтобы мягко, тихо, вкрадчиво убедить очередную обиженную, что ее обиды не имеют под собой никакого основания. Гораздо позже я понял, для чего он брал меня с собой: человек, берущий на свидание младшего брата, не может быть дурным! Посмотрите, как нежно опустил он левую свою руку на голову этого милого мальчугана, в то время как другая его рука нежно гладит ухо собеседницы, точнее – мочку. Эффект поразительный!

Я постигал науку любви как бы между прочим, про запас. Я видел, что поглаживание действует безошибочно. Только одна девица, которую я уже издали определил как «злую», отбросила его руку от своего, между прочим, слишком большого уха, и сказала мстительно: «я не хочу иметь с тобой ничего общего...» На что Марк ответил тихо и грустно: «Прости, я не хотел такого финала...» И мы ушли, откланявшись. «Откланяться» – означало едва-едва склонить голову при абсолютно прямом корпусе. Так меня учил Марк.

Мы шли с ним мимо православной церкви. Он остановился, широко перекрестился на купола и сказал: «господи, ты видел – я сделал все, что мог...»

Другой раз мы шли с ним по тихой ленинградской улице, он подкидывал ногой камушек и говорил мне, как равному: «видишь, как неправильно я живу... Я запутался в своих привязанностях. Прошу тебя, не повторяй моих ошибок. Пусть у тебя будут две, ну, в крайнем случае, три знакомых девушки. Этого вполне достаточно...»

Теперь я подхожу к очень важному эпизоду. Его можно назвать судьбообразующим. Это было зимой. Яркий солнечный день. Воскресенье. У нас дома внезапно появляется Марк, какой-то особенно приглаженный и приодетый. Он приглашает меня на прогулку. Он вкрадчиво говорит маме: «Тетя Симочка, чудная погода...» Мама с радостью отпускает меня. Кстати, она ничего не знала о цели наших прогулок.

Этот день я помню так четко и красочно, словно всё произошло вчера. Мы шли по скрипучему снегу и щурились. Мимо Исаакия. Мимо Петропавловки. Мимо мечети. Марк был необычно молчалив. На углу улицы Куйбышева он остановился и,

оглядев меня, спросил: «Ты вообще умеешь улыбаться?» Я не понял: что значит – «умеешь»? Если есть повод для улыбки – будет и улыбка. Это так просто. Он что – хочет, чтобы я в том доме, куда мы идем, нацепил на себя улыбку, как он галстук-бабочку?..

– Я прошу тебя как брат брата, будь, пожалуйста, особенно приветлив. Это очень важный для меня визит...

И мы стали подниматься по широкой парадной лестнице. Над нами сквозь стеклянный фонарь синело небо. На четвертом этаже остановились около двери под номером 13. «Как я выгляжу?» – спросил Марк. «Ты выглядишь как никогда!» – сделал я комплимент. Я чувствовал – его надо поддержать.

Марк нажал кнопку звонка. Сигнал был тихий и мелодичный. И я подумал, что она должна быть доброй.

Дверь открылась так быстро, словно хозяйка квартиры стояла рядом, ожидая нашего прихода. Это была коротко стриженая молодая женщина в накинутом на плечи длинном пушистом шарфе. Его хотелось потрогать.

– Здравствуй, Марк.

– Здравствуй, Марта.

Ого, они рифмуются, подумал я. Мне стало вдруг весело, и хорошее предчувствие защекотало горло.

– Как зовут молодого человека?

– Мой двоюродный брат Александр.

– Здравствуйте, Александр.

Ко мне еще никогда не обращались на вы. Ее рука была теплая и сильная.

Мы разделись и прошли в комнату. Нет, это была не комната, а целый зал – тремя огромными окнами на Петропавловку. Зал, залитый солнцем. На красивом полосатом коврике сидел толстый кот с выпуклыми зелеными глазами и в упор смотрел на нас. У стены – раскрытое пианино. Около балконной двери – стол с пишущей машинкой и кресло рядом. Пишущая – высокая и красивая. Я видел машинки у папы на работе – они были серые, приземистые... Дальше – диван с множеством подушек и куча журналов на полу около дивана.

– Вы любите читать, Александр?

Я кивнул. Больше всего мне хотелось подойти к машинке и тронуть ее черно-белые клавиши. Но я стеснялся.

– Если можно, я посмотрю журналы.

– Пожалуйста. Садитесь на коврик рядом с Терентием. Лучше его не гладить, он может цапнуть...

Я сел на коврик, но так, чтобы между мною и Терентием оставалось расстояние большее, чем протянутая кошачья лапа. Терентий не пошевелился. Марк и Марта сели на диван.

– Ничего, если я закурю? – спросила она.

– Ради бога...

Папироска у нее была длинная и тонкая, дымок вкусно пах и перемешивался с солнцем. В солнечном луче дымок медленно

двигался и долго не исчезал. Помню, тут я подумал, что курить красиво...

В куче журналов я нашел старинную «Ниву» времен Первой мировой войны. Я разглядывал большую фотографию: царские особы в госпитале среди раненых. Один молодой раненый смеялся на все тридцать два зуба, а рядом с ним стояла, потупив глазки, девушка в платке с крестом – наверно, царская дочь...

– Марта, извини, я слышал... Ты выходишь замуж?

– Ты удивительный человек, Марк. Полгода не звонишь. Потом где-то в институтском коридоре, или в курилке, слышишь сплетни про меня... И являешься галстуком-бабочкой и с прелестным младшим братом, похожим на девочку... Кстати, зачем? Почему не один? Я тебя знаю. Ты ничего не делаешь просто так, а?

– Ты не ответила на вопрос.

Прелестный младший брат, похожий на девочку, плохо переносил иронию. Но он давно уже был на стороне Марты и простил ей этот выпад, тем более, что направлен он был против Марка. Справедливо, – подумал младший брат.

– Ну, предположим, мне сделали предложение, а я попросила время на обдумывание, назвала срок в три месяца, и некто уехал в экспедицию...

– Но, Марта...

– Я слышу интонацию собственника. Знаешь, что сказал мне мой младший братец? Ты хоть помнишь, как его зовут?

– Его зовут Эдик, – незнакомо-отчужденным голосом сказал Марк.

– Так вот, Эдик, который учится в четвертом классе, сказал: «Марта, извини, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь, но когда любят, сроков не назначают. Ты его не любишь». Знаешь, какие они умные!..

Я спиной почувствовал, что сейчас она кивнет в мою сторону. Слово «они» объединило меня с Эдиком в некую общность под грифом «умные». Я даже покраснел, так мне было лестно.

– Ты ни разу не вспомнила обо мне. Ты меня никогда не любила, – довольно фальшиво сказал Марк.

– Ты ошибаешься! Я вспоминала о тебе всякий раз, когда видела свои запылившиеся коньки. И думала: ах, Марк!.. Послушай, давай-ка я лучше поставлю чайник. У меня есть суворовское печенье...

– Пить чай в такой ситуации?..

– Ситуация нормальная. Кстати, при чем тут любовь? Мы с тобой старые товарищи по конькобежному спорту. В конце концов, ты можешь не пить чай, а вот Александра я так не отпущу.

У меня горели уши.

– Александр, вы скучаете. Жаль, нет Эдика. Он на стадионе. О, этот хоккей! Сейчас я вам кое-что покажу.

Она подошла к столу с пишущей машинкой, взяла листок бумаги и подала мне.

– Вчера меня долго не было дома. Эдик осмелился сесть за мою машинку и сочинил рассказец...

– Как называется эта машинка? – спросил я с бьющимся сердцем.

– «Ундервуд».

Я повторил про себя это имя и решил, что оно красиво.

Я держал в руках листок, на котором грамотно был напечатан рассказ про зиму. Коньки, лыжи, каток, хоккей, солнце и снег. И про зимнюю радость. Рассказ так и назывался: «Моя зимняя радость».

Я читал этот рассказ со жгучей завистью. Завидовал я не тому, что этот мальчик из самых простых слов сложил нечто про зиму. Я завидовал тому, что он напечатал свой рассказ на машинке.

С этой минуты я уже не слышал их диалога, Марты и Марка. И чай я пил рассеянно, безо всякого удовольствия. Ах, если бы она догадалась и разрешила постучать по клавишам «Ундервуда»! Сказала бы: «Александр, я вижу, как у вас глазки горят, когда вы смотрите на «Ундервуд». Идите, постучите по клавишам...» Нет, ей и в голову не пришло.

Я пришел домой и стал писать рассказ за рассказом, но у меня не было пишущей машинки, и я переписывал свои рассказики мелкими печатными буковками, стараясь, чтобы они были похожи на машинные. Этот процесс занимал больше времени, чем само творчество. Каким-то чутьем я сам дошел до того, что темы рассказов надо черпать из жизненного опыта, пусть даже такого маленького, как мой. Надо только выбрать наиболее интересные эпизоды и изложить их правдиво и коротко. Так я стал бесхитростным ревнителем натуральной школы. Здесь я перечислю только названия некоторых своих произведений: «Как я чуть не утонул», «Мой Топтыгин», «Бабушка и Рождество», «Змеи в Пушкинских горах», «Как поймали сумасшедшего у Святогорского монастыря», «Как я нечаянно выколол глаз котенку, и что после этого было» и пр. и т. п.

Оригиналы тех моих произведений, конечно, не сохранились, и я не могу вместе с читателем посмеяться над изобразительным даром юного рассказчика. Была задумана еще одна новелла: «Как меня учили ругаться матом», но природная скромность и стыдливость возобладали, и рассказ этот не появился на свет. Скажу только, что уроки эти зримые проходили на пастбище, куда я ходил с юными жителями села Михайловского. Уроки, повторяю, были наглядны, и слово сопровождалось живым показом того или иного органа. В показе участвовали и люди, и животные.

Процесс моего творчества происходил на глазах у родителей, и скоро весть о рождении нового прозаика разнеслась по

домам родственников. Вскоре к нам приехал Аник и заставил меня выложить на стол «собрание сочинений», которое в тот момент насчитывало около двадцати текстов. Аник прочел, одобрительно хмыкнул, похлопал автора по плечу и сказал: «Надо выпускать журнал. Как назовем?..»

За неделю до этого я совершил большой грех: играя в полутемном коридоре с длинным острым шестом, я нечаянно выколол глаз нашему котенку Ваське, за что первый раз в жизни был наказан отцовским ремнем.

Аник предложил назвать журнал «Василий». Одноглазый котенок жил теперь в Лесном, у дяди Володи, так как меня сочли недостойным иметь животное. «Пускай это название, – сказал Аник, – напоминает нам, что надо быть гуманными...»

Я стал главным писателем «Василия». Там публиковались мои рассказики и стишки. Во втором номере, например, появилось мое покаянное произведение «Слово к Василию».

Василий ты, Василий,
Пока ты мелкота,
Но скоро превратишься
В огромного кота.

Прости меня, Василий,
Пожалуйста, прости,
Гуляй в саду на травке,
Питайся и расти.

Редактировал журнал Аник. Он же печатал в «Василии» свои, как он их называл, «полунаучные» статьи: «Почему Луна не падает на Землю», «Кто и когда придумал колесо?», «Разрежем Землю, как арбуз» и другие. Марк сочинял ребусы и загадки. Двоюродная сестра Тата тоже занялась журналистикой, но рассказ про пограничников ей явно не дался, а стихи, как сказал главный редактор, «были чересчур женскими». Зато очерк «Как мне рвали зуб» стал гвоздем номера и заслужил похвалу главного критика, дяди Володи, сказавшего, что очерк ярко и просто демонстрирует несомненное превосходство женского начала над мужским, ибо женское мужество – это мужество в кубе и пр. и пр. Картинки для журнала рисовали кто как умел. На обложке всегда был портрет Василия. Самый лучший портрет нарисовал по моей просьбе дядя Муля, который вообще был мастер рисовать что угодно и кого годно, не отрывая руки от бумаги. На его рисунке Василий был с черной повязкой наискосок – кот-пират.

Иногда я вспоминал мальчика по имени Эдик, но теперь я ему больше не завидовал: весь наш журнал от корки до корки печатала у себя на работе тетя Манюся. Одновременно я вспоминал Марту, и это было теплое воспоминание. Однажды я остановил Марка за фалду пиджака, когда он куда-то спешил:

– Сходим к Марте?

– Что-о?.. – и шепотом: – В этом сюжете поставлена точка...

Вполне возможно, если б я познакомился с хоккеистом Эдиком, я разочаровался бы в нем, а так я воображал себе его жизнь, полную спортивных побед, и как он возвращается с катка с клюшкой и коньками, весь распотевший и красный, и кричит с порога: «Мы победили!», а Марта, кутаясь в свой мохнатый шарф, поит его крепким чаем с суворовским печеньем...

Впоследствии, уже став взрослым, я иногда интуитивно останавливал свои отношения с некоторыми людьми, довольствуясь тем творческим толчком, который я от них получал, и доверяя остальное своей фантазии. Но это уже из области профессионального эгоизма.

Через год увлечение журналом прошло. Однажды утром, проснувшись, я нашел на стуле около кровати адресованное мне письмо. Вот его примерное содержание: «Каррамба!! Верный мой юнга, пишу тебе с острова Пяти Черепов, где остановился наш бриг, чтобы набрать свежей воды. Надеюсь скоро забрать тебя с собой в кругосветное путешествие. О цели плавания не сообщаю. Жди новых писем. Дьявольски по тебе скучаю. Твой капитан Арон Мерейнес».

К письму прилагалась подробная карта острова Пяти Черепов.

Теперь сами посудите – был я счастливым человеком или нет?

Один брат радовал мое сердце, присылая мне письма из самых невероятных уголков земного шара. Другой брат своими «прогулками и разборками» приоткрывал передо мною специфическую сферу мужской жизни, постепенно приучая меня к мысли, что много – не всегда хорошо.

Да, я был счастливым человеком!

Счастье стало скукоживаться как-то внезапно. Сначала умерла бабушка. Потом Рахиль Ароновна. Потом – ровно через год, день в день – ее муж, дядя Володя... Оба от болезни, трехбуквенное название которой не произносили вслух.

Все смерти происходили почему-то зимой, и я уже привыкал к мысли, что зима – это время смерти. В лексикон вошло торжественное слово к а т а ф а л к. Особенно запомнились мне похороны дяди Володи, которого провожала вся Лесотехническая Академия. Мы, ближайшие родственники, шли сразу за катафалком, и это медленное движение, эта скрипка где-то чуть позади нас, этот жгучий мороз и клубочки теплого воздуха над процессией, эта неуместная фраза за спиной: «Зачем взяли ребенка?»... конские какашки, славно пахнущие и парующие под ногами, слезы на глазах от жгучего ветра, и вся эта процессия, растянувшаяся как поезд на повороте; эта дорога на Богословское кладбище, где сейчас целый заповедник Кре-

стинских и их ближайших родственников... Я закрываю глаза, и черная процессия в мареве туманного зимнего полдня ползет мимо меня...

Потом я часто думал о том, что Господь поступил дальновидно и мудро, как он и должен поступать, прибрав тех, кого прибрал, до зловещего тридцать седьмого года, до бухаринского процесса, в котором судили и засудили до смерти моего дядю Николая – «врага народа»; это понятие разрывало на части тщедушную душу второклассника. Я не мог понять, как можно быть врагом целого народа! Ну, один враг – это понятно. У меня тоже был свой враг во дворе, имя его покрыто тьмой времен. Ну, два, ну, три, наконец! Но целый народ?..

В нашем доме и в домах ближайших родственников царил страх. Он сочился из стен, изо всех пор. Стал барахлить репродуктор, такая черная тарелка на стене, одним словом, радио. Папа ставил стул на стол, взбирался туда и, прислонив ухо к репродуктору, слушал всё подряд: известия, репортажи о процессе, речи Вышинского, главного прокурора, ответы обвиняемых, страшные своей нелепостью. Дышащие ненавистью митинги.

«Сумасшедший дом», – говорил папа, отрываясь от радио, чтобы закурить очередную папиросу.

Меня они в то время словно не видели, не замечали. Того, кто за свои девять лет этого дядю ни разу живьем не видел, только тусклые фотографии в газетах. Бывший секретарь ЦК, бывший нарком финансов, бывший посол в Германии... Когда я неожиданно заставал за столом отца и его родных сестер – Нину и Варю, склонившихся друг к другу головами, они тотчас прекращали свои секретные разговоры и делали вид, что беседуют о чем-то незначительном.

Они думали, я ничего не понимаю! Они не знали, что по пути в школу я долго стою у газетного щита «Правды», где каждый день печатались отчеты о ходе процесса. Я стою среди десятка горожан, молча, без реплик читающих эту газету. Я каждый раз рискую опоздать в школу, но меня завораживает моя собственная фамилия, выделенная жирным шрифтом, как и все остальные фамилии обвиняемых. Газета гипнотизирует меня, и я ничего не могу с этим поделать.

Однажды я таки опоздал на урок из-за этого своего необоримого пристрастия. Когда я вошел в класс, учительница уже стояла у стола в накинутой на плечи шали, и тут громко, отчетливо кто-то произнес: «Враг народа пришел!»

Я почувствовал, как яркая краска заливает мое лицо и шею. Всё казалось в каком-то тумане. И тут учительница – не помню ни имени ее, ни отчества... – крепко взяла меня за плечо.

– Садись на место, Шурик, – сказала она. И подождав, пока я сяду, вполголоса, но очень четко сказала: – Дети! Никогда – вы слышите? – никогда не произносите этих слов!..

Она говорила так, точно заклинала нас. Это плохо, что я забыл ее имя и отчество. Она была молодая, светловолосая, с толстой косой. И – как я теперь понимаю – очень смелая. С того дня учительница перестала звать меня по фамилии, а чтобы не бросалось в глаза – и всех остальных звала только по имени...

К Анику и Тате в их огромную профессорскую квартиру явились представители Академии и вежливо предложили переехать в «более удобное» помещение, так как сюда по решению профсоюза должна въехать семья профессора Ю.

Новая квартира была в каменном доме, трехкомнатная, с огромными и глубокими антресолями, куда распихали имущество, вывезенное из дядиволодиной квартиры. Тату скоро забрали в Москву родственники по материнской линии. Аник и Марк жили вдвоем в неуютной казенной квартире, не согретой присутствием и заботой женщины. А в конце июля, когда они закончили Политех и ждали распределения на работу, их вызвали в Большой Дом. Следователь предупредил братьев, что у него есть неопровержимые доказательства их нелояльности к советской власти, и он советует им в преддверии грядущих событий (так он сказал, и не объяснил – каких событий) покинуть пределы Ленинграда. Такой вот странный был следователь. Или камер свободных в этот момент не было? Или – он был умный и не жестокий человек – и поняв подоплеку дела, хотел предупредить братьев, чтобы они скрылись из глаз?.. Между прочим, Марк так и поступил – уехал к семье в Таллин. Аник остался на месте. Мало того, он вдруг отказался от распределения и жил в своей мрачной квартире аскетом, продавая кой-какие вещи. Помню, как в начале июля он приехал к нам и за вечерним чаем предложил папе и маме, что возьмет меня к себе на лето, и родители, конечно, согласились, и я был счастлив, и мы уехали с ним в Лесное.

Это был другой Аник, молчаливый, безулыбчивый. От прошлого остались гири, эспандер, турник во дворе. Сразу по приезде он предложил мне: «Давай жить так – утром зарядка, потом пьем чай, потом я (то есть он) работаю, а ты делаешь что хочешь – пишешь, рисуешь, читаешь – но меня не отвлекаешь до двух дня. Дальше – идем обедать на фабрику-кухню (было такое изобретение советских времен: грандиозные рабочие или студенческие столовые; мы ходили в студенческую), там покупаем что-нибудь на ужин и после обеда идем гулять в парк. Вечером – общаемся...»

План мне понравился. Единственно, что было не по душе – так это спальня. Аник спал на рахметовской кровати в кабинете, где кроме этого был еще письменный стол и сундук, в котором брат держал свои вещи. Между кабинетом и спальней, где он приказал мне спать, была столовая. Спальня, со всеми многочисленными антресолями, из которых торчали разнообразные чемоданы и саквояжи, свидетели когдатошних дядиволодиных заграничных командировок, – казалась нежилым скла-

дом вещей... А двуспальная кровать, на которой даже летом были холодные простыни!.. Я затаивался в ее уголке и долго не мог согреться. Я очень хотел попросить Аника не закрывать двери в спальню, но боялся, что он заподозрит меня в трусости. Сон мой был тревожен и чуток.

На зарядке Аник был суров ко мне и требовал безукоризненного выполнения всех упражнений. Зато – когда он работал в кабинете, я уходил на террасу, где на полке стоял полный Дюма, и до самого обеда читал, читал, читал!.. Счастливые часы...

После обеда мы долго гуляли по огромному парку Лесотехнической Академии, играли в футбол на поляне стареньким детским мячом, который я нашел в чулане. Нередко Аник говорил мне о том, что я должен стать сильным и выносливым, так как близится пора испытаний, и от каждого человека понадобятся сверхсилы. «Пора испытаний» – это что?» – спрашивал я его. «Ну, например, война», – говорил он. «С кем?», – не отставал я. «С турками», – отвечал Аник. «Нет, правда», – не верил я. «Ты читаешь Дюма, там все время воюют, так будет и у нас...» «Но мы же очень сильная большая страна, – возражал я, – кто на нас полезет?» «Может быть, марсиане...» «Ну, ты скажешь...»

Работал Аник в кабинете, запершись. После работы выходил осунувшийся, бледный, редко в хорошем настроении. Один раз я не выдержал и спросил его:

– Что ты там делаешь?

– Пишу.

– Что?

– Роман.

– Здорово! Как Дюма? Дашь почитать?

– О, Дюма!.. Что ты говоришь... Я новичок, проба пера...

– А о чем, о чем роман?

– О жизни...

Тут я внутренне приосанился, ощутив себя автором по меньшей мере двух десятков напечатанных на машинке и опубликованных в журнале рассказов, и сказал:

– Значит, мы коллеги?

– Да, мы коллеги, – почему-то грустно кивнул брат.

Лето бежало, словно куда-то опаздывая. Я не скучал без сверстников, как это ни странно. Каждый вечер во время прогулки Аник ошарашивал меня какой-нибудь непривычной мыслью, оставляя с нею наедине, чтобы на следующий день спросить: «Ну, что ты об этом думаешь?..»

Например, мысль о происхождении человека от обезьяны. Оказалось, Аник не соглашался с Дарвином. В божественное происхождение человека он тоже не верил и считал, что цивилизация занесена на Землю из космоса. Неожиданно для меня самого оказалось, что я был стихийным апологетом Чарльза Дарвина. Мало того, что я к этому времени уже прочел его кни-

гу «Путешествие на корабле «Биггль». У меня был довольно богатый опыт общения с обезьянами. Дело в том, что наша соседка по коммунальной квартире Зоя Сергеевна была обезьяньим доктором и часто брала меня с собой в зоопарк. Я поделился с Аником своими наблюдениями и сказал, что обезьяны – это те же люди, только мохнатые и недоразвитые. Таким образом, каждый из нас остался при своем мнении. Попутно скажу: чего я никогда не замечал в брате, так это противной привычки взрослых выпячивать свои знания и снисходительно относиться к мнению младших. А в одном мы вообще были равны: ни он, ни я не имели понятия о Священном писании.

Однажды утром брат казал:

– Сегодня будем прощаться с летом. Завтра я отвезу тебя домой...

Целый день мы собирали в парке сухие сосновые шишки, сучки, щепки. Притащили домой две корзины топлива. За нашей террасой был маленький дворик, незаметный с улицы. Там вечером мы разожгли костер. Когда он разгорелся, мы исполнили перед огнем индейский танец и распили бутылку шипучего лимонада. Потом Аник принес из кабинета пачку растрепанных листов, заполненных его острым летучим почерком.

– Что это?

– Тот самый роман. Неудачная попытка. В огонь.

Наверно, на моем лице изобразилось удивление, а может быть, даже испуг, потому что Аник улыбнулся:

– Не пугайся, я человек трезвый и знаю, что делаю...

И он стал бросать листки в костер – по одному, по два, иногда ироническим тоном вычитывая оттуда реплики, кусочки диалога, описания природы...

Я сидел завороженный. Следил, как сгорал каждый листок. Как чернел по краям, вспыхивал, как исчезали буквы, опадал пепел... Через много-много лет я прочел знаменитую фразу о том, что рукописи не горят, и вспомнил тот вечерний костер в Лесном, и как под конец Аник встал ко мне спиной и пописал на костер, и тот, шипя, затухал. «Давай и ты», – сказал он мне. И я тоже совершил этот странный ритуал. И моя струйка не смогла уже найти такого местечка на пепелище, которое бы зашипело.

Аника арестовали в начале июля 1941 года. Он ждал повестки в военкомат, а его забрали и увезли на машине. В общей камере в тюрьме Большого дома он увидел Марка. «Ты откуда?!» Марк посмотрел на него потухшими глазами. «Я здесь уже две недели. Прости меня, я всё понял...» (из рассказа Аника в октябре 1947 года после возвращения из концлагеря).

Через несколько дней их погрузили в тюремные вагоны, и ночью состав ушел на Урал. Тюрьмы Ленинграда очищали в ожидании наступления немцев. Забирали всех, о ком были хоть какие-нибудь заметы в архивах НКВД. Марк недаром просил прощения у Аника: следователь целую неделю выспрашивал

его о сокурсниках Политеха, назвал несколько женских имен. Марк сопоставил факты и понял, с какой стороны подул мерзкий дух доноса...

В вагонах заключенных было столько, что спали по очереди. Начались желудочные болезни. Марк свалился одним из первых. Аник пытался что-то предпринять, говорил с охраной, требовал врача... Всё напрасно. На какой станции вынесли тело Марка, Аник не знал, от них скрывали маршрут, а дело было ночью. Состав неукротимо шел на Урал. Туда, где заключенные строили новый завод для производства сверхсекретного оружия. «Знаешь, почему я выжил в этой страшной дороге? – спросил меня Аник. – Помнишь Рахметова?»

Мы сидели в большой комнате коммунальной квартиры, той самой, где когда-то жила семья профессора Владимира Николаевича Крестинского. Вернувшись в Ленинград после войны, моя двоюродная сестра Тата, студентка медицинского института, проявила недюжинное упорство и смекалку, и мстительную решительность. Оставшиеся в живых друзья знали кое-что о судьбе расхищенных вещей – квартира, где жили мы с Аником, была пуста. Там размещалась теперь какая-то академическая лаборатория. Друзья рассказали Тате такую, например, подробность: в 1943 году на свадьбе в доме профессора Ю. били тарелки из старинного немецкого сервиза, который дядя Володя привез из Германии накануне революции. Не о вещах речь! Я преклоняюсь перед моей юной сестрой, которая входила в чужие квартиры и говорила: «Я дочь профессора Крестинского. У вас наши вещи. Я пришла за ними...» Хозяева бледнели и сторонились.

Возвращена была в основном сильно подержанная мебель. Но дело не в этом. Мы сидели в большой комнате коммунальной квартиры. За стеной раздавался детский плач. Там жили молодые аспиранты с ребенком. Я опоздал к условленному сроку, потому что в этот день была общеуниверситетская эстафета или что-то в этом роде. Я пробежал десять километров по Кировским островам и теперь едва чуял под собой ноги. А передо мной сидел мой брат Аник, и между нами пролегло долгих шесть лет, война, блокада, его концлагерь, гибель Марка, гибель моего отца... Аник был еще молод и как-то убедительно жилист, но две глубокие вертикальные морщины запечатлели на его лице этот шестилетний срок...

Он рассказывал.

По прибытии в лагерь его определили в бригаду, где бригадиром был уголовник, некий Иван. Определили разнорабочим. В первое же утро, когда бригада ждала выхода на работу, Иван позвал к себе Аника: «Еврейчик, иди-ка сюда...» Аник протиснулся вперед и сказал: «Меня зовут Арон. Арон Мерейнес». «Какое твое образование, Арон?» Аник сказал. «Будешь у меня счетоводом, вроде бухгалтера. Считать объем работ, всё запи-

сывать... Я тебе дам толстую тетрадь». Так Аник стал правой рукой Ивана и под его защитой. «Я был у Ивана, как Шафиров у Петра I», – смеясь, рассказывал Аник.

Постепенно и начальство стройки узнало, что имеет дело с дипломированным специалистом. В конце срока он работал на инженерной должности. Там, в лагере, познакомился с Софой, своей будущей женой, медсестрой лагерной больнички. После освобождения круг городов, где разрешалось жить, был ограничен. Поехали в Ростов-на-Дону. Там у Софы были родичи.

И последнее – с чего всё началось.

Всё началось с выпускного вечера в институте. Марк в то время ухаживал за некой Фаиной. Она имела на него виды. На вечере он крепко выпил, они поцапались, и он весь вечер танцевал с другой студенткой, общедоступной, как сказал Аник, Евой. И ушел с ней. Через день в НКВД поступило заявление от гражданки Фаины: братья Крестинский и Мерейнес (решила – бить, так уж по двоим, чтоб больнее было!) ведут себя не по-советски, рассказывают политические анекдоты, неуважительно отзываются о советской власти, хвалят буржуазную жизнь...

С доносом Аника познакомили после реабилитации в Большом Доме.

Я сказал:

– Напиши повесть про все эти дела...

– Нет, дорогой Каррамба! Помнишь наш прощальный костер? Каждому свое. Кстати, как у тебя – мараешь бумагу?..

Я сказал ему о своих сомнениях и неудачах. Он усмехнулся:

– Не переживай. Ты еще не созрел. Подумаешь, первокурсник!.. Всё придет.

В следующий раз он приехал через двадцать лет. Я подарил ему свою вторую книгу – повесть о детстве. Он прочел и сказал:

– Ты пишешь для детей и невольно сглаживаешь углы. Когда-нибудь напишешь иначе. Так, как было.

Брата моего Аника нет с нами уже давно. Я пишу, как было.

Бат-Ям, май 2004

Семен Гринберг

ВСТРЕЧА

Анатолию Юнисову

1.

Когда на улице заканчивался день
И тени поползли со стороны Ярдена,
Неуловимо преступая грань
Надела Биньяминова колена,
На небеса взошла неполная луна,
На светлом, но отчетливо видна.
И на нее вниманье обратили
Чета Леви с балкона своего.
И больше не случилось ничего,
И окна на домах еще не засветили.

2.

И окна на домах еще не засветили,
И в общем не составило труда
Найти подъезд, но не войти туда,
А сесть вблизи на детские качели.
Вначале
Никто почти не замечал меня,
Дверь хлопала – входили, выходили,
И подошел и попросил огня
Случайный господин в рубашке PICADILLI.

3.

Обычный господин в рубашке PICADILLI
Значительных, по-видимому, лет
В одежду, оказалось, был одет,
В которой больше школьники ходили.

Особым образом, движением руки,
Как бы описывая сигаретой «Прима»,
Зажатой между пальцев щегольски,
Кружок, размером чуть ли не в сажень,
Он одарил меня струею дыма
И кепку протянул, и говорит: «Надень».

4.

Он кепку протянул и говорит: «Надень».
– Как полагается, – и показал рукою.
Я нацепил и отвечал: «Амен».

А персонаж стоял передо мною
В рубашке физкультурного покроя
И чуть ли не в бейсболке набекрень.

5.

Он выглядел в бейсболке набекрень
Не то что странно, как-то непривычно.
А между тем вступили фонари,
Наружу вышли все, кому не лень.
Держу пари,
Меж публики столичной
Я запросто его бы отличил
По говору, движению руки,
По марке сигарет, что мы курили
И по тому, про что он говорил
На разных улицах, на берегу реки
И в тесной комнате, где мы когда-то были.

6.

Когда-то в тесной комнате, где были
Помимо мебели еще и антресоли,
С которых сыпались на стол и на кровать
Коробки, тряпки, чуть ли не опилки,
А наблюдательный сумел бы прочитать
Остаток надписи «Шампунь» или «Шампань»
В окне на приспособленной бутылке,
Из коей высилась сирень или герань.

7.

На подоконнике герани ли сирени
Служили украшением окна,
Был красен стол обилием вина,
И я красив – на джемпере олени.
И разбитной московский говорок
С клубами перемешивался дыма.
Слова катились неостановимо,
Мой собутыльник излагал урок.

8.

О том, в чем состоял его урок,
Признаться, нужен разговор отдельный.
Он упредил меня – из банки самодельной
Доставши ускользающий грибок.
В окошке, между тем, светилась белая гора,
С которой санки, кто скорее,
Укатывались напрочь со двора.
Носки и варежки и прочая мура
Покоились на жаркой батарее,
Распространяючи невидимый парок.
Вот, собственно, и все, что я запомнить смог.

9.

Не так уж много я запомнить смог.
Ту комнату и разные предметы,
И над столом колышущийся смог,
И как чета Леви выходят на балкон,
Вопросы и ответы
В унисон,
И дальние огни Заиорданья,
И наступающую тень,
И несуразное свиданье,
Когда на улице заканчивался день.

10.

Когда на улице заканчивался день,
Но окна на домах еще не засветили,
Случайный господин в рубашке PICADILLI
Мне кепку протянул и говорит: «Надень».

И сам стоял в бейсболке набекрень.
Когда-то в тесной комнате, где были
На подоконнике герань или сирень,
Мой собутыльник излагал урок.
Вот малое, что я запомнить смог.
«Живи, – он говорил, – пока не посадили!».

2004

Зинаида Палванова

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ СЮЖЕТ

* * *

Я свободна врать и не врать.
Прав никтошеньки не заявляет.
Новогодняя ночь заставляет
выбирать, выбирать, выбирать.

Ах, компьютер, ты нынче мой
самый главный тайный наперсник!
Поднимаемся мы на песни,
как на самый последний бой.

Вновь иду прямиком к тебе.
Твёрдый знак на экран вылетает.
Он сомнения прочь выметает.
Грустный сор остаётся в избе.

Ясно: грозен времени ход.
Ясно: хочется или не хочется,
для работы и одиночества
выбирает меня Новый год.

ЦВЕТУЩИЙ МИНДАЛЬ, СНЕГОПАД

То ли деревья в снегу,
то ли земля в лепестках?
То ли я всё могу,
то ли сковал меня страх...

То ли мне предстоит
самое главное спеть?
То ли за всё простит
да и накажет смерть...

В счастье или в беде –
чую, душа жива.
Грозно и грустно везде.
Снежно цветут слова.

* * *

Почему берёт меня тоска?
Вроде всё ведь ничего пока.
Если жалуюсь – пока не верьте!

Жду грядущих неизвестных бед?
Или жду вполне известных бед –
старости, болезней, смерти?

Есть причины, и они просты.
Вся тоска моя от суеты!
Я устала от неё, поверьте.

Не сама бегу – несёт меня,
Лошадь суеты несёт меня
К непонятной небывалой смерти.

Я во сне и наяву кричу,
Что остановиться я хочу.
Я пешком идти вперёд согласна.

Не спеша идти себе пешком,
любоваться всем вокруг тишком.
О, как жизнь без суеты прекрасна!

Я люблю с давнишних детских лет
ширь земную и небесный свет...
Дайте напоследок наглядеться!

Вся краса доступной мне земли –
здесь, перед глазами, там, вдали, –
превращается в деревню детства...

МОДА

Мы поумнели, мы отрезвели.
Стёкла в очках наших отрозовели.
Вдруг среди страхов, раздоров, бед
вспыхнула мода на розовый цвет.

Всюду я вижу цвет этот яркий –
нежный, отважный, молоденький, маркий.
В мире, где я непременно умру,
тучка такая плывёт поутру.

Небо закатное розово тоже...
Шкаф распахну я. Что выбрать? Похоже,
я нерешительно, но предпочту
глупую радость, простую мечту.

* * *

Поднимаю сломанные ветки,
подбираю павшие цветы,
в банку ставлю эти биоклетки
бедной красоты.

Жалостью над ними нависаю,
умоляю выжить, расцвести.
Иногда на пару дней спасаю.
Невозможно навсегда спасти.

Объясни мне, мой Творец, Господь мой,
мне, родившейся за непроглядной Потьмой
отчего к спасенью эта страсть?
Мне ведь и самой дано пропасть.

Видно, в местности той изможднной
столько тьмы скопилось в годы те,
что любой ребёнок, там рождённый,
был заначкой света в темноте.

Видно, столько муки неизвестной
залегло навеки в том лесу,
что бессмертье жизни поднебесной
я в себе нечаянно несу.

Не в потёмках, а в потомках – предки...
Дни мои стремительно просты.
Поднимаю сломанные ветки,
подбираю павшие цветы...

* * *

Первое, что помню про себя,
первое, что врезалось... Короче:
я уже на свете, но ещё
маленькая очень.

Мама моет пол, а мы с отцом –
на кровати. Не видны мне лица.
Развернул газету мой отец.
За ребёнка мать моя боится.

В прорезь памяти лишь комната видна.
Месяцев – не лет! – и то мне мало.
Мама моет пол. Отец заснул.
Я упала.

Господи, куда упала я?
Я не помню ужаса и боли.
В жизнь бездонную, в короткие стихи –
что ли?..

* * *

Ход времени сух и точен.
Настанет – проси, не проси:
Уедешь ты среди ночи,
Сама провожу до такси.

Минута – и жизнь опустела,
и дом замолк, опустел.
Душа заболит, как тело,
Душа почует предел.

А утром поверю снова:
я счастлива, я в седле.
Я знаю заветное слово.
С ним весело мне на земле.

Такое не раз бывало –
я просто опять одна.
Как щедро я тосковала
в студенческие времена!

Теперь я скупо тоскую.
Нет времени на тоску.
Приставлю счастье к виску я
и рухну на всем скаку.

Яков Лах

«ВЕРНИСЬ, ОБЕРНИСЬ, ШУЛАМИТ...»

Заметки переводчика «Песни песен»[1]

1

Со времён нашей самиздатовской молодости машинописная копия стихов и, тем более, серый листок с «Эры» кажутся подлинней типографски изданной книги в толстокожем переплёте. А тут – копия, выполненная по знакомству в отделе редких книг Российской государственной библиотеки (б. Ленинская или Румянцевская – как вам милее), да ещё с ятями да ерами: «Левъ Ярошевскій. Песнь песней. Въ стихотворномъ переложеніи с Библейскаго текста. Подъ редакціей и с предисловиемъ М. А. Кузмина. Петроградъ. 1917».

На титульном листе – наискосок – штемпель «Ан. Тарасенков» (имя известного библиофила, из коллекции которого книга и попала в библиотеку), а на обороте – гриф: «Дозволено военною цензурою, Петроградъ, 9 января 1917 г.», то есть перед нами, в сущности, одна из последних книг, изданных в царской России. (Заметим, что следующий перевод увидел свет лишь через полвека – советской литературе было не до «Песни Песней»).

Работа Л. Ярошевского явно понравилась поэту М. А. Кузмину, который в своём предисловии писал: «Нам трудно смотреть на священную книгу иначе, как с богословской, догматической или этической точки зрения, нам трудно воспринять всю поэтическую свежесть и прелесть книги, к которой мы привыкли относиться только с уважением. Нам хочется искать глубокого иносказательного смысла там, где, может быть – только глубокое и подлинное лирическое дыхание... Мне кажется, что всё это ниже того простого, вечного романа, откровенно страстного и невинно чувственного, между Суламифью и её возлюбленным, который выражен в такой естественной и вместе с тем странной форме лирического диалога и простонародной песни... И может быть, появление «Песни песней» в чисто поэтическом наряде заставит вспомнить эту жемчужину...»

Вот несколько деталей этого наряда. Начало первой главы:

Поцелуями уст
Поцелуй ты меня!
Милый, ласки твои
Мне приятней вина!..

---

[1] «*Песня песен*», перевод и комментарий Якова Лаха, Иерусалим, «Филобиблон», 2003.

Ароматны масла,
Твоё имя – елей,
Оттого-то для дев
Ты меж всеми милей!..

И в завершение главы:

Ты прекрасен, мой друг,
ты приятен, мой друг,
Наше ложе двоим –
зеленеющий луг!..

Приходи, кипарисы
и кедры нас ждут...
В их аллеи, как в дом,
два влюблённых войдут!..

Достоверных сведений о Льве Ярошевском не сохранилось, хотя намёк на его дальнейшую судьбу содержится, возможно, в том, что книга эта переиздавалась в Одессе (1919) и Вене (1921). Мне кажется, что был он в те годы человеком молодым – сужу не по стихам, а по пылким заметкам «От переводчика», в которых он даёт следующую трактовку поэмы:

«...разбираясь в целом лабиринте полусхоластических софизмов большинства комментаторов-ортодоксов, приходишь к выводу, что это сплошной хаос передержек и ошибочных догадок, красной нитью пролегающих по всем их произведениям, < ... > полным < ... > нагромождениями неясных фраз и наивных ссылок. ...Читая эти «комментарии», < ... > приходишь к ясному, вполне определённому решению: чем проще подойти к поэме, чем непосредственней < ... > вникать в смысл каждой её строфы, тем понятней становится текст «Песни песней» и тем рельефней и законченней вырисовывается её столь примитивная фабула, целомудренность вложенной в её образы морали и чистой проповеди здоровой эротики!..

И вот, исходя исключительно из этой точки зрения, воображению внимательного читателя легко представляется следующая фабула.

Рыжеволосая красавица-пастушка Суламифь, жительница Галаада, богатого виноградниками, имела возлюбленного, неизвестного по имени ровесника-пастушка. Частые их свиданья, во время которых она, вероятно, оставляла своё стадо без присмотра, вызывали негодование её старших братьев, простодушных крестьян-виноградарей, которые, в конце концов, убрали её с вольных пастбищ подальше от дружка и приставили стеречь виноградники. Но любопытная и подвижная девушка временами отрывалась от скучного дела и забегала в ближайший ореховый сад поглядеть *«на зелень потока... цветут ли деревья и лозы, расцветает ли гранат...»*, а порою она с такими же шаловливыми подружками выбегала на дорогу посмотреть на царский проезд, на молодого красавца царя, народного кумира. Во время одного из таких царских проездов Суламифь, выделявшаяся среди подружек красотою, была замечена женолюбивым царём...

Попав в гаремный плен, < ... > дитя лугов и пастбищ жизнерадостная Суламифь загрустила. Тоскуя по милому, она не то в грёзах, не то в свободной песенной импровизации вспоминает дорогие ей минуты свиданий с другом сердца, его внешность, его поцелуи, ласки, восторженные похвалы её красоте, торопит его, представляет себе, как, подобно скачущему оленю или резвой газели, он спешит с гор к ней на помощь... Вот она уже слышит его голос... он уже стучится в её двери... Она до того смущена внезапностью его прихода, что не знает, как ей быть: одеть ли второпях свой хитон или раздетой броситься ему навстречу... Но... как же замарать только что вымытые ноги?.. Милый волнуется в нетерпенье: он уже просунул руку в дверную скважину... и она бросается поскорей открыть ему... Но его нет... этого быть не может: ведь она сама *«его за дверью слыхала»*!

Она обходит городские площади, базары, все улицы, и хотя однажды ей кажется, что она его нашла, ...выясняется, что это не больше, чем плод её фантазии... Задержанная ночною стражей, избитая, израненная и водворённая обратно в гарем, Суламифь ещё сильнее тоскует по милому, рисует пленительные картины их встречи на лоне природы, где она обещает отдать ему *«все свои ласки»*. Она скорбит, что он не брат ей родной... Но, ничего не зная о нём, она заклинает подруг своих *«поискать друга сердца»*, самого прекрасного среди всех юношей, и при встрече сказать ему, что она *«больна любовью»*!.. Попутно она подтрунивает над своими братьями, которые, считая её ребёнком, не созревшим для роли невесты, в то же время сомневаются в её целомудрии. С насмешкой она отметает оба сомнения:

Но я – стена, мои две груди
Как башни две ...

Она сравнивает себя с цветущим виноградником царя Соломона, но уверяет, что её виноградник при ней, ибо *«любовь за деньги нельзя приобресть!..»*

Вдруг слышится голос милого, зовущего её к себе. Должно быть, не может он вырвать её из гаремной неволи... И стоном, тяжёлым вздохом, полным безнадёжной тоски и отчаянья, заканчивает Суламифь свои песни, навеки прощаясь с возлюбленным:

Беги, мой друг, и будь подобен
Газели быстрой на холмах,
Или оленю молодому –
На бальзамических горах...»

2

Лев Ярошевский принадлежит к тем чутким и азартным читателям, которые пытались непременно разгадать любовную историю, лежащую в основе «Песни песен»[2]. Как же иначе – весь наш чита-

[2] Этот простой и точный вариант названия лучше вяжется с новым переводом, чем известная форма «Песня песней», которая, впрочем, сохранена в большинстве цитат, приводимых в очерке (Я. Л.)

тельский опыт подсказывает, что в большом по размеру стихотворном произведении должна быть фабула, в этой же древней поэме она неясна, но стихи прекрасны, образы повторяются, слегка изменяясь, как бы оглядываются и манят за собой вглубь сада, а там, кажется, в цветах и листьях явлены рука и замысел садовника...

Не только светские читатели эпохи Просвещения находили романтические сюжеты в «Песне песен», но и многие религиозные комментаторы, тексты которых Л. Ярошевский столь темпераментно отвергает, выводили свои захватывающие дух аллегории (любви между общиной Израиля и Всевышним) из найденной ими в тексте некоей любовной истории.

Свежий пример: Юваль Шарло в своём обширном исследовании «Песни песен», изданном на иврите год назад, предпринял попытку расположить содержание всех стихов во временной последовательности. Получилось связное повествование, описывающее перипетии любви пастушки из Эйн-Геди и Иерусалимского царя, становление совершенной супружеской пары: грусть, ожидание, страстные встречи и разлуки, размолвки и примирения – до их свадьбы, но и после неё. Этот опыт описания внутреннего мира героев в его развитии напоминает указания режиссёра актёрам-исполнителям главных ролей в психологической драме.

Можно привести и более яркие сюжеты. Известный толкователь Библии и Талмуда МАЛБИМ (Меир Лейб бен Ихиэль Михаэль), живший в XIX веке, рассматривает «Песню песен» как повествование о душе царя Соломона, но для начала этому предпослана притча:

«...книга песен о том, как царь Соломон любил одну из своих жен, красивейшую из женщин, заключил ее в царском дворце и приставил к ней для надзора дев Иерусалима. Но любила она друга своего, пасшего стадо в пустыне, и убегала пять раз из дворца к нему, четыре раза ее возвращали, но на пятый – не смогли удержать, она ушла и больше не вернулась...»

А вот отрывок из предисловия великого РАШИ (рабби Шломо Ицхаки из Труа, XI век) к его знаменитой работе о «Песни песен»:

«...несчастная женщина, соломенная вдова, она душой исходит по мужу, надеется на милого, хранит неизменно любовь к нему и сознает совершенные ею проступки; муж сочувствует ей и помнит ее любовь, прелесть юности, красоту и праведность деяний, потому и связан с нею узами сильной любви; знак подает, что из сердца ее не выкинул, услать от себя не услал, и она ему жена, и он ей муж и еще к ней вернется».

Обилие вариантов толкования «Песни песен» может навести на «еретическую» мысль: существует ли вообще фабула у этого произведения?

Научное изучение текста поэмы началось ещё в XIX веке, и к середине века XX стали считать, что стихи эти написаны в разные периоды первого тысячелетия до н. э. (т. е. перу одного автора принадлежать не могут) и представляют собой не сюжетную поэму, а сборник свадебных песен древних евреев, при этом царём Соломоном величают жениха. Русский стихотворный перевод, выполненный известным восто-

коведом И. М. Дьяконовым и изданный в 1973 году, отражает эту концепцию. Однако теперь, обнаружив глубокую связь «Песни песен» с любовной поэзией разных мест Древнего Востока (угаритской, аккадской, египетской), это произведение рассматривают как сборник любовных, часто эротических стихов, созданный не позднее III века до н. э искусным составителем по некоему замыслу.

Но по какому? Кажется, что, описав таким образом круг, всё вернулось к проблеме разгадки замысла, которая ещё во II веке н. э. волновала рабби Акиву; полагают, что именно он выдвинул аллегорическую трактовку «Песни песен» в доказательство её святости, а также изрёк: *«Все песни святы, но Песня песен – святая святых»*. Читатель, уверовавший в то, что в поэме речь идёт о Всевышнем и Общине Израиля, с волнением и непреходящим интересом знакомится с ней на всех традиционных уровнях изучения – от буквального прочтения *(пшат)* вплоть до мистического озарения *(сод)*. Читатель же светский, мне казалось, и в наши дни обречён на чтение всего лишь сборника старинных песен, если он не...

Абрам Эфрос, автор первого поэтического (вне Библии) русского перевода, писал: *«Понять «Песнь песней» – значит понять в себе любовь»*, то есть, читая, узнавать в происходящем с героями поэмы своё собственное чувство, мечту или воспоминание о былом.

Тому, что могло происходить с персонажами «Песни песен», посвящён в книге целый раздел, названный «Объяснение в любви». В нём десять сюжетов, увиденных в поэме её читателями со времён рабби Акивы до наших дней, и среди них – современная версия художницы Ольги Рубиной. Этот сюжет, напоминающий оперное либретто или теленовеллу, возник у Ольги после наших споров о смысле одного из стихов поэмы задолго до того, как я взялся за перевод, а она – за оформление книги; впоследствии, помещая пересказ этой версии в начале раздела, то есть перед трактовками знаменитых писателей и законоучителей, я тем самым дал понять читателю, что и он вправе увидеть сюжет по-своему.

3

Идею желательности собственной читательской версии сюжета для лучшего прочтения «Песни песен» я «продавал» всем своим знакомым и незнакомым, с которыми встречался по поводу вышедшей книги, до тех пор, пока один из них вежливо не спросил: «А в чём состоит ваша версия?»

Этот вопрос застал меня врасплох. Версия-то у меня была, но недодуманная до конца и ни разу полностью не рассказанная даже самому себе. Главной целью моей работы был перевод, вырываясь из объятий необъятного, я пользовался лишь наиболее известными трактовками, религиозными и светскими. Но прав был спросивший и уместно прозвучало его предложение – мол, теперь, когда книга вышла в свет, пусть и автор перевода внесёт свой читательский вклад в интерпретацию «Песни песен».

Моя «недодуманная» версия прорастала из ощущения, что автором «Песни песен» всё же был царь Соломон или поэт из его окружения, писавший для него. Замеченные исследователями анахронизмы в тексте (персидские слова, арамейские выражения, город Тирца как столица и пр.) меня не смущали, я подозревал в них вставки и изменения, внесенные переписчиками на протяжении тысячи лет – от момента написания поэмы и до включения её в Библейский канон. И другие старинные неканонические тексты известны в разночтениях, которые (и это очень важно) не исказили их основного содержания – древний мир верно хранил предание. С другой стороны, из текста можно понять, что, хотя Соломон несколько раз упомянут в поэме, но героиня вовсе не влюблена в него. В гл. 3, ст. 10 сказано, что в роскошном паланкине любвеобильного царя *«выстлано всё любовью девушек Иерусалима»*, но героиню, которая знает, что *«ревность, как ад, тяжела»* (гл. 8, ст. 6), это ничуть не трогает. Там же (гл. 8, ст. 12) она как бы даже его отвергает: *«Виноградник же мой – со мной, а тебе, Соломон, твоя тысяча...»*. И хотя в начале поэмы говорится *«в покои я царские приведена...»*, но царь этот, может быть, вовсе и не Соломон. Но кто же тогда?

Вот краткое изложение эпизода из библейской «Третьей книги царств», который содержит, возможно, правдоподобный ответ:

Из главы 1

И достиг царь Давид преклонных лет, и укрывали одеждой его, но не мог он согреться. И сказали слуги ему: пусть поищут для царя юную девушку, и станет теплее царю, господину нашему.

И искали красивую девушку во всех пределах Израильских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели её к царю. И была она очень красива, и ходила за царём, и прислуживала ему, но царь не познал её. Адония же, сын Хагит, возгордившись, сказал: Я стану царём! И завёл себе колесницы и всадников и пятьдесят человек скороходов... Он был очень красив, и родился у Давида после Авессалома...

И заколол Адония овец и быков на камне Зохелет у ручья Рогель, и позвал он братьев своих, сыновей царя, со всеми царскими слугами Иудейского племени. А пророка Натана и Беная, и воинов Давида, и Соломона, брата своего, не позвал. И сказал Натан Бат-Шеве, матери Соломона: слышала ли ты, что Адония, сын Хагит, сделался царём? А господин наш Давид и не знает о том. Теперь я советую тебе: спасай свою жизнь и жизнь сына твоего Соломона...

Вошла Бат-Шева в царскую спальню, а царь сильно постарел и Ависага Сунамитянка ухаживала за ним. И поклонилась Бат-Шева царю, и царь спросил: что тебе? Она сказала ему: господин мой царь! Ты клялся рабе твоей Господом, сказав, что «сын твой Соломон будет царствовать после меня...» А теперь вот воцарился Адония, а ты и не знаешь об этом. И велел царь Давид... и пошли священник Цадок и пророк Натан, и посадили Соломона на царского мула и повели его к потоку Гихон, и там Цадок помазал его на царство. И затрубили трубы, и весь народ возглашал: да здравствует царь Со-

ломон! И услышал Адония и все, приглашённые им, и спросил: отчего так волнуется город?.. И отвечал ему Йонатан, сын священника Эвьятара: вот, господин наш царь Давид поставил Соломона царём... Тогда испугались и встали все приглашённые. Адония же, боясь Соломона, встал и ушёл, и ухватился за рога жертвенника. И послал царь Соломон, и привели его... И он пришёл, и поклонился царю Соломону; и сказал ему Соломон: иди в дом свой...

Из главы 2

...И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твёрдо. И пришёл Адония, сын Хагит, к Бат-Шеве, матери Соломона... И сказал: ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры как на будущего царя, но царство отошло от меня и досталось брату моему... Теперь прошу тебя, скажи царю – пусть отдаст мне в жёны Ависагу Сунамитянку. И вошла Бат-Шева к царю Соломону говорить об Адонии... И сказала: дай Ависагу Сунамитянку Адонии, брату твоему, в жёны. И отвечал Соломон матери своей: зачем ты просишь Ависагу Сунамитянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат. На свою погибель сказал это Адония... И послал царь Бенаю, сына Еодаева, чтобы поразить его, и он умер...

4

В «Песне песен» героиню называют *а-шуламит* («*а-*» – определённый артикль), то есть это не имя, а прозвище, и можно предположить, что одно из его значений – принадлежащая *Шломо* (Соломону), иногда же связывают его с *Авишаг а-шунамит* (Ависагой Сунамитянкой)[3]. Между библейским рассказом о последних днях Давида и текстом «Песни песен» существует достаточно точек касания, чтобы навести на след возможного сюжета.

Легенда о Соломоне гласит: юноша написал песню, взрослый – притчи, старец – откровения проповедника; это – мнение большинства, но среди толкователей библейских текстов находились и такие, которые утверждали противоположное: мысль и воображение юноши забегают вперёд, он хочет видеть себя умудрённым жизнью и пишет «Экклезиаст», старец же в сердце своём воскрешает юные страсти и слагает «Песню песен».[4]

А может, и того острее. Соломон был многолюбив и счастлив в любви, за него отдали дочь фараона, он принимал у себя во дворце

---

[3] На это указывает, например, современная израильская «*Энциклопедия микраит*» со ссылкой на исследователя Библии Тур-Синая, ту же мысль мы находим и в «*Еврейской энциклопедии*» Брокгауза-Эфрона начала прошлого века. (В обоих изданиях см. статью «Шуламит»).

[4] Дискуссия на эту тему между рабби Хия и рабби Йона (IV век н. э.) упомянута в «Мидраш Раба».

необыкновенную женщину – царицу Савскую; согласно «Песне песен», кроме девушек Иерусалима, любовью которых, как мы уже знаем, был выстлан его паланкин, к его услугам был и гарем. Он был красив, мудр и велик, долго и мирно царствовал, и многое испытал. Одного, по-видимому, пережить ему не пришлось – любви, за которую можно и жизнь свою положить, хотя жизнь его подданных была у него в руках и, не колеблясь, он её отнимал, особенно в начале своего царствования. В «Песне песен» описано такое чувство – любовь Ависаги, девушки из города Сунам, что у горы Гильбоа, и Адонии, которого велел умертвить как изменника и опасного для себя претендента на царский престол.

У Соломона были к тому серьёзные основания: ведь тот, кто спит с женой покойного царя, в глазах подданных и сам немного царь. Не зря его брат Авессалом, восстав против Давида и изгнав того из дворца, прежде всего вошёл в отцовский гарем и спал с его наложницами, позаботившись о том, чтобы об этом стало известно. Соломон, конечно, понимал, что означает отдать наложницу Давида в жёны старшему брату, и на эту просьбу своей матери Бат-Шевы отреагировал быстро и решительно, как узурпатор – на угрозу своей власти. Но, может быть, он напрасно «гнал картину», ведь Адония, обращаясь с просьбой к Бат-Шеве, смирился уже с воцарением младшего брата, признав: *«ибо от Господа это было ему»*. Что это – тонкая игра под прикрытием Божьего имени? Дворцовая интрига с далеко идущими планами? Вряд ли. Господне благословенье вступившему на царский престол воспринималось тогда всерьёз. К тому же Соломон Мудрый не мог не знать, что про Авессалома и наложниц отцовского гарема старшему брату хорошо известно, как и то, что, добиваясь Ависаги Сунамитянки, он рискует жизнью. Знает, но просит её в жёны – видно, есть тому сердечная причина.

Сорокалетнее, благополучное, в общем, царствование Соломона заканчивалось тревожно: военная угроза со стороны Египта, опустошение казны, бунт Иеровоама. Он достиг возраста Экклезиаста, литературного героя, прототипом которого его считают. Нет, не всё суета сует: ни Храм, ни братоубийство, ни любовь, что *«сильна, как смерть»*.

По сведениям, приведенным в «Первой книге Паралипоменон», семейства левитов (священнослужителей), певцов и поэтов во времена Давида занимали почётное место в Иерусалиме, и одной из их обязанностей было «возносить слово Господа перед лицом царя», который также был поэт Божьей милостью.

Многие семьи левитов поселил Давид в административных центрах, число которых во время царствования его сына Соломона достигло сорока восьми. Хорошо известен, например, левитский город Анатот на краю Иудейской пустыни вблизи Иерусалима, где родился пророк Иеремия, потомок жреческой династии Эвьятара, отстранённой царём Соломоном от служения в Храме. В библейском рассказе о последних днях царя Давида священник Эвьятар упомянут как сторонник Адонии, в то время как пророк Натан и священник Цадок поддерживают Соломона и его мать в борьбе за престол.

Автор «Песни песен», даже если и не был самим царём Соломоном, скорее всего, принадлежал к левитам-песнопевцам, придерживался их поэтической традиции (подтверждение тому можно обнаружить в сходстве образов и выражений «Песни песен» с другими текстами Библии) и был осведомлён о том, что происходит в царском дворце; не забудем, впрочем, что писал он не придворную хронику, а поэму о любви.

«Песня песен», должно быть, задумана была как аллегория: возлюбленный – вовсе не пастух, а девушка – не пастушка (последнее её занятие связано с виноградником, но и это, мне кажется, – иносказание); поэма посвящена любовным переживаниям героини, написана от её лица, и даже те строки, которые произносит возлюбленный, кажутся её пересказом.

Героиня вовлечена в события, хода которых она не представляет, ей лишь под конец открывается их трагический исход. Вероятно, и сам поэт не знал этой истории в том виде, в котором она известна нам, ведь библейские легенды во времена Первого Храма передавались изустно и были записаны лишь через несколько веков. Поэтому не приходится ожидать полного наложения текста «Песни песен» на библейский рассказ о последних днях Давида и начале царствования Соломона – совпадают лишь отдельные события и обстоятельства, но существенно то, что поэма не содержит ничего, что противоречило бы предлагаемой версии.

Начинается «Песня песен» картиной радостного воодушевления: все девушки вокруг влюблены в того, чьё имя *«маслом течёт»*, они готовы бежать за ним, и с ними наша героиня, которая лишь вскользь замечает, что она *«в покои царские приведена»* (гл. 1. ст. 3-4). Её мучают сомнения – *«черна я, но хороша... не глядите, что я смугла... братья со мною суровы, приставили к виноградникам, остался мой без призора*[5]*»* (гл. 1, ст. 5-6).

Как известно, та, что скрасила Давидову старость, *была очень красива* и тот, *чьи ласки слаще вина*, её, конечно, заметил. Договариваясь о свидании, она спрашивает, где можно его найти; он же советует: *«козлят паси у пастушьих шатров»* (гл. 1, ст. 8), чтобы не привлекать внимания.

Они встречаются, *«когда царь у себя пировал»* (гл. 1, ст. 8, 12). Он сулит ей дорогие украшения и осыпает восторженными, даже несколько вычурными комплиментами: *«Кобылицей из выезда фараона воображаю тебя»*; героиня же непосредственна и откровенно чувственна: *«Мой милый связкою мирры ночует между грудей»* (гл. 1, ст. 9, 13). Всё начиналось любовными грёзами героини (*«Напои меня поцелуем...»*), и теперь в роще под кронами кедров, в тени кипарисов желания её сбываются: *«Ты хорош, милый мой, и пригож, и зелено наше ложе»* (гл. 1, ст. 1, 16).

Запертая во дворце с дряхлеющим царем, героиня тяжело переносит разлуку с любимым, она *«любовью больна»* и просит *«девушек Иерусалима»* ей помочь: *«Сластями меня подкрепите, яблоки при-*

[5] Виноградник, согласно «*Таргум Ерушалми*» (21.22) – метафора женщины.

ложите...» (гл. 2, ст. 5). И когда он появляется и зовёт её, потому что чувствует – для него *«зима позади... пора соловья наступила, и горлица в нашем краю воркует»* (гл. 2, ст. 11-12), ей выйти к нему нельзя из-за *«лисиц, малых лисят, что нашей лозе вредят..»*. (гл. 2, ст. 15).

И снится по ночам один и тот же сон: обходит она весь город в поисках любимого, расспрашивает о нём сторожей, и вдруг – вот он! Обнимает его, из рук не выпускает, приводит к матери в дом и, желая, чтобы сон длился, заклинает девушек Иерусалима не *«не будить, не тревожить любовь...»* А они восторженно любуются ею: *«Это кто из пустыни восходит...»* (гл. 3, ст. 5-6).

И вот главное событие поэмы (гл. 3, ст. 7-11):

Вот ложе царское Соломона,
вокруг шесть десятков воителей,
героев Израиля.
Все они при оружии,
обучены ратному делу...
Выходите, смотрите, девы Сиона,
на царя Соломона
в короне, что возложила
мать на него
в день праздника сердца
в день свадьбы его.

Это вовсе не свадьба, а помазанье на царство – кому, как не матери, обязан Соломон царским своим венцом! Так неожиданно завершается третья глава, самая короткая в поэме.

Но героиню занимает пока иное, ей слышатся горячие признания возлюбленного (вся четвёртая глава); это прекрасные строки (может быть, лучшие во всей любовной лирике на иврите), полные нежности и желания – в последнем стихе девушка зовёт северный ветер (эротический символ в поэзии Древнего Востока), надеясь, что *«милый в сад свой придёт, драгоценный отведает плод»* (гл. 4, ст. 16). В первом стихе следующей главы он успевает ещё ей ответить: *«В саду я, сестра, невеста моя, мирру собрал и бальзам, отведал сотовый мёд...»* – это про неё; и там же – про пир, который задал своим товарищам у ручья Рогель, возле большого камня Зохелет: *«...выпил вина и молока, ешьте, милые, допьяна пейте, друзья!»*, но...

5

В древнем каноне «Песня песен» не была разделена на восемь глав, как это принято сейчас, а только на две части[6], и первая – радостная, как первая любовь, этим пиршеством (гл. 5, ст. 1) и заканчивалась. На события, происходящие во второй части, ложится тень трагедии: *«Я сплю, но сердце не спит... Отвори, сестра... Моя голова в росе, на кудрях ночная влага»*. Это призрак её возлюбленного: *«Он*

[6] По данным современного израильского комментатора Амоса Хахама.

руку протиснул в щель у двери, и всё во мне задрожало». Она помедлила, *«и мирра стекала с рук, с пальцев капала влага на скобы замка»* (гл.5, ст. 2, 4-5), а когда отворила, виденье исчезло... Как и в прошлых снах, она ищет милого и не находит, встречает городскую стражу, но на этот раз сторожа избивают и унижают её. Зловещий сон.

Далее действие поэмы движется на колёсах повтора – уже известные образы при новом повороте означают иное. Прежде героиня заклинала девушек Иерусалима не будить, не тревожить её любовных грёз, теперь же, в предчувствии потери, заклинание звучит по-другому: *«если милого вы найдёте, расскажите ему, что я любовью больна»*, и описывает она своего возлюбленного во всём его царском великолепии (гл. 5, ст.8, 11-15) – с головы (*«золотой самородок»*) до ног (*«мраморные колонны на золотом постаменте»*). Вряд ли, следуя такому описанию, девушки Иерусалима нашли бы его, но он появляется сам и взволнованно произносит: *«глаза свои отведи, от них я в смятеньи»* (гл. 6, ст. 5), во дворце *«шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц, и девушкам нет числа...»* и среди них – *«она... одна, голубка, дитя, единственная у мамы, свет очей родимой своей»* (гл. 6, ст. 8-9).

Ясно, что его возлюбленная по закону принадлежит царю, и всякое посягательство на неё грозит смертью, и потому, волнуясь и сбиваясь, к прежним похвалам он добавляет новые: она величественна и прекрасна, как столичные города Ерушалаим и Тирца, величава и даже грозна, как небесные светила...

Девушка спускается к ручью посмотреть на зелёный тростник, на цветенье лозы и граната, она *«себя позабыла, сердце своё положила на колесницу...»* – далее в оригинале следует имя владельца колесницы – *Ами Надив* (гл. 6, ст. 12), что означает *щедрый, знатный, почитаемый народом*. Вспомним – по библейской легенде Адония *завёл себе колесницы и всадников, и пятьдесят человек скороходов.*

Комментаторы, усмотревшие в *а-шуламит* библейскую *Авишаг а-шунамит* из-за созвучия этих прозвищ, лишь прикоснулись к драме, одна из сцен которой разыгрывается на празднике во дворце или под его стенами. Наша героиня танцует с другими девушками, и те просят обернуться и взглянуть на них. Они знают, конечно, её имя, но называют *а-шуламит* – принадлежащая *Шломо* (царю Соломону). Что это – хвала или хула? Восхищаются ли они её успехами во дворце или язвят по поводу любви к поверженному претенденту на престол?

Отвечая, она как бы заслоняет ладонью лицо: *«Что вы нашли в Шуламит, плясунье из хоровода?»* (гл. 7, ст. 1), и далее следуют девять стихов-откровений неизвестного юноши из веселящейся публики. В них мы не находим ни обращений *«подруга, невеста, сестра»*, ни образов овечек и горлиц, что свойственно признаниям её возлюбленного; здесь *«округлые бёдра... лунной чашей пупок... живот как пшеничный сноп»* (гл. 7, ст. 2-3), это уже лексикон любви сладострастной и откровенных эротических фантазий (гл. 7, ст.8-9):

Подобен пальме твой стан,
а груди – кистям винограда.

Мне бы на пальму влезть,
за ветви её ухватиться,
вот и груди твои –
виноградные гроздья...

Кем бы ни был этот поклонник из толпы, он знает, кому по праву принадлежит эта девушка (гл. 7, ст. 5-6):

...глаза – водоёмы в Хешбоне
у городских ворот,
а лицо – вершина Ливана,
что к Дамаску обращена.
Голова на плечах – Кармель...
царь кудрями пленён.

Поток жарких восхвалений прерывается её откровенным ответом: *«Милому я отдана, и ко мне его страсть»* (гл. 7, ст. 11). Она мысленно обращается к любимому (гл. 7, ст. 12-14):

Давай же в поля уйдём
и заночуем в травах.
...там я ласки тебе подарю.
Мандрагор аромат источает,
и сахарные плоды,
свежие, да и прежние,
припрятала я для тебя.

Этим призывом завершается предпоследняя глава, а начало восьмой – о том, как отнеслась героиня к происшествию на празднике (гл. 8, ст. 1):

Были б мы братом-сестрою
от материнской груди,
встречала бы, целовала
и никто бы меня не стыдил.

Далее в тексте финальной главы повторяются, немного изменившись, три стиха из разных мест поэмы и эти воспоминания о возлюбленном приводят героиню к истоку его жизни (гл. 8, ст. 5):

Под яблонею тебя разбудила,
здесь ты на свет появился,
здесь тебя мать родила.

А потом – знаменитые строки о любви и смерти (гл. 8, ст. 6-7):

Печатью на сердце меня положи,
печатью на руку,
ибо сильна любовь, как смерть,
ревность, как ад, тяжела...

Наводненья
не смогут любовь погасить,
полноводные реки не смоют...

Прочитавшие «Песню песен» как поэму о сладостной и счастливой любви Соломона и Суламифи или как сборник древних свадебных песен обычно не находят связи этих стихов с остальным текстом, считая их случайной вставкой, взятой из иного, до нас не дошедшего, древнего произведения. А ведь здесь героиня идёт навстречу надвигающейся трагедии! Появление простодушных братьев (гл. 8, ст. 8) выглядит комической разрядкой:

Наша сестра мала
и нет у неё грудей,
что же мы ей подарим,
когда женихи нагрянут?

Она же ошеломляет их сообщением о возлюбленном, но достаётся и Соломону, доверившему свой виноградник сторожам (гл. 8, ст. 12): *«Виноградник же мой со мной, а тебе, Соломон, твоя тысяча...»*

«Обитающей в садах» (т. е. запертой во дворце) удаётся в последний раз увидеть любимого – он является со своими товарищами, с которыми ещё недавно носился на колесницах и пировал, и зовёт: *«Друзья услышать тебя хотят, отзовись!»* А она ему в ответ: *«Беги!»*.

6

Видимо, Ависага уже знает о том, что судьба Адонии решена – последний стих поэмы выглядит так: *«Любимый, беги, будто олень или газель молодая на благовонных холмах»*. Эти «благовонные холмы» перекликаются с мечтами героя о возлюбленной, когда он отправлялся *«на гору душистой мирры, на холм ароматного ладана»* (гл. 4, ст. 6). В конце поэмы путь этот, но уже без мирры и ладана, становится для него последним.

Ни Адония, ни Ависага более в библейских книгах не упоминаются. Из агадической литературы известно, что Адония был храбрым воином богатырского сложения и дружбу водил с людьми воинственными; многие опасались, что вступив на престол, навлечёт он войны на Израиль. Она же слыла «красивейшей из женщин» своего поколения, четвёртой из двенадцати красавиц за все времена – сразу же после Сарры, Евы и Ревекки и *«была достойна стать царицей за свою красоту»*. Но после гибели Адонии имя Ависаги и в «Агаде» более не упоминается.

Март 2004, Беэр-Шева

Валерий Слуцкий

EXODUS

НАДЕЖНОСТЬ

В своем труде со дня весьма былого
Без мамы я уверен быть не мог.
«Встречай! – оповещал дверной замок, –
Снимает плащ эксперт по части слова».

«Прочти», – спешил я. То же и теперь.
Нетерпеливо отворяя дверь,
«Прочти», – ее прошу, усвоив четко –
Нахмурился эксперт – не спорь, а верь.
Была, потом поймешь, недоработка.

4 мая 2002

IMPRESSION

Напротив набережной Сены
Сидим в кафе. Поди, представь!
Из Самарии принесенны
В сей мир, о ком не скажешь, – явь.
Как декорация, условен,
Часы назад переведя,
Он, сотворившись из дождя,
Ветвей и стрельчатых диковин,
Химер, бистро, лоточных книг,
Пенсионера с моськой в банте,
Как бы нашептывает: «Гляньте,
И я исчезну, как возник».

1 января 2003, Париж

ОПЫТ ДЕМОНОЛОГИИ

В конце времен признав, что пойман мной
(А именно – в коробке черепной),
Сатан не отрицал свою сатанность, –
«Не спишешь первородного врага, –
Вещал мне совладелец пирога, –
Введи свои протесты в берега –
Я, собственно, не пугало, а данность.

Зажми свое отчаянье в кулак.
Хоть мир – дерьмо, в конечном счете – благ.
Тверди себе: «Взрастаю в колесе я.
Своих глубин познавши нелады,
Пожну, усовершенствуясь, плоды,
Прекрасное и вечное посея».

Прервав (в своем уме) шайтанов скотч, –
«Мне голову, – сказал я, – не морочь.
С чернильницей в другой коробке рыщи,
Какой твоя бодяга дорога.
«Прекрасному и вечному», дружище,
Копыта подобают и рога».
7-18 февраля 2003

EXODUS

По сторонам дверного рубежа
Валялись вещи после дележа
(Забвенью или мне принадлежа).
Исход уже спускался с этажа.
К решимости подвигнутый трубившим
(С разинутым багажником) такси,
Я мысленно скомандовав: «Неси!»,
Движением плеча покончил с бывшим.

Захлопнув дверь движением плеча,
Я спохватился – дескать, сгоряча.
Еще не веря (не было ключа)
Уже непоправимому облому,
Я ручку рвал, ломился в дверь, рыча,
За долей, причитавшейся былому.
26-28 февраля 2003

ЧЕРЕП

Мне дама в белом (прежде просветив)
Вручила (ждал у двери) негатив,
На коем плащаница опускала
Присущее конкретной голове.
Лишь общее высвечивали две
Проекции – улыбки и оскала.

Разбавив удивленьем концентрат
Пытливости, какую аппарат

Будил плодом луча, – «Усопший брат!»
И прочие пугалки и жалейки
Не мог сказать о бывшем головой,
Поскольку емкость мыслилась живой,
К тому же зрел не Йориков, а – свой,
Что ясно понималось из наклейки.

Не следуя канону поперек,
Гласящему: «Почувствовал – изрек»,
Я мыслью озадачился. Не знала
Традиция подобный разворот,
При яркости сентенций и острот
Имея однобокость арсенала.

Скорбеть ли, зубоскалить, падать ниц –
На выбор – содержательных страниц,
Но в смысле куполов и плащаниц,
Где видят дыры собственных глазниц,
На полку за примерами не лезьте.
Случилось в незапамятные дни –
Держал в руках свой купол Сен-Дени,
Однако не сберег на должном месте.

А тут гляжу на собственный сосуд
С позиций, что разумное несут
В конкретности портретного комплекта –
Не к месту, де, «memento mory» весть,
Имею чем смотреть на то, что есть,
Без повода воскликнуть: «Бедный некто!»

1-2 марта 2003

«ШКОДА»

Моим друзьям Эстриным

Я сдался с середины виража
На милость (был напротив) гаража,
Докуда, тарахтя и дребезжа,
На минусе резервов и запасов,
С проблемой полетевшего узла
Амфибия удачи доползла,
Значеньем на спидометре числа
Планету раз двенадцать опоясав.

Заклинь рычаг чуть раньше, дескать – пас,
Глядишь – и парабеллум бы не спас.
Единственно не выбранный запас,

А именно, везенья – по сусекам
Наскреб мазутный космос шестерен,
Что нынче на подъемник водворен
Своим («ийе бэсэдэр») человеком.

То выправясь, казалось, на весу,
То зная, где сдуваться колесу,
Как будто говорившая: «Спасу!»,
Тянула до подмоги иль попутки.
Удерживала руку на руле,
Когда несло к обрыву иль скале.
Не где-нибудь с бензином на нуле –
Вставала за шлагбаумом у будки.

Впряженные в цилиндры сорок кляч
Хрипели, выручая, как тягач.
Количество спасений и удач
Переходило в качество, которым
Мостился путь, коварен и зловещ.
«Нельзя не быть», – доказывала вещь,
Творя везенье шиной и мотором.
9-10 марта 2003

ПРО ДВИЖЕНИЕ

Я бампером уперся в грузовик
(Преграду поспешавшему воздвиг).
Из зеркала с презреньем Голиафа
Разглядывал меня влачитель тонн,
Какие издавали скрип и стон
Бортами бронированного шкафа.

Взлетая мыслью в чаемую даль,
Я продвигался, мучая педаль,
Единственно к отметке перегрева.
Но время, измеряемое в «дцать»,
Над пропастью сулило созерцать
Никак не проезжаемое древо.

Движение в фарватере своем
Удерживал тяжелый на подъем,
Глася с неоспоримостью фургона, –
Продвинуться иначе, как ползя,
(Пространство – дело общее) нельзя
В реальности, закрытой для обгона.
24 февраля 2004 г.

Гидон Эфрат

ТРЕВОГИ АНАТОЛИЯ БАСИНА

Мир теней и затаённой меланхолии

Меня привлекает тёмная живопись Иерусалима. Йосеф Гирш, Раанан Леви, Эли Шамир, Асаф Бен-Менахем, Анатолий Басин. Они для меня – глубокий колодец, из которого я черпаю свою мировую скорбь. Не то чтобы им, не дай Бог, недоставало мировой и личной скорби, но мне они служат – разумеется, непреднамеренно – пропастью-ловушкой, на глубокое дно которой я падаю. И с удовольствием почему-то. Скорбь их идёт мне на пользу. По страданию и воздаяние. Сегодня я погружаюсь в колодец Анатолия Басина.

Началось это в галерее «Дебель», когда впервые – немногим более года назад – тронули меня работы Басина. Я нашёл в них глубокую связь коричневого, льнущего к чёрному, и чёрного, льнущего к коричневому. И там, на тонкой границе между оттенками земли и угля, нашёл я женщин Басина. Наискосок, с кем-нибудь и в одиночку. Одна или две, не более. И стул. Тишина и покой меж теней, всё недвижно и темно. Бестелесные женщины и бестелесные облики. Чёрная линия на плоском коричневом фоне, минималистская живопись, которая чурается деталей, но полна лиризма. И красиво до боли. Здесь проходит тончайшая граница между осмысленным и неосмысленным, здесь внутри великой мглы мерцает и гаснет женский образ. Эротизм тайного открытия. И задним планом может стать подглядывающий бородатый мужчина. «Басин» – отметил я про себя тогда в галерее «Дебель».

«Депрессия» – добавил я про себя. Потому что, видя чёрное, я говорю – депрессия. Такое общее место. И ещё одно: когда я вижу в Израиле коричневое и чёрное, я говорю – земля и уголь. Неважно, что у испанского художника Зурбарана коричневое представляет совершенно иной мир, а француз Коро уходит ещё дальше. Можно понять, почему я – уже тогда, год назад – склонялся к мысли, что обнажённые женщины с подглядывающим мужчиной и эта депрессивная тяжесть тянут в сторону «подглядывающей» психологии сдержанного эроса, заторможенного, весьма отяжелённого. Тоска по женщине и паралич инстинкта. Так мне показалось. Я думал, что понимаю Басина.

---

* От редакции: Эти заметки были опубликованы 20 лет назад в газете «Итон Ерушалаим», но как нам кажется, не потеряли актуальности и сегодня, став, помимо всего прочего, и документом эпохи доброго допостмодерна.

Прошло около года, и ещё до того, как побывал на выставке Анатолия Басина в галерее «Алон», я прочел отличный текст Асафа Бен-Менахема о мире теней Басина – мире тревог и безнадёжности. Бен-Менахем рассказал ещё о знаковой системе Басина, схожей с матиссовской, и я почувствовал, что мне нечего добавить к этим прекрасным словам, я просто-напросто с ними согласен. Теперь, после выставки, я ещё более убеждён в высоком качестве живописи Басина и в затаённости его меланхолии. Его, – я по сей день так считаю. И взбираюсь в квартиру художника на подъёме улицы Бен-Еуда потому, что надеюсь отыскать какой-нибудь новый материал, который позволит обойти то, что уже написано, ибо созрела во мне решимость писать. Теперь, в его жилище, населённом холстами и подрамниками, я изучаю, наконец, Басина и искусствоведение.

Ни разу я не сталкивался с подобным: спрашиваю Басина о Басине, а Басин в ответ – об Осипе Сидлине. Сидлин был его учителем. Еврейский маэстро из Рыбинска, который умер от инфаркта в 1972 году. Но не ранее, чем сжёг почти все свои работы. Осталось всего около десятка. Три из них тут, в квартире художника на подъёме улицы Бен-Еуда. Басин говорит о Сидлине с преданностью ученика любимому учителю и верностью друга или даже родственника. Он показывает мне фотографии работ Сидлина, и я вижу тяжелейший натурализм, тёмный, трагичный, а также изображение черепа. Лишь потом я слышу, что у Сидлина были серьёзные проблемы со зрением, связанные с болезнью сердца. В течение пятнадцати лет Басин учился у него во Дворце искусств в Ленинграде. Вплоть до 1972 года, до самой его смерти. Затем стал там преподавать. «Лучшее, что во мне, получил я от него, – говорит Басин то ли по-русски, то ли на иврите, – его сильный цвет, очень тёмный, монументальный». И когда он показывает мне две картины маслом Сидлина с абстрактной вазой цветов, зеленоватой, вовсе не тёмной, то подчёркивает, что Сидлин не успел их закончить...

Начав разбираться в Басине, я потихоньку убираю своё собственное страдание из этой истории. Понять Басина – означает, прежде всего, понять Сидлина, и это первый из серии уроков, которые я получаю тут сегодня. Потому что связь Сидлин-Басин уводит нас в испанскую живопись – следующий из уроков Басина: «От Сидлина я много слышал об Испании – о Веласкесе, о Гойе. Метод Сидлина был близок к Веласкесу. Себя же я чувствую ближе к Гойе». Коричневый цвет испанцев – это уже нечто иное. Я напоминаю себе: это реализм совершенно особого католицизма, который в XVII веке соединил простоту и скромность иначе, чем католическая живопись итальянского барокко. Этот темно-коричневый цвет вырастает между тенями возвышенной христианской веры и глазами, которые унаследуют землю. Прилепиться к нему означает пристать к двум полюсам – святость и будни. Может быть, это сулит будущее зна-

ние, которое я получу в комнате-студии Басина. Пока ничто не связывается у меня с Матиссом, то есть с острым матиссианством басинских темных колеров. Вот она – новость из области художественной критики: не всё матиссоподобное – Матисс. «Матисс? Нет. В России есть Андрей Рублёв XV века. Матисс как-то сказал молодым русским, которые хотели учиться у него: «Мне бы поехать в Россию, чтобы учиться искусству по картинам Рублёва...» Рублёв повлиял на меня, а не Матисс. Мои друзья в России, насмехаясь надо мной, говорили, что я происхожу из колена Рублёва. Когда-то я употреблял много зелёного – плотного, тёмного, закрытого, близкого к коричневому. Этот зелёный я взял из цвета одежд на картинах Рублёва...»

Если это так, то тут Матисса больше нет. Маршрут культурных странствий пролёг не только в Испании, но и в России (а то как же!). Матисс явился очередной химерой в ряду иллюзий художественной критики по поводу Басина. Мы пишем критику на себя. На собственных плечах тащим наши тяжёлые мешки и высыпаем их на произведения искусства, случившиеся нам на пути. Не торопись, Эфрат, советую я сам себе.

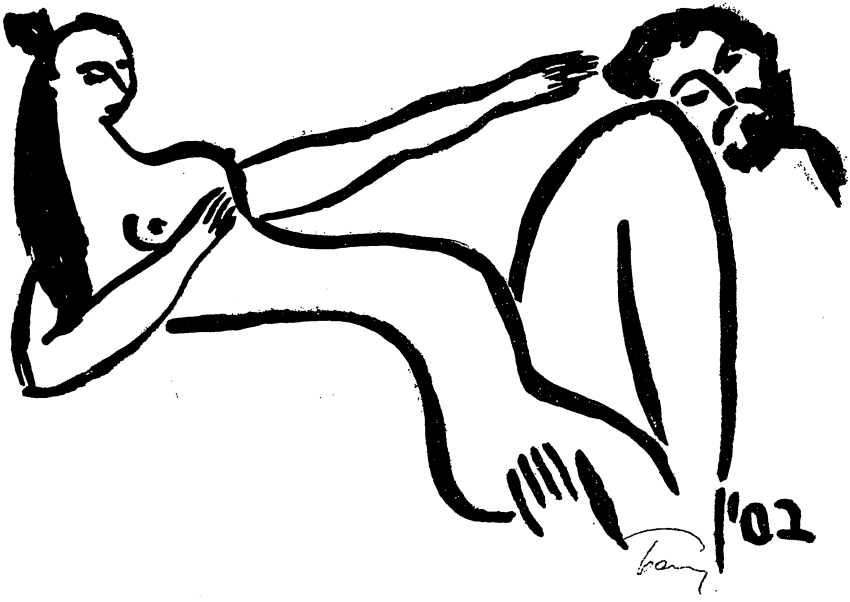
Вдруг после устранения матиссовского препятствия всё устроилось наилучшим образом. Но куда ведут все эти святые пути в пространстве еврейской души Анатолия Басина? И вот я узнаю о Басинской концепции искусства как творения и избавления от тьмы над бездной. Он, оказывается, написал об этом статью. Басин: рождение искусства, как и зарождение человеческого сознанья и языка, – это создание порядка из хаоса. Библейское творение и художественное творчество схожи. Два разных языка, не более того, – говорит Басин. Так встречаются с Богом. Мы – на языке молитвы, он – на языке живописи. Исходная точка – тьма и хаос. Сперва Бог создал хаос. Отсюда и лишь отсюда разовьётся творчество. Из черноты возникнет мерцанье света. Слой за слоем. Точнее, первый слой явится первичным контактом с жизнью: Басин изобразит этот вид – неживую природу, выразит действительность. Во втором слое он отодвинет хаос. Необходимо замарать и затемнить холст, чтобы начать его освещать. До «Да будет свет!» Бог должен повелеть «Да будет тьма!» Так художник умерщвляет предыдущий слой. И лишь потом в третьем слое возникнет новый порядок, новый свет. Теперь – в отличие от первого слоя – это порядок живописный, лирика живописи, свет живописи. Да, свет высвечивается из картины, а не из жизни. Существенная вещь для понимания картин Басина.

А я ещё думал, что он затемняет. Нет, он освещает. Верно, он всегда рисует в мастерской, никогда не выходит наружу. Но всегда при солнечном свете, падающем извне. И только по утрам. Процесс рисования должен закончится до 14.00. Его жена уверяет, что он далёк от депрессии. А я – сам себе: кто ещё далёк от депрессии? Разве битвы против безвидности не гово-

рят о страхе перед тенями и хаосом? И потребность в системе, в языке и в сознании – что это, если не стремление к контакту с миром и желание выйти из камеры-одиночки. Но ведь что-то в нём тянется к мраку, что-то от внутренней мглы. И когда Басин показывает мне картину, написанную маслом в 1960 году, – образ с несколько абстрактной анатомией – охра и темно-коричневый – я знаю, что он уже десятки лет (из сорока восьми лет его жизни) погружён во мглу. Сидлин, Испания, хаос – Басин избрал тень, тень избрала Басина. Он, разумеется, предпочитает этого не касаться, тем более, в беседе со мной. Он скажет о цельности картины, рождающей свет, и тьме-свете как о проблеме неискусства в противовес искусству. Будто тёмные краски всего лишь художественный повод к творчеству. Не душевные состояния, а исследование света: «Мне хочется сделать кое-что в единой логике. Логика чёрного – это одно, логика светлого – иное. Я ищу логику света. Тёмные тона облегчают логику света». А я – сам себе: разве свет не настроение? Тона – не ощущения? Какой цвет у подсознания?

О русской живописи многого мы не знаем. Мы воспринимаем и оцениваем художников, прибывающих к нам из Советского Союза при помощи средств, принятых в западном искусстве. Мы, по всей видимости, несправедливы к ним. Что мы знаем, например, о нонконформистской живописи в Советском Союзе в 70-е годы? Лишь то малое, что было опубликовано на Западе. Басин, участвовавший в нонконформистских выставках в Ленинграде, написал об этом книгу. Рукопись лежит у него на полке. По правде сказать, русская живопись не закрыта перед западной живописью. Наоборот, она хорошо её сознаёт. И всё-таки у меня нет сомнений: понимание живописи художников советской эпохи это ключ к пониманию российской живописи вообще. Нам, в большинстве своём занятым трактовкой и оценкой произведений искусства, этого ключа недостаёт. И с таким существенным пробелом мы совершаем грех, напускаясь (или заставляя себя напуститься) на произведение. Как было с Басиным. И эта статья – ещё одно тому подтверждение: писал ли я о Басине или о себе? Познаю ли я Басина, когда смотрю на картины Басина? Или, может быть, лишь самого себя? Мне кажется, что художественная критика должна вырваться из западни нарциссизма и выполнять домашние задания. Может, когда-нибудь нам это удастся.

Перевел с иврита Яков Лах


'02




Волин. 95




Basin
3/25







Инна Лиснянская

ИЗ КНИГИ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ ТЕТРАДЬ»

ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Времени и места
Горная спираль.
Плач Стены и месса.
Розовый миндаль.
Виа Долороза
Меж торговых ниш.
Всех хамсинов роза
В вазе плоских крыш.
Память повитуха –
Куст неопалим!
Ты – моя присуха,
Иерусалим.
Улиц полотенца.
Виршей бахрома, –
На пределе сердца,
На краю ума.

22 февраля 2004

ТРИПТИХ

1.

Умащиваю горло пуще скрипки.
На канифоль сгодились козьи сливки
И горький мёд оставленных полей.
Кто их оставил? Век ли прошлогодний,
Иль этот день, в чьей тесной преисподней
Пою, чтоб воскресалось веселей.

2.

Душа твоя, покинувшая тело,
В пустыню вслед за мною прилетела,
Чтобы февральскую увидеть новь.
Смотри, как горные алеют склоны,

Их сплошняком покрыли анемоны –
Камней библейских пламенная кровь.

Ты видишь их оттуда и отсюда.
Кабы не так, мне было б не до чуда,
Тем более – не до счастливых слёз.
Пути Господни неисповедимы.
И наши встречи здесь, хоть и незримы,
Вещественней и приземлённей грёз.

3.

Не отмирают на оливе ветки –
Со старыми соседствуют их детки,
Светясь молочной зеленью своей.
И старую, меня ведет по саду,
Даруя мне ленивую отраду,
Одна из лучших в мире дочерей.

Здесь с молодостью старость неразлучна.
Конечно, мысль такая не научна,
Однако же спросите у олив,
У гефсиманских. В опытах неспешных
Деревья справедливее нас, грешных,
И достовернее, чем всякий миф.

25 февраля 2004

* * *

Девятого века крепки монастырские стены.
Неужто вот так же из каменных пор цикламены
Росли, а в февральской земле анемоны алели,
Приветствуя серую сень монастырской стены?
Какими путями добрался сюда Руставели –
Что был при царице Тамаре министром казны?

Поэтов пути, как и Божьи, неисповедимы
И одновременно общительны и нелюдимы.
Что видел Шота между туч в углубленной лазури?
Что было, как было? – В историю я не ходок.
Но тени от тучек, тигровой подобные шкуре,
Ложатся на время и камень, и мне на роток.

26 февраля 2004

ИЕРУСАЛИМСКИЙ СОЛОВЕЙ

Для меня соловьиное горло одна из загадок.
Между стен городских
Соловей заливается, не дожидаясь закатов
И затиший людских
В серокаменных гнездах на зелень древесную с видом
Соло! Ах, соловей,
Мне открой свою тайну, её никому я не выдам,
Даже тени своей.
Чье ты эхо – Отца или Сына иль духа Святого?
Но с зеленых высот
На дурацкую просьбу солист не проронит ни слова.
Потому и поёт...

26 февраля 2004

* * *

Цикады звенят и цветут цикламены
Монеты летят в картуз, –
На улице за неимением сцены
На флейте лабает блюз

То ль бедный студент, то ль бесцельный оболтус –
Глаза зелены, как весна.
Вчера за углом здесь взорвали автобус,
А улица снова полна.

Террор, безработица, взвинчены цены...
Но воздух беспечен и чист.
Целуются пары, цветут цикламены.
Разводит руками турист.

1 марта 2004

* * *

Сергею Макарову

В качестве гостя, туриста и пилигрима
Славлю апостольские и людские труды.
Трубы-цилиндры на крышах Иерусалима –
Ловчие солнца для нагреванья воды

В каменных стенах с каменными полами –
Ведь и в Святых местах бывает зима,

Особенно зябко под храмовыми куполами,
Где пламя свечи подчеркивает полутьма,

Особенно в будние дни, по которым обычно
В церковь люблю заходить, да простят небеса,
Я не умею ни жить, ни молиться публично,
Поэтому мне подмосковные любы леса,

Где я в бревенчатых стенах пять лет обитаю,
Из-под кирпичной трубы выгребаю золу,
Днем за экраном сижу, Библию на ночь читаю
Перед иконою Троицы в красном углу.

1 марта 2004

ШЛОМА

Знает цветов имена лишь садовник Шлома.
В шлеме седых кудрей, в воротнике бороды
Застревают верблюжьи колючки, шипы, солома,
И, конечно, пыльца – иначе какие сады?

Знают садовника Шлому не только в горах орхидеи,
Не только родные дети – он четверых растит, –
Но все сладкоежки-пчелы всей Иудеи, –
На яркий цветок здесь – особенный аппетит.

Знают садовника Шлому к тому же краски и кисти,
И ожидают его в горном домишке холсты,
Потому что на них возникают лица и листья,
Как текущие дни, причудливы и просты.

А на самом-то деле всё рождено на крике
Утробном: беременная в сорок пятом году,
Выйдя на волю, покинула остров Маврикий,
Чтоб мальчик родился в еще не рожденном саду.

10 марта 2004

Филипп Гринберг

КУДРИ АПОЛЛОНА

– Ты любишь Битлов? – спросила Надя.

Она собиралась спать. Она уже постелила себе на кушетке. Студент наблюдал за ней. Она сняла халат. И стала похожа на цыпленка. Голубое казенное платье не закрывало колен. Надя была привлекательна.

– Я очень люблю Битлов и Аббу, – говорила она, – я принесла тебе одеяло.

– Я не замерзну, – сказал студент и похвастал: – я никогда не мерзну, я привык спать так.

– Бери, бери, – сказала Надя и дала ему одеяло, – теплее будет.

Студент ждал, пока Надя ляжет. Потом лег на свою кушетку и накрыл ноги одеялом.

– А ты что подумал, когда Алымов про меня говорил? – спросила Надя.

– Когда?

– Ну, помнишь, он говорил, что защитил меня?

– А... Ничего. Он пьян был. Я не придал значения. А что тогда было?

– Да знаешь... – Надя замялась, – здесь был один такой – Жора. Он как-то вечером стал приставать ко мне, но я его послала. Тогда он отнял у меня часы и сделал вид, что уходит. Он думал, что я побегу за ним, ну а потом, сам понимаешь... кричать не буду. Но я, не будь дурой, сказала ему, что пожалуюсь старшему врачу. Он испугался и отдал, да еще просил никому не говорить. А Алымов, как всегда, пьян был. Он после прибежал, говорил, что все в порядке, что никому не надо ничего говорить. В общем, бегал, суетился, пока где-то не заснул.

– Этот Жора у вас тронутый, что ли?

– Да, он вообще такой. У нас здесь раньше одна сестра работала, так он ей деньги предлагал. Целую пачку показывал!

– И она пошла?

– Нет, конечно!

– Ну, дает! Чего она испугалась?! – сказал студент великолепным тоном и сам испугался.

Надя несколько опешила.

– Как?.. Здесь?.. С ним?!

– Не всё ли равно с кем? Деньги никогда не помешают, – студент вошел в роль.

– Ну, знаешь... Здесь не место... И потом он отнял бы деньги и дело с концом.

– Да, вообще-то верно, – студенту стало неловко.

Надя говорила еще, а потом уснула.

Студент ворочался: спать ему не хотелось. Он услышал, что привезли нового больного, и вышел в коридор.

Вера Корнеевна везла женщину в кресле-каталке. Женщина хрипела и хватала воздух руками.

– Скорее, – крикнула Вера Корнеевна студенту, – отвези ее в уборную!

Женщина хрипела: «Скорее! скорее! не могу больше!»

У студента окостенели руки. Каталка цеплялась за дверные косяки. Он привез. Женщина попыталась встать. Студент помогал ей скованными движениями. Он не умел ей помочь. Подбежала Вера Корнеевна. Студент вышел, ломая руки. Он не знал, куда смотреть, и думал поверхностно. Он ходил без цели и слышал, как женщина опорожняется.

Вера Корнеевна позвала его. Она очень нервничала и спешила.

– Вези ее ко мне в кабинет, – сказала она и убежала.

Женщина задыхалась и хрипела, так и не застегнув брюки. Студент привез ее и остался посмотреть.

Вокруг женщины все суетились. Вера Корнеевна схватила ее кисть и пыталась попасть в вену иголкой. Женщина шевелила руками и привставала.

– Кислороду! Кислороду! – шептала она, выделяя изо рта липкую пену.

Платочком она размазывала ее по подбородку.

– Тише, тише! Не дергайтесь! – кричала Вера Корнеевна и искала вену.

Кровь и пена капали на пол. Женщина уронила платочек.

– Кислороду! Кислороду! – шептала она.

Ее повезли в отделение.

В последний момент она увидела свой платочек. Слабым взглядом и рукой она потянулась к нему.

Сестра наступила на платок и затерла им кровь. Женщину увезли.

Врач со «скорой» мыла руки и со смехом говорила: «Хорошенькое у нее было предсмертное расслабление сфинктров!» Потом она ушла. Вера Корнеевна сказала, что виновата «скорая»: «Они ничего не сделали, пока везли».

Студент вышел из кабинета и ходил по коридору, водя пальцем по стене. На полу валялся скомканный платочек. Он был еще влажен.

Альбертози собирал своих мертвецов. Он сажал их вдоль стен на табуретки и на пол. И одевал их в тряпье, а одному дал свой пиджак. Потом он взял скрипку и объявил Паганини или еще что. Мертвецы слушали. Альбертози играл им.

Потом студент и санитар привезли женщину, еще гибкую.

Альбертози усадил и ее и снова играл, пока не устал. Он любил психиатрические лечебницы. Он уложил мертвецов и уснул на секционном столе.

Давид Самойлов

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ[*]

АННЕ АХМАТОВОЙ

Учусь у вас достоинству и трудной
Науке быть всегда самим собой.
Ни гул молвы, ни славы голос трубный
Не правят нашей медленной судьбой.

И где-то там, в подкожных наших соках,
Течет печаль и мудрость разлита.
И трудно вам дышать азотом кратких сроков
И пылью типографского шрифта.

май 1963

* * *

Меня Анна Андревна Ахматова
За пристрастье к сюжетам корила.
Избегать бы сюжета проклятого
И писать – как она говорила.

А я целую кучу сюжетов
Наваял. И пристрастен к сюжетам.
О, какое быть счастье поэтом!
Никогда не пробиться в поэты.

1972

---

[*] *Эту, третью по счету, подборку из девяти никогда не публиковавшихся ранее стихотворений Давида Самойлова подготовила к печати и предоставила «Иерусалимскому журналу» вдова поэта Галина Ивановна Медведева. Две первых таких подборки были напечатаны в «ИЖ» № 13 (2002) и № 16 (2003).*

ПОХОРОНЫ ХИКМЕТА

Выносите Назыма Хикмета,
Выносите его одного!
Не болярина и не кмета –
Выносите Назыма Хикмета,
Подставляйте плечо под него.

Жестяные колючие лавры
Поднесли на прощанье ему.
Не спеши к нему с чашей заздравной –
Он лежит здесь с природою равный,
Но не равный себе самому.

И одна лишь над свежей могилой
Не роняет напрасно слезы,
Потому что ей чудится дым,
Горький запах их родины милой.
И щебечет со страстью и силой
Ей скворец: о Назым, о Назым!

1963

ПАМЯТИ СМЕЛЯКОВА

Мы не были на «ты»
(Я на семь лет моложе),
И многие черты,
Казалось, в нас не схожи.

Он был порою груб
И требовал признанья.
Но вдруг срывалось с губ
Заветное желанье –

Желанье быть таким,
Каким он быть боялся.
И с неба серафим
Тогда к нему спускался.

Тогда в распеве строф,
Немыслимых вначале,
Звучали пять-шесть слов,
Что спать нам не давали.

Наверно, он знавал,
Что восхваленья пошлы
И что к его словам
Прислушаются позже

И вот уже молва
К поэту благосклонней...
Он вырос, как трава
На каменистом склоне.

И отошел легко
В блаженный сон России
Смеляков
Ярослав Васильич.

1972

* * *

Окончилась драма любви[1]
Такой сокрушительной силы,
Что мчалась, как вихрь, над людьми,
Вокруг оставляя могилы.

Неужто она без надежд
Замкнется в смиренье усталом,
Не сделав, чтоб весь Будапешт
Избраннику стал пьедесталом?

Страшна эта гибель души,
Предсмертная эта бравада
И страх в одинокой глуши,
Где нет ожидания ада.

Я ведаю, что он хотел
Ее, как Лауру, прославить.
Но Господи, как он посмел
Ее в этом мире оставить.

Должна была чаша пролиться,
Должна опустеть, оттого,
Что гибель материалиста,
Пожалуй, страшнее всего.

февраль 1980

[1] Стихотворение посвящено венгерскому поэту Анталу Гидашу и его жене Агнессе Кун – *примечание публикатора.*

Н. СТАРШИНОВУ

Ты в стихе, как на духу,
Ты открыт, как на юру,
Ты ж доверился стиху –
Исповеди на миру.

Так задуман дивный труд
Ради вразумленья чад,
Что, наверное, поймут
И, наверное, простят.

1981

ОКУДЖАВЕ

Что же делать нам, друзья?
Браться за руки? Так ясно
Окуджаве. Но нельзя –
Браться за руки опасно.

Кто-то руку не возьмет,
Вдруг не этот руку стиснет.
Рядом вдруг совсем не тот
На руке твоей повиснет.

Вера ведь не так крепка
В справедливость. Есть всевластье –
И не братская рука,
А наручник на запястье.

1984

* * *

Приснился ласковый Булат,
Он улыбался добродушно.
– Ну как тебе живется, брат?
И он ответил: «Мне не скучно».

– Но хочется голубизны,
Как в небо прянувшему змею.
– А я записываю сны.
Но толковать их не умею.

Была приятная ленца
В неторопливом разговоре
Однако я заметил вскоре:
– А все же хочется винца.

14.03.86

* * *

Эти летние дожди.

С. Кирсанов

Он, невнимательный к природе,
Вдруг вспомнил летние дожди,
Когда все было на исходе,
Когда все было позади.

Тогда в Москве палило лето
И долго не было дождя.
Лишь погромыхивало где-то,
Грозою город обходя.

Но словно по его заказу,
Блеснул изломанный разряд,
Ударил гром. И сразу, сразу
На город рухнул дождепад.

Со всех сторон хлестало, перло,
Блистало, грохало. И он
Вдохнул в истерзанное горло
Благоухающий озон.

От этих запаха и влаги
Легчало у него в груди,
Когда ложилось на бумаге
Про эти летние дожди.

1989

Жужа Хетени

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕРЕВОДЧИКЕ И ПЕРЕВОДЕ

Русская версия романа Имре Кертеса «Обездоленность» – последняя законченная работа Шимона Маркиша, третий его перевод с венгерского. Сборник «Венгерские народные сказки» (издательство «Корвина», 1974) был сделан в начале 1970-х, роман Кароя Папа «Азарел» – в 1999-2000 годах («ИЖ», №№ 11 и 12, 2002). Все три перевода были сделаны в Будапеште.

Третий перевод готовился год и был завершен 12 октября 2003 года, за восемь недель до смерти Маркиша. Под переводом этим стоят два имени. Он настаивал на том, чтобы мое стояло первым – дескать, это моя затея, и под переводом «Азарела» мое имя не стояло совсем, хотя я помогала, и это несправедливо. Однако с редактором журнала удалось договориться, втайне от Маркиша, чтобы на первом месте стояло имя переводчика, а не его помощницы.

Меня спрашивали многие, какова была моя роль в работе. Действительно: идея была моя, возникла она в 1999 году, после того, как летом 1998 года я прочла в Барселоне лекцию «Венгерская литература о Катастрофе европейского еврейства». Центральная часть моего выступления была посвящена роману «Обездоленность». Лекцию слушали и Маркиш (прочитавший в рамках того же летнего университета блестящую лекцию о Гроссмане), и Хорхе Семпрун. Но тогда никому не был интересен Кертес, и выбор пал на роман Кароя Папа, который Маркиш любил намного больше, чем «Обездоленность».

Над переводом книги Кертеса временами он работал настолько мучительно, что в шутку (и в контексте кертесовского же «Галерного дневника») его сидения над текстом я называла каторгой. Но я настаивала на переводе, и Маркиш иногда, совсем не в шутку, говорил, что делает это для меня.

Я была уверена, что этот роман именно он должен перевести, и никто другой, – мне представлялось, что этим будет восстановлено некоторое равновесие миропорядка.

Освенцим (Аушвиц) связан с судьбами европейского еврейства в той же мере, как сталинские расправы 12 августа 1952 года, когда был казнен Перец Маркиш, что, естественно, стало ключевой вехой биографии его сына Шимона, разделившего нелегкую долю (недолю) членов семей «врагов народа», депортированных карательными органами в Казахстан.

Наивно, может быть, видеть две судьбы, Кертеса и Маркиша, в таком контексте «параллельных биографий», или воспользовавшись

названием сочинений Плутарха «Сравнительные жизнеописания», переведенных Маркишем в начале 60-х годов, – но мне так казалось. Роман Имре Кертеса в переводе Шимона Маркиша – это *тикун*[*] за тех, которые были лишены судьбы и жизни.

Но, помимо этой моей мысли или интуитивного стремления, есть и параллель более объективного, филологического порядка. Русский язык Маркиша – и живой-разговорный, но письменный-литературный еще в большей мере – был неповторимым, я бы сказала, сознательно выдержанным в интонациях досоветских времен, это был русский язык, не испорченный советскими стереотипами.

Я никогда не спрашивала Маркиша, а он сам, естественно, не говорил никогда о «своем» русском языке. Откуда этот язык? Маркиш в невероятных количествах глотал книги, читал и старину, и новинки – но настоящее удовольствие получал от авторов 19-го века. Любимец его – Салтыков-Щедрин. Этот его язык еще, может быть, от учителей старшего поколения, от профессора Соболевского – влечение их было взаимным.

Почему этот язык? Его русский язык – скрытое, но мощное и упорное сопротивление советскому режиму, а после исчезновения режима – сумасбродным новаторствам.

И еще: упрямство и амбициозность еврея, желающего доказать тем, которые в странах Европы уже два века подряд утверждают, что писатели еврейского происхождения пишут на нечистом, «испорченном» языке «принимающих» наций. Доказать, что он, еврей, владеет своим родным русским языком лучше, чем эти обличители.

Вячеслав Всеволодович Иванов в частном письме назвал его русский язык «сочным, стилизованным под старину» языком, и стилизованный под старину язык Кертеса (хотя я не могу назвать его сочным, скорее, наоборот – сухим) нашел в Маркише конгениального и эмоционально близкого интерпретатора.

Кстати, то же самое можно сказать, *mutatis mutandum*, о переводах цветистого, несколько экзальтированного языка Кароя Папа, и о переводах обаятельных и хитроумных венгерских сказок.

Как мы работали? В отличие от работы над романом *Азарел*, когда я только отвечала на вопросы и потом сравнивала перевод с оригиналом, на этот раз я сначала объясняла Маркишу стилистические тонкости, «секреты» венгерского текста (без этого Кертеса невозможно понять – так же считают и другие венгерские литературоведы – консультанты московского переводчика этого же романа). Потом отвечала на вопросы по ходу перевода (нередко ночные расспросы в сопровождении нежно-ругательных слов в адрес и автора, и любимого, но умом непостижимого венгерского языка).

Маркиш делал перевод в уединении. Переводил так же, как писал – сразу готовый текст, готовые предложения в машинку, а позже в компьютер. В день – от одной до трех страниц книги (от одной до полутора компьютерных).

---

[*] *Тикун* (иврит) – исправление; каббалистический термин, которым обозначают исправленный, более совершенный вариант.

Мы вместе редактировали недельную порцию по субботам, после обеда, это занимало от четырех до восьми часов. Сравнивали, сверяли, спорили, хватались за словари (чтобы увидеть там неподходящие слова) и за волосы (каждый за свои). Бывало и такое, что я находила подходящее русское слово или оборот, бывало, что после моих упрямых поисков именно Маркиш находил новое, нужное слово. Нынешнее русское название романа – открытие Маркиша, восьмой вариант.

Редактирование шло трудно, потому что мне было ясно, что передо мной гений перевода. Я это говорю не по отсутствию объективного взгляда близкого человека, и не только сейчас – в дни, когда меня не оставляет чувство невосполнимой потери, когда не верится, что он закончил перевод навсегда, и этот неуклюжий мой текст уже не прочтет. И не просто повторяю слова Иосифа Бродского, который сказал то же самое – гений. Это мое личное убеждение переводчика (правда, я перевожу на другой язык, на венгерский), это мой глубоко личный опыт. Читаю его фразу – и дыхание останавливается.

...Почему-то вспомнилось выражение нашего «героя» (так Маркиш называл тех авторов, о которых мы писали), который нас и «познакомил», Бабеля: «он... разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо». Именно эта фраза выражает то, что я испытывала. Я ощущала каждую минуту, что он, прежде всего, человек другого поколения, но кроме этого, он как бы сделан просто из другого материала, чем все мы – пусть профессиональные, пусть отличные переводчики на любые языки. Я говорила всем в этот год нашей общей работы, что гениальность и дар Маркиша к переводу – нечто данное *свыше*, и наш с ним агностицизм пусть придает этой фразе еще бóльший ореол.

«Окончательно» подготовить к публикации вторую часть романа, в частности – написать примечания, мне пришлось уже без него. Еще не закончился первый месяц траура. Прочтя первое слово, я беспомощно уставилась на экран компьютера – мне показалось, что я напрочь забыла русский. Я потеряла и дар речи, и дар письма по-русски, я была парализована. Казалось, вместе с Шимоном ушел и мой русский язык. Потом пересилила себя и начала просматривать текст. Нашла две маленькие неточности. Рука не поднималась исправить. Потом исправила их.

Маркиш был всегда безупречно аккуратен.

Иеромонах Макарий

ОБ ОТЦЕ

– Я знала вашего отца много лет назад. Я работала в издательстве, а он переводил Плутарха. Переводил он и с английского, и с немецкого… Тогда он был еще не Шимон, а Симон.

– Это одно и то же имя. По-русски Симон, по-еврейски Шимон. Кстати, в венгерском языке буква S произносится как Ш, и по-венгерски его имя звучит так же. Впрочем, я называл его только русским именем.

– Он не возражал?

– Нет, конечно. Я ведь тоже не всегда был Макарием, и он обращался ко мне по-старому. По крайней мере, в письмах.

– А лично?

– Я его видел в последний раз весной 2000 года, в Женеве, еще до того, как вернулся в Россию и получил новое имя.

– Как же вас звали до монашества?

– Марком.

– Марк Маркиш?

– Именно так.

– Это считалось благозвучной комбинацией?

– Не то, чтобы очень. Мне рассказывали, что Марком хотели назвать отца, а его отец, мой дед, заметил: «Если вам нравится Марк Маркиш…» Тогда его назвали Симоном, а Марк достался мне.

– Это еврейское имя?

– Вовсе нет. Но, как ни странно, своим именем я все же обязан деду: когда я родился, он был уже арестован, и меня назвали в его честь.

– Его ведь звали Перец?

– Перец звучит по-русски не слишком удачно, и дома его так не называли. По логике вещей он должен был бы зваться Фаресом – как мы Ривку и Мойше называем Ревеккой и Моисеем – но логика тут не помощница, и домашние звали его по фамилии, Маркишем или Маркушей.

– Значит, семейная культура была русскоязычной?

– Да. И я сам стал учить идиш уже взрослым, главным образом чтобы читать стихи деда.

– Русскоязычной или русской?

– Сложный вопрос: боюсь ответить однозначно. Все-таки я был мал, и отец жил отдельно. Но запомнилась какая-то странная неуверенность, с какой взрослые обсуждали еврейские темы: так же говорили про Хрущева, Кеннеди, революцию и «снежного человека». Немудрено, что в детском сознании это оборачивалось полным невежеством. Как-то моего приятеля по фамилии Житник, юношу чисто славянского происхождения лет восьми от роду, одноклассники принялись поддразнивать песенкой: «*Жид, жид, по веревочке бежит*», и я незамедлительно присоединился к общему хору. Помню его взгляд,

полный совершенно взрослого изумления – чья бы уж, дескать, корова мычала, – но хоть убей не мог понять, в чем тут загвоздка!

– Ну, а положительное содержание еврейства?

– Вот еще история, рассказанная соседом по даче. Малолетняя Марина попала в подозрение по делу о банке с вареньем; будучи допрошена с пристрастием, она категорически отрицала свою вину.

– А не врешь ли ты, Мариночка? – взывал встревоженный отец.

– Что ты, папа, – отвечала подследственная, – мы ведь евреи.

– Да, ну и что из того?

– Евреи никогда не врут.

Много позже я обнаружил тот же самый критерий еврейства в истории апостола Нафанаила: впрочем, юная Марина не знала грамоты, не говоря уж о Евангелии. Однако по тому, как взрослые в этой связи цокали языками, качали головами и скребли в затылках, у меня сложилось четкое впечатление о некоем разрыве между теорией и практикой.

– А когда вы стали старше?

– Когда я стал старше, отец уехал за границу, сперва в Венгрию, потом в Швейцарию, и началась переписка, которая почти без перерыва продолжалась треть столетия.

– Но вы видели друг друга?

– Да, но меньше и реже, чем следовало бы.

– Общались по телефону?

– Почти никогда.

– Почему? Ведь живой разговор лучше листка в конверте.

– Не согласен с вами. Живой разговор ни к чему не обязывает. Звенит звонок: «*Ах, это ты, привет, ну, как дела? – Нормально, а твои? – Неплохо. Как там погода? – Холодновато. А у вас?...*» – и можно ставить точку. А переписка между тем требует усилия, требует труда. Нужно отложить прочие дела, сесть за стол, внимательно прочесть письмо, подумать и написать ответ – приветливый, доброжелательный, серьезный, ясный, точный, честный – и своевременный. Отец не пользовался электронной почтой, но и за обычную почту я был благодарен Господу, что есть такое простое и верное средство к исполнению Пятой Заповеди.

– Ваш отец был верующим?

– Нет.

– Это затрудняло контакт между вами?

– Пожалуй, что нет – именно из-за того, что мы, прекрасно зная «позиции» друг друга, ничего не скрывали и ни о чем не умалчивали. Отец, впрочем, как бы из вежливости, иной раз употреблял обороты вроде «Не хочу тебя обидеть...» или «Надеюсь, мои слова тебя не заденут...» – но в контексте нашей переписки это было совершенно излишне.

– Если ваши «позиции» кардинально расходились, вы, наверное, пытались их как-то сблизить?

– Нет. Зачем брать пример с базара и политики? Мы рассказывали друг другу о том, что знали, спрашивали о том, чего не знали, делились впечатлениями и суждениями о событиях настоящего и прошлого. Цель общения – услышать и понять ближнего, донести что-то важное до его сердца.

Наши письма охватывали множество разных тем, слабо связанных или вовсе не связанных друг с другом. Они не составляли единой непрерывной логической цепи, по которой можно было бы проследить какое-нибудь «решение вопроса» или «приближение к компромиссу». В своем роде это тоже был живой разговор, и на мой взгляд, куда более живой, чем телефонные ахи и вздохи; живой, прежде всего, потому, что серьезный, ответственный и трезвый.

И вот что удивительно. Оказывается, такой разговор в письмах – изрядная редкость в наше время, хотя, казалось бы, дело самое естественное для близких людей. К тому же еще, не имея навыка письменной речи, люди иной раз теряют ясность мысли, и отвечать им из-за этого крайне трудно. Например: «*Я так воспитана,* – пишет мне одна родственница, – *что Бога никакого нет, и всё это бабушкины сказки. Но если у тебя другие взгляды, то не забывай меня в своих молитвах*».

– Говорили ли вы с отцом – в письмах – о России?

– Редко и отрывочно, к сожалению. Его эта тема не интересовала, и ехать в Россию он не хотел. Возражая ему, я звал его в гости, но он настоял на своем. Теперь уже безвозвратно.

– А о евреях?

– Еврейская тема была, думаю, главной для нас обоих на протяжении долгих лет.

– Я знаю интерес вашего отца к еврейскому прошлому и настоящему. Но ведь вы, как вы сами сказали, выросли в отрыве от еврейства, и дальнейшие события вашей жизни увели вас еще дальше, не так ли?

– Отчасти. Однако, если пойдешь в одном и том же направлении, скажем, на восток, все дальше и дальше, то куда придешь в конце концов? Так, не в последнюю очередь под влиянием нашей переписки, я и вернулся к началу маршрута.

– Как это происходило?

– Например, в Интернете мне не раз приходилось отвечать на вопросы о моей якобы «еврейской самоненависти» (Jewish self-hate), и я обращался к отцу за разъяснениями. Мне важно было не только разобраться в фактах, но и узнать его собственное мнение. И ощущение самого себя в качестве еврея, разделяющего судьбу нации и ответственного за нее, сложилось у меня как раз в процессе этого долгого разговора – хотя я до сих пор не представляю себе, что это за «еврейская самоненависть» и есть ли место такому явлению помимо присущего всем нациям спасительного покаяния.

– О покаянии вы тоже говорили?

– Разумеется. В последнее время, пожалуй, разговор так или иначе вращался вокруг одной и той же оси – покаяния.

– Из-за чего бы это?

– Наверное, из-за возраста. И, значит, из-за багажа, с которым мы оба – и я, и он – пришли в этот возраст.

– Но покаяние, видимо, представляет интерес лично для вас за счет ваших собственных религиозных убеждений?

– Ничего подобного. Покаяние живет во всякой здоровой душе, обществе, нации; увидеть и осознать его – дело жизни. И наоборот: симптомом характерных для нашего времени болезней стала утрата покая-

ния – а иногда и принудительная его ликвидация. В подтверждение приведу цитату из нашей переписки – отрывок из статьи Дэвида Клингхоффера «Антисемитизм без антисемитов» (*First Things*, April 1998, p. 10-15):

«...Культ жертвы решает две задачи для нашей нечистой совести. Первая – убедить нас, как и всех прочих жертв, что какое бы мы зло ни делали, мы на самом деле ангелы. Вместо всех наших слабостей, ошибок и проступков у нас в руках гарантия морального совершенства. Это большое облегчение.

А вторая задача, вряд ли применимая к другим «угнетенным группам», такова: твердо внушить нам, что неприязнь со стороны окружающих народов не имеет и не может иметь никаких оснований. Мы этого просто не заслужили...

Если бы Сам Бог – истинный Бог – подверг нас «психоанализу», Он бы, думаю, сказал нам вот что: никакого антисемитизма нет, по крайней мере в том виде, как мы его себе представляем. К нам, американским евреям, жизнь благосклонна как никогда. Жаловаться нам не на что.

Но, вообще-то говоря, все может случиться. Так что смотрите».

– Какая грозная концовка... Что *может случиться*?

– Между жизнью всего человечества, целой нации и каждой души в отдельности есть глубокие параллели и неразрывные связи. Кто знает, что может случиться в истории, в обществе, в политике? Я знаю только то, что *действительно случилось* в нашей жизни, моего отца и моей, что неминуемо случается на всяком жизненном пути: он прерывается. Разговор остановлен на полуслове; сердце перестало биться. Уже получив известие о смерти отца, я долго ждал от него письма: я думал, что он, быть может, успел ответить на мое последнее письмо, которое лежало у него на столе. Но он не успел.

– Разговор окончен?

– Разговор окончен, а Пятая заповедь остается в силе. *«Не забывай меня в своих молитвах»* звучит тем более властно, чем меньше логики в контексте просьбы.

– Вы служите по отцу панихиды?

– Это невозможно. Бессмысленно, как звонить по телефону с оборванным проводом.

– Что же тогда?

– Псалтирь. Просто Псалтирь. Сефер Тегилим.

...Воздаждь рабу Твоему, да жив буду и сохраню словеса Твоя.
Пришлец аз есмь на земли: не скрый от меня заповеди Твоя...
Ослабе душа моя от уныния: утверди мя в словесех Твоих.
Путь неправды отстави от мене и законом Твоим помилуй мя.
Путь истины изволих и судьбы Твоя не забых...

Сорок дней, по обычаю, читал поминальную Псалтирь. Теперь читаю раз в неделю, в канун субботы.

– И сколько времени будете читать?

– До конца жизни. Земной жизни. А там посмотрим.

Иваново, 8 февраля 2004
Память Новых Российских мучеников XX века
Неделя о Блудном Сыне

Георгий Кнабе

СТАРЫМ ОН ТАК И НЕ СТАЛ

Я знал Симу Маркиша (в ту пору еще именно Симу, а не Шимона) с конца 1950-х годов, когда он вернулся из ссылки и завершил (завершал?) свое образование филолога-классика. Прозвище его в этом кругу было «Иосиф Прекрасный». Красавец, любимец женщин, умница, талантливый, глубоко образованный, необычайно остроумный, – всякий, кто с ним общался, немедленно подпадал под его обаяние. Вскоре после нашего знакомства, в середине 1960-х, издательство «Наука» предложило ему перевести «Историю» Тацита. Со стороны издательства выбор был вполне оправдан и понятен: к тому времени Маркиш уже успел издать – частично в своем переводе – трехтомник Плутарха, что создало ему имя в литературно-переводческих кругах. Неожиданно он передал перевод «Истории» Тацита мне, тогда только начинавшему работу в области античной культуры и древних языков. Сам он был очень доволен своим поступком и позднее, когда мы праздновали публикацию, говорил весело: «Никто не скажет, что старый Маркиш – жадина». «Старый Маркиш»... Старым он не был и так и не стал никогда.

В качестве внештатного редактора издательства Сима правил мой перевод. Такого редактора мне больше встречать не приходилось, хотя я работал со многими очень хорошими редакторами. Он мгновенно улавливал, что именно вы хотели сказать, и двумя-тремя словами доводил текст именно до того, к чему вы стремились. Жаль, что не сохранились его замечания на полях рукописи. Иногда это были серьезнейшие и в то же время кратчайшие определения перевода как профессии; иногда не менее серьезные рассуждения о самом Таците, о его творчестве, попадались и остроумные шутливые замечания; если же какое-либо слово или фраза казались ему совсем неудачными, он просто писал: «Ну, Юра!»

Когда Сима переехал в Женеву, мы стали переписываться, хотя и нельзя сказать, что слишком аккуратно. И вот после долгих лет разлуки пришлось, наконец, свидеться. Весной 1993 года мы с женой были в Париже, и Сима приехал с нами повидаться. Он изменился, постарел, но был все так же красив. Незабываемый вечер в ресторане «Голуаз». Великим удовольствием было вести с ним диалог и на научные темы, и на общественные, и на литературные, да и на шуточные тоже. Но еще большим удовольствием было его слушать, когда он увлекался, и диалог превращался в монолог.

Лет десять назад я получил письмо, в котором Сима сообщал о своей болезни. Никаких жалоб, никаких подробностей. «Придется жить avec» – писал он. И позже – в открытке от 21.12.95: «Вы спрашиваете о здоровье. Оно вроде бы и не совсем худо, но в то же время не дает о себе забыть ни на день: последствия операции. Так что

опять-таки вроде бы и жаловаться грех, и хочется пожаловаться. Но – в меру отпущенных мне сил – стараюсь гнать хандру». И жил, то есть работал – мыслил и писал «avec» и «в меру отпущенных сил». До последней минуты, до последнего вздоха. Мне рассказывали, что умер он за письменным столом, рядом с включенным компьютером и перед раскрытой книгой. Такая смерть дается не каждому, ее надо заслужить. Сима заслужил, *там* суд неподкупный. Смерть символическая, историческая, если хотите, смерть истинного интеллигента.

Вот об этом сказать особенно важно.

С Симой Маркишем познакомила меня Мария Евгеньевна Грабарь-Пассек – научный сотрудник Академии Наук, автор множества работ по античной литературе, но прежде всего переводчик и прежде всего стихов, латинских и греческих, преимущественно поздних, III–VI веков. Она учила меня греческому, исправляла и совершенствовала мою латынь (которой первоначально я занимался под ее же руководством в ИФЛИ еще до войны), корректировала и консультировала переводы Симы и с полными основаниями считала нас своими учениками. К обоим она относилась с материнской теплотой, о себе же любила говорить каламбурно переставленными словами из «Конька-Горбунка»: «У старинушки три сына: младший умный был детина, средний сын и так, и сяк, старший вовсе был дурак». Младшим сыном был Сима, я – средним. Оба мы любили нашу учительницу, испытывали к ней сердечную благодарность и, когда ее не стало, никогда о ней не забывали. Даря мне свои книги, Сима нередко надписывал их – «Среднему брату от младшего» или «Ваш младший брат». Иногда подписывался так же и позже, из Женевы. Так – от 2 марта 1992 года: «Обнимаю Вас и Ревекку Борисовну[1] по-братски, по-старому, по-марьеевгеньевскому».

Ни для Маркиша, ни для меня, а главное – для той среды, в которой нам выпало на долю прожить бóльшую часть жизни, образ М. Е. и значение ее личности сказанным далеко не исчерпывались.

Однажды она показала мне запись – не помню, рукописную или типографски отпечатанную – кого-то из ее родственников с вполне простонародной фамилией Викторов. Впоследствии он породнился с отцом М. Е. и тем вписался в ее генеалогию. В записи, в частности, говорилось о том, как в одном из общественных комитетов, готовивших всероссийскую перепись еще в 1880-е годы, автор встретился с другим членом комитета по фамилии Пассек. «Я отнесся к нему неприязненно и настороженно, – писал Викторов, – с тем чувством, которое обычно вызывали у людей моего круга потомственные аристократы».[2] М. Е. происходила от того дежурного офицера, который в 1762 году пропустил во дворец группу вооруженных придворных, отрешивших от царства Петра III и передавших престол Екатерине. Дальше в этой генеалогической линии были: декабрист Василий Пас-

[1] Ревекка Борисовна Иоффе (Р. Сашина) – моя жена.

[2] Здесь и далее, кроме случаев специально оговоренных, я передаю документальные свидетельства по памяти. Соответственно, я не могу гарантировать точность слов, но ручаюсь за точность смысла.

сек, друг Герцена Вадим Пассек и отец М. Е. профессор римского права в Дерптском (впоследствии Юрьевском, ныне Тартусском) университете Евгений Пассек – один из либеральных ректоров, первых свободно выбранных после реформы 1905 года. Вторая фамилия М. Е., Грабарь, была фамилией ее мужа, историка международного права из тех же дерптских профессоров, брата известного художника Серебряного века Игоря Грабаря. Происходили они из переселившихся в 1860-е годы в Россию венгров.

Эти генеалогические справки могут показаться излишне и утомительно подробными. Но из засвидетельствованной здесь амальгамы потомственных аристократов, разночинцев-поповичей и иммигрантов-профессоров в предреволюционные десятилетия складывался и жил особый слой русской интеллигенции. Продолжал он складываться и жить и после октябрьского переворота – вытесняемый в эмиграцию, уничтожаемый в застенках и лагерях, деклассируемый запретительными декретами власти, изредка странно возносимый в правящие сферы, но, главное, в какой-то своей части упрямо длившийся и выживавший в арбатских коммуналках, неприметно храня там образованность, физическую и нравственную опрятность, порядочность и готовность передавать эти свои свойства тем, кто хотел их замечать, ценить и усваивать. К этой последней разновидности и принадлежала наша с Маркишем учительница. В некоторой мере именно благодаря тем годам, что мы провели в заваленной книгами и старыми вещами коммунальной квартире у Крымских ворот, мы стали тем, чем стали. А в какой-то мере, благодаря тем же годам, и сохранились такими, какими были.

Соотношение того и другого – «были» и «стали» – представляет собой итинерарий поколения сквозь слом эпох, которым ознаменована вторая половина XX столетия. Письма ко мне Маркиша, написанные по разным поводам и не всегда уцелевшие, относятся к 1990-м годам, когда этот слом завершался. В них угадываются длившиеся еще основы культуры уходивших лет и человек, который, живя в русле истории, сумел, однако, в распадавшейся связи времен сохранить верность многим из этих основ.

Мир, в котором мы жили при Марии Евгеньевне, укорененный в академической традиции и в истории русской культуры, и тот, в котором мы оказались сегодня, раскидистый по странам и континентам и бесконечно космополитичный, в принципе друг другу противоположны. Последние годы Сима прожил в этом противоположном мире. Письма от него доходили в конвертах с почтовыми штемпелями Швейцарии, Венгрии, США, Израиля, Лондона. В них, в частности, – о младшем сыне, который учится в Rutgers University, New Jersey, о внуке, который закончил Massachusets Technological Institute и которого «дед обещал покатать по Европе», о матери, чей юбилей праздновался в Израиле…

При этом ему был неприятен постмодернистский нигилизм и проповедь мультикультурализма urbi et orbi, чужд демонстративный отказ от укорененных в традиции культурно-исторических ценностей, чужды проклятия по адресу тех, кому эти ценности tiennent au coeur.

Научная работа его была сосредоточена на еврейско-русской литературе XIX и XX веков. В Россию после эмиграции он не возвращался никогда, говорить о ней избегал, но думал, по-видимому, много. «Вашу (вашу) ситуацию и понимаю, и нет. Слушаю внимательно, читаю, но сам вякать не решаюсь. Умел бы молиться – молился бы. Но не умею. Увы, дара веры лишен начисто. Хуже Базарова» (02. 03. 92). И тремя годами позже, 22 сентября 95 года. – «Судя по тому, что доводится читать, и у меня складывается подобное же впечатление, только я не решаюсь его высказывать *никому* – не имею права, раз там не живу и даже не бываю» (В обоих случаях подчеркнуто автором). За этим стоит, конечно, в первую очередь моральная щепетильность в принципиальных вопросах, в частности, – собственной биографии. Но прорисовывается и нечто иное: переживание культурно-исторических привязанностей, иерархий и констант, преданность европейской культуре как таковой в ее целостности и ее вечной античной почве – духовная подоснова филолога-классика.

Из моего письма Маркишу после возвращения из командировки в Констанцский университет. «Москва. 12 января 2002. Милый Сима! У меня два сильных впечатления, связанных с Констанцем. Одно – разноприродность античного мира и мира германских корней Европы. Чтобы быть поближе к твоим местам, решил съездить в римский Авентикум. Светлый камень, масштаб, геометрия архитектуры, вписанной в природу, и противостоящие ей голубое небо и открытые дали. На обратном пути, над самым Боденским озером – замок Мерзбург. Вечный туман над озером и окружающий лес, скрывающие даль, темный камень, деревянные полы и потолки в каморках, из которых состоит внутреннее пространство, вместо амфор медные котлы, замок – на высокой скале, и всё остальное видно глубоко под ним, на вертикали, как с готической колокольни. Не два периода истории, а две разных истории, два переживания реальности, два духовных склада. Ты все это за двадцать пять лет прожил, пережил и впитал, я пережил впервые и особенно остро. Твой comme toujours».

И вот ответ. – «Конечно, ты прав: античный мир в германскую душу не вошел. Поэтому, наверное, так трудно классику «переквалифицироваться в управдомы», сиречь в медиевисты. У германцев не только все видимые составные [элементы] цивилизации – другие, но неуловимые тоже. Им и лес пахнул по-другому, и солнышко согревало после купания в реке по-другому. Можно ли найти сему свидетельство в текстах? Уверен, что можно. А вот про славян – не уверен: слишком мало текстов и слишком они вторичны».

В письме от 21 марта 1997 из США. – «Сережи Аверинцева новую книжку не видел, но после твоей аттестации разыщу, как только вернусь в Европу». Вернулся, разыскал и высоко оценил. Это существенно, поскольку речь идет о двух статьях, посвященных Аристотелю, в книге покойного С. С. Аверинцева «Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М. 1996» – «Античная риторика и судьбы античного рационализма» и, особенно, «Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России». В письме, ответом на которое яв-

лялось данное, я обращал внимание Маркиша на стремительный рост объективного значения Аристотеля в гуманистическом самосознании современной Европы, его роль «последней границы европейского рационализма» на фоне постмодернистского отказа от европейской культурной традиции as such.

Неприятие постмодернизма вообще и этой его стороны в частности, преданность живым корням – один из устойчивых мотивов многих писем Маркиша. Мотив этот ощутим и в его русско-еврейских штудиях. Показателен пассаж в письме от 16 ноября 1999 года. «Я – senior fellow в Collegium Budapest сроком до конца июля 2000 года. У меня есть своя тема (project), под которую меня и приняли, и тема эта – русско-еврейская, но у «Колледжа» – своя сквозная тема на нынешний академический год: Humanities and historical and comparative perspectives: roots and margins of the European tradition. Чуете?».

И вот заключительный аккорд: «Москва. 24 мая 2002 г. Милый Сима, – спасибо тебе за очень важное и хорошее письмо от 26 марта 02. Поскольку ты пишешь, что вернешься в Женеву в ноябре, то отвечать на него по существу смысла нет. До той поры и мы сами, и мир, над которым мы думаем и о котором мы пишем, станем настолько другими, что такой volatil жанр как письмо утратит бóльшую часть смысла. Вот тогда в ноябре и спишемся. Обнимаю тебя. Ревекка тоже».

Мы никогда не говорили с Симой об Окуджаве, и что он о нем думал, я не знаю. Для меня Булат – главный человек моего поколения. У него есть строки – «Не успели распрощаться, адресами обменяться. Не успели ни черта».

Корин Амашер

«ГОСПОДИН МАРКИШ», ШИМОН...

Теперь уже и не помню, когда впервые увидела Шимона. Скорее всего, на занятиях по русской литературе. Что помню точно – в 1987 году он вел семинар по Тургеневу. У «господина Маркиша», любившего во время лекций прогуливаться по аудитории, была особая манера склоняться над одним из студентов с предложением прочесть абзац из разбираемого текста или (о ужас!) пересказать его своими словами. На русском языке, конечно. Но как можно резюмировать прочитанный текст, который ты не понимаешь, да еще на таком сложном языке! Каждый раз, когда Маркиш приближался, меня охватывал жуткий страх. На таких студентов, как я, Шимон смотрел с сожалением, не скрывая при этом и своего раздражения. Возможно, он задавался при этом вопросом, с какого же конца начинать объяснять русскую литературу и культуру страны этим невежественным швейцарцам? Кончилось тем, что очень скоро я перестала посещать этот семинар и возобновила свои занятия только через год, настроившись уже более серьезно. С тех пор и вплоть до 1992 года я присутствовала не только почти на всех лекциях и семинарах Шимона по литературе и русской цивилизации, но и на его незабываемых занятиях, которые он вел по четвергам и пятницам, с 16 до 18 часов, в маленькой русской библиотеке, где Шимон всеми силами пытался внедрить в «продвинутых» студентов основы русской грамматики. Он появлялся в читальном зале со стопкой маленьких листков в руках. На каждом листочке – тщательно расписанный план и хорошо продуманные вопросы, которыми он поддерживал наши дискуссии.

Боже, как я любила эти занятия! Шимон нас просто очаровывал, хотя его лекции, лишенные общепринятой структуры, не всегда отвечали «педагогическим нормам». Его единственную в своем роде манеру преподавания, основанную на обширнейших познаниях в самых разных областях мировой культуры и глубоком, «изнутри» знакомстве с советской Россией, – я никогда не забуду. Шимон приоткрывал перед нами таинственный для нас тогда (дело происходило в самом начале перестройки), замкнутый в себе советско-русский мир. Слушая его, мы воспринимали этот мир глазами самого Шимона. Лекции и семинары его были наполнены всей страстностью его темперамента. Иногда какой-нибудь герой русской истории настолько выводил Шимона из себя, что он набрасывался на него как на заклятого врага, обзывая всевозможными ругательными кличками.

Время от времени он прерывал серьезное объяснение, чтобы оживить его смешным анекдотом, разумеется, антисоветским. Чаще всего мы плохо понимали рассказанные по-русски анекдоты, и ему приходилось переводить их на французский, нужные слова удавалось отыскать не всегда, и он нервничал.

Тут я должна признаться, что постоянно опаздываю. А Шимон не терпел опозданий, его взгляд испепелял всех входящих после звонка. Опасаясь этого взгляда, я иногда просто прогуливала его занятия.

В начале 1995 года я стала аспиранткой русской кафедры. Из этого следовало, что «господин Маркиш» – образованнейший, прочитавший все на свете, чувствующий себя как рыба в воде не только в античной, но и в русской культуре, – мой коллега, невероятно! Я очень этим гордилась. Его отзывчивость располагала к общению. Я очень любила наведываться к нему с вопросами в его крохотный кабинет, находившийся в русской библиотеке.

Шимон вышел на пенсию в 1996 году, так что проработали мы с ним как коллеги всего два семестра. Его последний курс лекций на кафедре был посвящен русско-еврейской литературе, я приходила в аудиторию с диктофоном. Сегодня я не решаюсь слушать эти записи, на которых звучит голос Шимона, такой дорогой и все еще для меня живой. Он читал эти лекции по-французски. Милые грамматические ошибки Шимона были уникальны. Неожиданное использование сослагательного наклонения или неправильное употребление одного слова вместо другого – все это вызывало у нас радостные улыбки и дружелюбный смех.

За те пять лет, которые я работала над докторатом (1995–2000), мы стали настоящими друзьями. Вначале было трудно отказаться от официальной формулы вежливости «господин Маркиш», но он настаивал, и усилием воли я заставила себя перейти на «Шимон».

Я постоянно доставала его телефонными звонками, засыпая вопросами, касающимися моих собственных семинаров или моей диссертации. И каждый раз он уверял меня, что ему приятно помогать советами, что таким образом он чувствует себя полезным. Я позволяла себе звонить ему и тогда, когда могла обойтись без его советов. Но мне было особенно важно знать мнение Шимона!

Когда он уезжал за границу, я знала, что там ему будет хорошо, и в Израиле и в Будапеште, потому что он увидит своих, и радовалась за него. И тем не менее, мне доставляли огромное удовольствие его звонки по возвращении, его интонация, с которой он произносил одни и те же слова: «я по вам скучал». Вскоре он появлялся в нашем доме (мы были почти соседями, и в его отсутствие я занималась его почтой). Мои дочери просто обожали Шимона – он всегда веселил их своими шутками.

Наша дружба имеет еще одну подоплеку – с самого начала учебы в университете меня интересовала еврейская культура и история евреев в России и во всей Восточной Европе. Когда я открыла для себя творчество Горенштейна, то сразу же обратилась к Шимону – узнать его мнение. Когда я сказала, что собираюсь писать о Горенштейне, но он кажется мне слишком трудным, Шимон радостно воскликнул: «Пиши, пиши, это необходимо. Горенштейн – один из самых талантливых современных русско-еврейских авторов». И пообещал помочь, сказал, что уверен в успехе. Словом, у меня не оставалось выбора.

Наша «совместная» работа заключалась в следующем: если в текстах было что-либо непонятно, я звонила, чтобы получить ответы на

накопившиеся вопросы. На следующий день шла к нему, обычно рано утром; по этому случаю он готовил завтрак, обычно – бутерброды с венгерской колбасой, которую я обожала, и кофе. И сколько я ни уверяла его, что уже завтракала, он настаивал на своем. Мол, моя диссертация, работа в университете, семья, дети – все это отнимает столько сил, что мне совершенно необходим для поддержания здоровья двойной завтрак. Шимон знал, что я не люблю крепкий кофе, и каждый раз трогательно справлялся, удалось ли ему сварить напиток по моему вкусу.

После этого мы принимались за работу. Но ничто не может сравниться с удовольствием, которое я получала от воспоминаний Шимона – он любил рассказывать о своем детстве, о своей семье, о своей жизни, частной и профессиональной. И так как, помимо привычки опаздывать, за мной числится еще один грех – любопытство, то я не переставала задавать ему все новые и новые вопросы. А ведь сколько надо было расспрашивать Шимона, чтобы понять его жизнь, его убеждения, его порой раздражительные или гневные реакции... Он рассказывал и о трагической судьбе своего отца, о тяжелой жизни в ссылке. Но, тем не менее, чувствовалось, что какая-то часть его личности всегда оставалась в тени. Он просто не мог говорить о какой-то, вероятно, неизлечимой душевной ране.

Я прекрасно сознаю, что мои воспоминания о Шимоне не представляют никакой научной ценности. Но сам Шимон ненавидел слово «научный», звучащее из уст филологов. Он, среди друзей которого было столько настоящих ученых, находил просто смехотворным смешение науки и литературы. Шимон считал, что каждый человек понимает литературный текст по-своему.

На кафедре русской литературы мы называли Шимона «нашей живой энциклопедией». Как грустно теперь обращаться за ответами к холодным энциклопедическим томам...

июль 2004, Женева

Григорий Канович

СМЕРТЬ НЕ СТАВИТ ЗАПЯТЫХ

Трудно и горько писать о мертвых, которых – хоть убей – представить мертвыми невозможно. Но, как испокон известно, Высший Судия не склонен считаться с нашими поверхностными представлениями о жизни и смерти. Мало того – из поколения в поколение передается грозное и не лишенное основания поверье, что Отец небесный имеет обыкновение забирать прежде всего тех, кого Он любит и числит в своих лучших созданиях. И делает это с непререкаемым постоянством.

Кто знает, был ли любим Всемогущим Шимон Маркиш, но в одном нисколько не сомневаюсь: он и впрямь заслуженно принадлежал к когорте лучших. Лучшим он был не только для своих близких, но и для множества людей, которым посчастливилось подружиться с ним или познакомиться с его деятельностью и трудами в России, Израиле, Америке, Венгрии, Швейцарии... Шимон стал лучшим и для меня, хотя его имя в маленькой Литве знали единицы, в основном, специалисты по древней и средневековой литературе – литературоведы, знатоки латыни и почитатели Эразма Роттердамского, которого Шимон блистательно перевел на русский язык, тогда еще и в Литве служивший чуть ли не единственным поводырем по огромному лабиринту мировой культуры.

О Шимоне Маркише я услышал в Переделкино, на даче у вдовы Всеволода Иванова – царственной и удивительно молодой в свои уже очень немолодые лета Тамары Владимировны, матери одного из столпов современной лингвистики Вячеслава Иванова. Сейчас уже не помню, как зашел разговор о Шимоне, которого Вячеслав Всеволодович по студенческой привычке и на правах друга называл не иначе, как Сима, но хорошо помню, с каким искренним уважением, даже восхищением в ту хмельную пору начала перестройки говорили о нем Ивановы.

– Между прочим, Сима и о вас говорил весьма похвальные слова, – сообщил Иванов не избалованному в СССР похвальными словами гостю, упорно писавшему в имперской провинции романы на «крамольные» еврейские темы. – Если когда-нибудь попадете как народный депутат в Женеву, разыщите Симу. Он профессорствует в тамошнем университете, пишет о русско-еврейской дореволюционной литературе и еврейских мотивах у Бабеля, Эренбурга, Гроссмана...

То ли Вячеслав Всеволодович наворожил мне дальнюю дорогу, то ли просто подфартило, но за год до того, как большинство депутатов от Литвы, посланцы «Саюдиса», сторонники независимости, несмотря на уговоры, посулы и угрозы неуемного Михаила Сергеевича сложили свои полномочия, я, председатель еврейской общины республики, добивавшейся отделения от «дружной семьи советских народов», был приглашен на конференцию не куда-нибудь – а в Швейцарию, туда, где жил и работал незнакомый мне Шимон Маркиш.

Я был, наверно, единственный участник той трехдневной, весьма представительной конференции, которого меньше всего интересовала

ее повестка дня. Моя голова, да простят меня устроители, была забита мыслями не столько о методах борьбы с проявлениями антисемитизма в Восточной Европе, сколько о предстоящей встрече с Шимоном Маркишем. Убежденный в том, что антисемитов на свете всегда было и будет больше, чем методов борьбы с ними, я то и дело заглядывал в свою записную книжку, стараясь на случай ее пропажи выучить добытый заблаговременно адрес: Bovy Lysberg, 3.

– Улица Бови Лисберг, дом три, – нараспев повторял я, рассеянно слушая презентабельных докладчиков.

Шимон встретил меня не как случайного гостя, Бог весть откуда залетевшего в благословенную Швейцарию, а как старого знакомого, с которым из-за своей занятости виделся реже, чем ему хотелось бы. Он весь лучился тихим и деликатным дружелюбием. Никакой профессорской значительности, никакого хозяйского превосходства или притворного радушия.

– Проходите, проходите! Посидим с вами и потолкуем о том, о сем, как и подобает двум старым евреям.

От его чуть насмешливого подбадривания я почему-то еще больше смешался, но безропотно последовал за ним в его рабочий кабинет.

Не желая, наверно, попусту тратить время, Шимон без всяких предисловий спросил:

– Что пьете? Коньяк? Виски?

– Уже не пью.

– Да вы не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома, как и они, – он вдруг добродушно улыбнулся, обвел рукой книжную полку и продолжил: – Как видите, у меня квартируют многие писатели. И вы с вашими «Слезами и молитвами...» тоже.

– Вы читали мой роман? – не то с радостью, не то с удивлением произнес я, польщенный его признанием.

– Не только читал. Но даже порекомендовал его итальянцам. Разве вам не звонили из Милана, из издательства Фельтринелли?

– Звонили. Собираются договор заключить, – ответил я, поблагодарив.

– Не стоит благодарности. Хорошая книга и без проводника не заплутает. Рано или поздно дойдет куда надо.

Мы сидели и неспешно беседовали о книгах, в кабинете их было не счесть, как и рукописей, которыми был завален письменный стол. Говорили о том, о чем два еврея толковали бы и на Северном полюсе – конечно же, о евреях, о том, что хорошо для евреев и что плохо; и о близкой сердцу русско-еврейской литературе, о которой с такой страстью писал Шимон. Он подробно расспрашивал меня о съезде народных депутатов в Москве, утверждая, что горбачевский крокодил, то бишь «социализм с человеческим лицом» – полнейшая чушь; с неброской настойчивостью допытывался о «поющей революции» в Литве, спрашивал, извлекут ли после победы литовцы уроки из своего кровавого прошлого. О чем бы ни заходила речь, Шимон ненавязчиво, с завидной непринужденностью демонстрировал свою человеческую и профессиональную основательность, свои прямо-таки невероятные познания и непоколебимую позицию гражданина мира, которому дорого все, что ведет к взаимопониманию между людьми, и

ненавистно то, что угнетает их, сталкивает и разъединяет. Не опускаясь до дешевого, повсеместно востребованного национализма, он ратовал за национальную неповторимость и особое предназначение каждого народа – и не только избранного.

В Шимоне – и это я почувствовал при первой же встрече – прекрасно дополняя друг друга, как бы уживались два человека: один – сегодняшний, глубоко укорененный в «боевую, кипучую» действительность, вовлеченный во все ее драматические и трагические перипетии, и другой – явившийся из эпохи Возрождения энциклопедист, готовый за свои убеждения пойти, что называется, на плаху, способный воплотить свои идеи «в строчки и другие важные дела», чтобы приблизить, как говаривали в старину, «царство правды и справедливости»...

Выдающийся ученый, блестящий эссеист, великолепный переводчик, он действительно воплотил многое, что заслужило самой высокой оценки и не утратило своего интеллектуального блеска. Многое, спору нет, но мне всегда казалось, что он давно созрел для большого художественного полотна.

Я не раз уверял Шимона, что он смело мог бы посоперничать и со своим братом Давидом, в доме которого состоялась наша третья и, увы, последняя встреча, – сесть и написать роман. Делясь с ним впечатлением, которое на меня произвело его эссе о Богрове, напечатанное в «Иерусалимском журнале» и отличавшееся всеми признаками истинной прозы, я стал наивно агитировать Шимона «отдохнуть» от литературоведения и переводов и примкнуть к нашей гильдии романистов, она-де примет его с распростертыми объятьями. Но Шимон отшучивался: в еврейской литературе два брата-романиста уже были – Исраэль и Ицхак Зингеры, зачем ей, помилуйте, вторая пара...

– Уж вы, Гриша, сами соревнуйтесь с Давидом. А мне поздно меняться. Вы же лучше меня знаете, что портному на старости глупо браться за шило. Каждый пишущий живет и умирает в своем слове.

В жизни так бывает: что-то скажет человек, а у тебя вдруг кольнет в груди и дух перехватит.

Это – метафора, не более того, подумал я. Шимон моложе меня. Он полон жизни, сработан надолго, ему жить и жить в своем слове, как, скажем, в уютном обустроенном доме в Женеве или в тихом пригороде Тель-Авива – у мамы в Ор-Еуде... Разве слово не подобно просторному и нерушимому дому, умело и бережно построенному мастером для себя и для тех, кто в него постучится?

Но недаром говорится – человек предполагает, а Бог располагает. Бог, который одним движением своей мощной длани выхватывает из бесконечной череды живых того, кого любит, и забирает на веки вечные к себе. Ему нет никакого дела до того, что на столе распахнута рукопись, что предложение оборвано на взлете, что в нем поставлена только запятая...

Смерть запятых не ставит – только точки. Но и она не всесильна. Кто жил словом и кто жил в слове, кто отдал ему свою душу, кто утешил и возвысил им других, тот в слове и останется жить. Сима, Симон, Шимон Маркиш останется.

Борис Клейман

ДВА ПИСЬМА

Зачем мне Плутарх? И интересы уже другие, и денег за трёхтомник просили немеряно…

…В начале зимы 1991 года в «Литературной газете» появилась статья за подписью неведомого мне Шимона Маркиша о проблемах или, лучше сказать, о природе русско-еврейской литературы. «Неведомого» потому, что на Южном Урале, где я родился и обитал в то время, политические треволнения вместе с ростом национального самосознания и литературно-театральными бурлениями в столицах Союза долетали в виде словесных брызг, смутных слухов и неясных сплетен. Тем паче, что Шимон Маркиш покинул СССР в 1970, когда меня, пубертатного подростка, интересовало всё, что угодно, но только никак не литература с её национальными и, в частности, еврейскими проблемами. Фамилия Маркиш мне была известна с детства: бабушка, наряду с шеститомником Шолом-Алейхема, держала на этажерке и двухтомник поэта Переца Маркиша и упорно заставляла меня читать то одного, то другого. Стихи? Ребёнку десяти лет? Я возненавидел поэзию вообще после такого приобщения к литературе. И никакие уговоры: «Ты должен это знать, это еврейский поэт!» – меня не могли заставить читать Маркиша. В наследство от бабушки мне и достался этот зелёный двухтомник. Уже позже я понял: Перец Маркиш – это тот поэт, стихи которого должны стоять на домашней полке. Не обязательно их знать наизусть – достаточно к ним прикасаться иногда, пропуская дежурную революционную патетику. Но имя поэта и имя автора статьи в «Литературке» никак не связывались между собой. Получив философское и филологическое образование, я старался оперировать фактами, а не домыслами. А фактов не было. Даже старшее поколение евреев в нашем городке ничего не слышали о человеке с именем Шимон Маркиш.

Однако это небольшое газетное эссе, несмотря на свою краткость, было настолько информативным и воистину литературоведческим (по такой научной литературе я давно истосковался – не было её в те годы), что заставляло читать и перечитывать его несколько раз. В конце концов возникли вопросы, а задать их было некому. Тем более, что актуальность этих вопросов была для меня неразрешимой: я, опубликовавший к тому времени несколько лёгоньких статеек в молодёжной областной прессе, задумал роман, «даль» которого «через магический кристалл ещё не ясно различал».

И я написал Шимону Маркишу письмо.

У меня не было другого выхода.

Я что-то ему возражал, приводя в пример то Гроссмана, то Рыбакова, то ещё каких-то писателей с еврейскими фамилиями, которые издавались в прошлом и стали появляться в начальные годы перестройки. Я

что-то спрашивал, просил уточнений и разъяснений. Копии не сохранил – никогда их не делал. Теперь жалею. Отправлять на «деревню дедушке», даже если такой деревней была Женева, я не рискнул. Без особой надежды я обратился в Генеральное Консульство Швейцарии с просьбой переслать моё письмо господину Маркишу. Спустя два месяца к величайшему своему удивлению получил ответ.

Женева, 24 марта 1991
Многоуважаемый господин Борис Клейман!
<...>
Прежде всего, позвольте не согласиться с Вами: ни Василий Гроссман, ни Анатолий Рыбаков к русско-еврейской литературе, как мне видится, не принадлежат. Оба писателя чисто русские, но обращавшиеся, в силу определённых обстоятельств, к еврейской тематике. Гроссмана (в маленькой книге о нём, вышедшей по-русски в Израиле) я определяю как русского писателя еврейской судьбы. К Рыбакову и такое определение неприложимо. Шмуэль Гордон – идишистский писатель, а не русско-еврейский. Тот факт, что он сам себя переводит, ничего не меняет.

С другой стороны, я согласен с Вами, что в предлагаемой мною схеме нет места для ассимилированного поколения, вновь обретающего национальное самосознание. Но, возможно, и Вы согласитесь со мной, что одного лишь чувства и темы – недостаточно. Это лишь первый шаг, и, как бы ни был труден второй, третий и следующие, их необходимо сделать. Иначе, как ни грустно это признавать, работая над романом, о котором Вы упоминаете в своём письме, и даже опубликовав его (дай Вам Бог!), Вы останетесь русским писателем еврейской судьбы, хотя и в ином по сравнению с Гроссманом варианте последней.

Если оживление культурной жизни в Вашей стране будет продолжаться, тогда – я уверен – Вы найдёте средства узнать цивилизацию нашего народа хотя бы, как говорят математики, в первом приближении. Могу вас заверить, что очень многие из Ваших бывших соотечественников (и я в том числе) готовы сделать всё, что в наших силах, дабы помочь Вам в этом. Вам лично и Вашему потерянному и вновь обретённому поколению.

С глубоким уважением и пожеланием удачи Шимон Маркиш.

Содержание письма заставляло перечитывать его многократно. И это понятно – на памяти моего поколения литературоведение впервые поднимало вопросы еврейской литературы. Мне показалось странным определение «русский писатель еврейской судьбы». Я вновь написал Маркишу письмо, в котором снова задавал вопросы, снова приводил имена еврейских писателей.

Женева, 28 октября 1991
Многоуважаемый господин Клейман!
<...>
Вы понимаете сами, что я не в состоянии пересказать Вам содержание моей книжки о Гроссмане, ни прислать её Вам. В двух сло-

вах: еврейская судьба русского писателя – это личные обстоятельства, созданные его происхождением, которые так или иначе, но решительным образом формируют его судьбу. В случае Вас. Гроссмана это определение «работает», а в случае Евгения Долматовского (называю первое пришедшее на память имя) – нет; полагаю, что в случае Ильи Эренбурга – тоже нет, хотя он без конца повторял, что он еврей, и еврейская тема занимает довольно важное место в его лит. наследии. (Что до Абрама Каунельсона, то впервые узнаю о его существовании от Вас).

Если не ошибаюсь, я писал Вам о социальной репрезентативности, т.е. способности быть голосом какой-то группы в еврействе. Скажем, вновь уверовавших в Бога, или, напротив, агрессивных агностиков, испытывающих острую неприязнь к «хранителям заповедей»; или, по иным параметрам, безоговорочных друзей Израиля, или, напротив, апологетов (даже певцов) рассеяния (например, «комиссары» от Троцкого до ничтожного Безыменского), такой литератор к еврейской литературе никакого отношения не имеет. Это, в какой-то мере, отвечает на Ваш вопрос насчёт Галича и Бродского. А также на незаданный вопрос и насчёт Пастернака или Мандельштама.*

Когда-то выбор был в большей степени инстинктивным, хотя уже и в прошлом веке достаточно многие евреи делали его сознательно. Теперь, когда в России культурная и религиозная принадлежность к еврейству выветрилась из семейных традиций почти полностью, выбор, трудный, т. е. требующий немалых усилий и мужества, становится необходимым условием. Я бы сказал даже, что сегодня еврейство – это выбор, и не только для российских евреев, но и повсюду в мире.

Ведёт ли выбор (или, как Вы выражаетесь, самоограничение) к обуживанию возможностей, писательских и личностных, – вопрос, далеко выходящий за рамки нашей с вами переписки. Скажу только, что без определённого выбора, как мне представляется, писателя не бывает. Вместе с тем, азбучной истиной, банальностью даже является то, что сам по себе выбор ничего в писательской судьбе не определяет. Ведь нельзя же сесть за машинку и сказать себе: напишу гениальный роман. Так же точно нельзя сказать себе: напишу еврейский роман. Литература – не то же самое, что публицистика (не выше, не ниже – просто нечто иное). Задачи и цели любой литературы, в том числе и еврейской, – сама литература. Вы скажете, что это тавтология или софизм? Может быть, но другого ответа я не знаю. Прошу Вас также иметь в виду, что я далёк от мысли поучать кого бы то ни было, равно как и от мысли, что я владею истиной. Просто-напросто я пытаюсь с Вами поделиться своими мыслями, никого и ни к чему не обязывающими.

Желаю Вам всего самого лучшего. Шимон Маркиш.

Эти два письма, читанные-перечитанные, вызвали целую бурю эмоций. Во-первых, чувство глубочайшей благодарности человеку,

* Подчёркнуто Шимоном Маркишем.

находил время среди своих занятий, я полагаю, очень напряжённых, чтобы ответить совершено незнакомому человеку в далёком городишке, затёртом между Уральскими хребтами. Ответить подробно, тщательно всё разъяснив, несмотря на свои оговорки: «в двух словах». Что он Гекубе, что ему Гекуба? Уже за одно это чувство благодарности Шимону Маркишу не покидает меня до сих пор. А во-вторых, я вдруг обратил внимание, что и самого учёного, исследователя и первооткрывателя темы русско-еврейской литературы не покидает чувство сомнения в своей правоте: «...тавтология или софизм? Может быть...» Это позже я узнал, что Маркиш, помимо прочего, талантливейший переводчик с латыни и древнегреческого. И сократовский призыв: «Сомневайся во всём» – не только признак профессиональной эрудиции Маркиша, но и его кредо интеллигента.

Эти два письма стали если не путеводной нитью во всём, что я писал и пишу, то неотделимой частью моей жизни – точно. Переписка наша возобновилась после моей репатриации. Уже здесь я закончил и опубликовал, несмотря на терзавшие меня меня сомнения, роман. Первый же экземпляр, после предварительного звонка в Женеву (удивительно, но спустя десять лет Шимон Маркиш помнил о странных настойчивых письмах человека из глубокой провинции!), я отправил ему. И вскоре получил очень тёплый ответ, с элементами критического разбора. Самореклама не красит никого, тем более что для меня это письмо сугубо приватное. Наша дальнейшая переписка носила, к сожалению, фрагментарный характер: я его поздравлял с Песахом, он мне отвечал: «*Дорогой Борис! Ваше поздравление застало меня в Женеве случайно. Всю зиму и весну я провожу в Венгрии, и в Женеве бываю наездами...*» Что я ему мог сказать? Это его, прошедшего через анафему и ссылку, одного из первых, рискнувших «вырваться за флажки», переводчика, литературоведа, редактора, критика, философа – его надо было бы слушать. Слушать так, как внимают любимому лектору студенты, едва поспевая конспектировать. Больше десяти лет я ощущал его присутствие в своей жизни. Каждый пишущий всегда представляет – явно или смутно – своего читателя, свою аудиторию. Я всегда стремился писать так, чтобы было не стыдно показать Шимону Маркишу. А иначе зачем? Не знаю, получалось ли, получилось ли... Чувство его поддержки не покидает меня до сих пор.

За тринадцать лет знакомства мы ни разу с ним не встретились.

Больно...

Там листья не шуршат в таинственной тревоге,
А, скорчившись, легли и дремлют на ветру.
Но вот один со сна поплёлся по дороге,
Как золотая мышь – искать свою нору...

(перевод с идиша Анны Ахматовой)

Теперь переводы стихов Переца Маркиша на русский и Плутарх в переводе Шимона Маркиша стоят на одной полке – рядом.

Белла Верникова

«...В СПОРЕ И В СОГЛАСИИ»

Хочу начать с цитаты: «Совсем не надо, чтобы тот человек, который занимается академической работой, был бы академически оформлен, назван, но он должен быть там, где работают, потому что работать одному нельзя. Работа – это тоже столкновение мыслей, систем решений, работа ... не монологична – она драматургична и нуждается в споре и в согласии с временем и товарищами». В справедливости этого утверждения, высказанного Виктором Шкловским*, я убедилась на собственном опыте общения с Шимоном Маркишем.

На проходившей в 1997 году в библиотеке Общинного дома в Иерусалиме презентации книги «Бабель и другие», куда вошли статьи Шимона Маркиша, собранные Леонидом Финбергом в киевском издании 1996 года, я подошла к автору с тем, чтобы он подписал мне свою книгу. Маркиш держался просто, и я сказала ему, что пишу докторат о русско-еврейских писателях Одессы второй половины XIX – начала XX века, знаю его статьи об Осипе Рабиновиче и о русско-еврейской литературе и хотела бы, когда диссертация будет готова, познакомить Маркиша со своей работой, на что получила любезное согласие.

В 2001 году я представила диссертацию в Сенат Еврейского университета в Иерусалиме. В отделе аспирантуры моему научному руководителю Илье Захаровичу Серману предложили составить список нескольких авторитетных ученых – судей (так в буквальном переводе с иврита именуются научные рецензенты) – которым моя работа будет послана на отзыв. В числе судей был назван Шимон Маркиш. Его статьи в «Новом литературном обозрении», в «Егупце», в «Краткой еврейской энциклопедии» и других изданиях 1990-х возродили научные разработки русско-еврейской литературы, прерванные в Советском Союзе еще в начале 1930-х годов негласным запретом на еврейскую тематику в науке и литературе.

В своем отзыве Шимон Маркиш отметил полноту картины, указав, что в диссертации использованы все возможные источники, которые могут содержать тексты русско-еврейских писателей. Похвалы удостоилась атрибуция текстов – установленное в моем исследовании авторство ряда не выявленных ранее анонимных публикаций Льва Пинскера и Авраама-Ури Ковнера в одесских и петербургских газетах 1860-1880-х гг. При этом Маркиш высказал несогласие с отдельными теоретическими выводами, представляющими одну из позиций современной еврейской историографии, сводящейся к тому, что эмансипация евреев в России второй половины XX века и сионизм не противо-

---

* Виктор Шкловский «Юрий Тынянов». ЖЗЛ. Москва, «Молодая гвардия», 1966.

положны, а дополняют друг друга. Ш. Маркиш, напротив, и в отзыве и в своих статьях разделял выработанную ранней русско-еврейской историографией концептуальную схему идейно-политической деятельности евреев России – противопоставление периода еврейского Просвещения (*Хаскалы*) 1840-1870-х гг., с его эмансипацией и аккультурацией, эпохе еврейского национального возрождения 1880-1900-х гг. как денационализирующего и национального этапов новейшей еврейской истории.

Обе его оценки – позитивная особенно и негативная в определенной степени – вызывали желание продолжить работу, чем я и занимаюсь сегодня.

В Москве 1994 года была издана «Книга псалмов» в переводе Наума Гребнева. В предисловии «Господь – сила моя и песнь...» Шимон Маркиш возвращает еврейской культурной традиции Давидовы хвалы Всевышнему, *теилим*, характеризуя канонический корпус текстов как составную часть еврейского Священного Писания с тем, чтобы приблизить читателей московской псалтири к библейской «Книге хвалений».

Помянем здесь Сергея Аверинцева, апологета еврейской культуры, чье послесловие «Арфа Давида и русские ямбы» заключает московскую псалтирь, открывающуюся статьей Шимона Маркиша. Аверинцев, отдав должное рифмованным переводам Наума Гребнева, подчеркивает изначальную поэтическую природу верлибров царя Давида: «Я думаю, что новые поколения захотят пережить резкую сжатость и первозданную древность способа выражения, присущего поэтике псалмов в оригинале». К счастью, пожелание Сергея Аверинцева сегодня осуществимо. В Иерусалиме, в национальной библиотеке Израиля хранится еще одна псалтирь – 1994 года, изданная в Одессе «Книга хвалений» в переложении Бориса Херсонского, воссоздающего в русском тексте поэтические особенности древнееврейского оригинала. Составители одесской псалтири включили в книгу и краткую антологию «Псалтирь в русской поэзии», чтобы дать читателю представление о том, какое влияние оказали на российскую словесность «молитвы Давида, сына Иесеева».

Лорина Дымова

ОБ ОДНОМ ГОСПОДИНЕ, КОТОРОГО ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ НА ЗЕМЛЕ

Когда человек уходит, меняются не только его фотографии. Меняешься ты сам. Начинает совсем иначе работать механизм памяти, меняется взгляд на отношения с этим человеком, особенно, если он был твоим другом на протяжении почти всей жизни.

Умер Лёня Черкасский, и я мгновенно забыла причины наших нередких ссор и размолвок, не могу вспомнить, из-за чего иногда от него уставала, почему обижалась. Да, что-то такое было... Но почему?

Благодарно помню только хорошее – его благородство, порядочность, талант, остроумие. Помню, какую огромную роль сыграл он в моей жизни, как помог встать на ноги и удержаться на зыбкой литературной почве, как щедро поделился своими деловыми связями и знакомствами, чем, как грибными местами, в литературных чащобах делятся особенно неохотно.

...Зима. Дом отдыха в Новогорске под Москвой. Я – молодой инженер, работаю в НИИ, но это только называется «работаю», поскольку приношу советской науке больше вреда, чем пользы. На самом-то деле пишу стихи, пробую переводить, брежу поэзией – ничто другое не интересно. И вдруг – настоящий, всамделишный п и с а т е л ь, п е р е в о д ч и к! Печатающийся в журналах, которые я читаю взахлеб, выпускающий книги своих переводов, и не каких-нибудь чехов-болгар, а китайской классической поэзии!

Кроме восхищения, в моем отношении к нему присутствует и легкая корысть: а вдруг ему понравится хоть что-нибудь из того, что я пишу? А вдруг поможет! Договариваемся, что, вернувшись в Москву, я покажу ему свои стихи.

В Москве встречаемся, я приношу стихи и переводы. От чего-то он приходит в ужас, что-то одобряет. Обижаюсь, но слушаюсь, потому что он н а с т о я щ и й писатель и он-то уж точно знает, как правильно писать стихи, а тем более переводить! Через какое-то время, когда переводов у меня набирается уже немалое количество (в силу сложившихся обстоятельств я переводила стихи болгарских поэтов), мой учитель предлагает пойти с ними на радио, показать переводы в редакции зарубежной литературы, в которой сам сотрудничает.

По переводам этим делают передачу, просят принести еще – и я наконец узна*ю*, как выглядит счастье. Кроме того, я получаю гонорар, 97 рублей, что больше моей ежемесячной зарплаты в институте! С удвоенным энтузиазмом продолжаю переводить, теперь уже не только ради любви к искусству. Сначала каждую подборку показываю Лёне – как в ОТК, а потом начинаю действовать самостоятельно.

Проходит около двух лет, и у Лёни возникает идея отнести лучшие из переводов в «Иностранку», где он регулярно печатает своих китай-

цев. Не верю своим ушам: в «Иностранную литературу»!!! Он знакомит меня с Татьяной Петровной Карповой, которая печатает большую подборку моих болгар и вообще включает меня в состав постоянных переводчиков журнала, и это уже подлинная «путевка в жизнь». Я становлюсь «известной переводчицей болгарской поэзии» (что помогает мне публиковать и собственные стихи), вступаю в Союз писателей СССР. И начало этому положил, безусловно, Лёня Черкасский. Мы же с ним давно уже друзья, он для меня уже не Леонид Евсеевич, а Лёня, и мы на «ты». Он часто бывает у нас дома, и всегда – с каким-нибудь необыкновенным книжным подарком. Первую, изданную в 60-е годы, небольшую книжечку Марины Цветаевой я получила из его рук, как, впрочем, и еще массу вожделенных, недоставаемых в те времена книг.

В Израиль мы уезжали по одинаковой причине: и его дочь с семьей, и мой сын уехали раньше, и, конечно, через какое-то время каждый из нас решил ехать вслед за детьми.

Обменивались опытом, упаковщиками, продавали квартиры. Поскольку мы с мужем уезжали первыми, я объясняла Лёне, как грамотно (хотя можно было и неграмотно) поить таможенников, и уже здесь он весело рассказывал мне, как, используя наш опыт, он легко и без потерь прошел таможню, изображал, как непросыхающие сторожа границы объясняли ему, какой он «классный мужик».

В Израиль Лёня приехал через два месяца после нас, в конце ноября 92-го, и, разумеется, немедленно позвонил. Поселились мы в разных городах, но общались не меньше, чем в Москве. Этому помогало то, что Лёня раз в неделю приезжал читать лекции в Иерусалимском университете и почти каждый раз оставался у нас ночевать.

Это были потрясающие вечера! Никто другой не мог так, как он, оценить приготовленную еду, так картинно смаковать блюда, изобретать такие необыкновенные похвалы хозяйке и тосты в честь нее. Он вообще умел радоваться жизни, вникал в суть происходящего, ничего не делал машинально, пытался извлечь удовольствие из любого действия. Приходил всегда с огромным пакетом лакомств и деликатесов, как Дед Мороз, и с удовольствием наблюдал, как я вытаскиваю «гостинцы» из мешка и радуюсь им. Не радоваться же было невозможно: он никогда ничего не покупал просто «для галочки», для того, чтобы не прийти в гости с пустыми руками. Нет, он всегда учитывал вкусы тех, к кому приходил, помнил пристрастия каждого и старался выполнить даже невыполнимые желания. Но самым интересным в трапезе были все-таки разговоры с ним, шутки, подначивания, споры.

Коньком его была, конечно, поэзия, особенно китайская. Вообще все, что касалось Китая, было его, и только его территорией, он очень болезненно реагировал, когда кто-то другой заступал на нее пусть даже на полшага. Терпеть не мог, когда не специалист принимался рассуждать на китайские темы и «всуе» произносил слово Китай. Так, когда я в одном из стихотворений нашей общей с ним книжки о Прекрасной Даме, перечисляя причины, мешающие Даме в разных странах быть счастливой, написала, что в Китае ей мешают китайцы, – Лёня возмутился и попросил изменить эту строчку ну хотя бы на «в Тайланде – тайландцы», что я, к его огорчению, все-таки не сделала,

потому что уж слишком утяжелялась строка. Еще одной болезненной темой в наших беседах был Маяковский, которого он любил, а я терпеть не могла. И когда мы в каком-нибудь вопросе кардинально расходились и начинали даже кричать друг на друга, я, дразня его, обязательно добавляла: «И к тому же Маяковский – никудышный поэт!» Он набирал в легкие воздуха, чтобы возмутиться еще сильнее, но вдруг будто спотыкался, ошалело смотрел на меня, и мы оба начинали хохотать. «Аргумент, конечно, убийственный», – говорил он, мы чокались и пили друг за друга.

...В Израиле я, кроме лирики, стала писать еще и иронические стихи, и прозу. Довольно неожиданно и случайно в моих стихах появился персонаж – П р е к р а с н а я Д а м а, но, разумеется, не блоковская, а скорее, зощенковская. Пошел просто поток стихотворений про эту самую Даму, я писала их везде: в автобусах, в очереди в поликлинику, в гостях. Моя Прекрасная Дама попадала в самые разные ситуации, но выходила из них всегда достойно, как и полагается Прекрасной Даме. Когда набралось более тридцати стихотворений, у меня возникла мысль, что было бы забавно, если б на каждое мое стихотворение откликнулся другой поэт, непременно мужчина, и осветил ту же коллизию с мужской точки зрения. Я даже придумала имя героя: он должен был называться О д и н Г о с п о д и н.

Об этой идее я немедленно рассказала нескольким приятелям, призывая их написать со мной книжку, но они идеей моей не загорелись, а может быть, просто не захотели тратить время. Зато с энтузиазмом откликнулся Лёня Черкасский. Он вообще на все откликался с энтузиазмом: на то, что ему нравилось, с восторгом, на то, что нет, – с шумным негодованием и возмущением, и ни на что и никогда – спокойно и сдержанно. От всего он взрывался, что иногда бывало и утомительно, но чаще, несравненно чаще, это вызывало к нему громадную симпатию, потому что с вялыми, равнодушными людьми иметь дело безумно тоскливо. Лёня же на все реагировал бурно – как ребенок, и на протяжении сорока лет, что мы были с ним знакомы, характер его в этом смысле так и не изменился, как, впрочем, и во всех остальных смыслах тоже.

Итак, Лёня с радостью и азартом взялся за Одного Господина. Иногда в день он писал в ответ на мою Даму по два-три стихотворения. Телефонная линия между Иерусалимом и Раананой была раскалена докрасна. Закончив очередное стихотворение, он сразу звонил, невзирая ни на позднее время, ни на неподходящие обстоятельства, и тут же по телефону мы обсуждали стихи – и его новое, и мое, на которое он отвечал, так как после его ответа иногда нужно было изменить что-то и в моих стихах. Не раз случалось, что при этих обсуждениях мы страшно ссорились: мне не нравились какие-то строчки у него, ему у меня. Причем иногда мы ссорились так, что решали прекратить дальнейшую работу, а заодно и отношения. По-моему, пишущие люди настолько ранимы и обидчивы, что затевать совместную работу могут только камикадзе. Тем не менее, неведомая сила нас снова толкала друг к другу, и мы опять брались за дело. И что интересно: когда страсти остывали, обнаруживалось, что и его критические замечания

в мой адрес, и мои в его – оказывались дельными и справедливыми, и каждый из нас, увидев первоначальный вариант стихотворения, который он отстаивал с пеной у рта, потом просто диву давался: настолько первый вариант был хуже. Так что эти ссоры и скандалы пошли книжке явно на пользу. И отношениям, в итоге, тоже.

Кое-какие строчки мы придумывали друг за друга. Так я обязана Лёне концовкой «Отношения к предмету», в котором Прекрасная Дама, непрерывно меняя наряды, дарит свои старые вещи подруге. Лёня придумал для этой истории отличный конец:

А старые вещи
подруге дарила,
и та с озлоблением
благодарила.

Это «с озлоблением» было настолько неожиданно и здорово, что я с радостью приняла Лёнин вариант.

Однажды я прочла на писательских посиделках несколько новых стихотворений и среди них «Отношение к предмету». Все смеялись, а Боря Камянов, оценив концовку, сказал с одобрением: «Да, такое могла написать только женщина!»

Книгу верстал и оформлял мой сын, по образованию художник. Лёня знал его с годовалого возраста, и однажды, придя к нам в гости, когда сыну было лет пять, положил в его копилку, хитро выставленную на видное место, целых двадцать копеек! Я запротестовала, поскольку, чтобы не портить ребенка, никому не разрешала класть в коробочку больше пятака, но Лёня с возмущением попросил оставить его в покое, а заодно и ребенка. Сын был потрясен такой щедростью, не мог в тот вечер уснуть и вообще долго не мог успокоиться. И вот спустя тридцать с лишним лет этот самый мальчик сделал нам книжку и, естественно, Лёня спросил его, сколько он должен за работу.

– А помните, – сказал мой сын, – как вы однажды положили в мою копилку целых двадцать копеек? Вы тогда и не подозревали, что сделали самое выгодное вложение денег в своей жизни!

...Несмотря на то, что оба мы убедились, какой риск для дружеских отношений заключен в совместной работе, Лёня очень хотел написать еще хотя бы одну общую книжку. Но мне не хотелось повторять тот же самый прием, и следующую книжку иронических стихов я выпустила одна. А через какое-то время Лёня позвонил и сказал, чтобы я купила «Новости недели», где напечатана его рецензия на мою новую книжку. Там опять были «парные стихи» – мои и его на одну и ту же тему, и я подумала, а не напрасно ли отказалась от второй попытки...

Он никогда не был стариком, несмотря на белую голову. Всегда, а особенно в последние годы, меня поражала его энергия, желание во всем участвовать, везде выступать, доказывать, спорить. Он совершенно не жалел своих сил и, как я теперь понимаю, правильно делал: именно поэтому до последнего дня он жил ярко и полнокровно, именно поэтому невозможно поверить, что он ушел навсегда.

февраль-март 2004

Шимон Маркиш

О ПЕРЕВОДЕ

Более ранние тексты,
использованные для доклада в Барселоне. 2000

Я начал работать профессионально в области художественного перевода осенью 1954 года, вернувшись из ссылки, окончив университет и оставшись без работы. Надо помнить, что в СССР литературным трудом можно прокормиться несравненно легче, чем на Западе и число «свободных художников», т. е. людей, у которых нет постоянного места и определенной зарплаты, весьма значительно. Их особенно много среди переводчиков, точнее, тех, кто претендует на званье переводчика: как и в первые послереволюционные годы, каждый, с грехом пополам знающий какой-нибудь иностранный язык, стремится заработать переводом. Только после революции, при Горьком, это были по преимуществу старые дамы, а теперь – наглые мальчики и девочки. И в первую очередь речь идет, конечно, о переводах с английского, поскольку именно английский – самый распространенный сегодня в СССР иностранный язык. Я вернусь к этим самозваным переводчикам ниже.

Итак, я стал переводчиком более или менее случайно. Правда, в университете я перевел одну не переводившуюся ранее речь Апулея и с громадным удовольствием вспоминал об этом времени; к тому же мои учителя очень лестно отзывались об этой работе, говоря не только о ее филологической добросовестности, но и о литературных достоинствах. Однако нельзя не признать, что таких комплиментов недостаточно, чтобы уверенно «войти в профессию». Особенно – в такую профессию, которая стояла на высоком уровне: в первой половине 50-х годов в СССР уже давно сложилась прекрасная школа художественного перевода, как поэтического, так, пожалуй, еще в большей мере и прозаического. Я говорю «еще в большей мере» потому, что в поэзии большое место занимали (и продолжают занимать) периоды с подстрочников, к которым привлекают крупных поэтов (в поисках «генеральских» имен), и они переводят со всех возможных языков, не зная ни одного, как, например, Леонид Мартынов. Не только переводят, но еще и теоретизируют с ученейшим видом, как все тот же Мартынов. В прозе перевод с подстрочника встречается лишь как исключение – для экзотических языков, которые профессиональным переводчикам не знакомы, – и в этих случаях издательства стараются подыскать действительно опытных мастеров, которые могли бы «вытянуть» плохо понятный, плохо вписывающийся в русскую культурную традицию текст. Коротко говоря: невозможно представить себе англоязычную (английскую, американскую, австралийскую и т. д.) прозу, переведенную на русский язык с подстрочни-

ка, тогда как англоязычные стихи с подстрочников переводят сплошь и рядом.

Мне предложили перевести три диалога Лукиана для первого после войны издания этого писателя. Лукиан, высоко ценился официально, поскольку Энгельс назвал его «Вольтером классической древности», а Маркс неоднократно упоминал с одобрением. Но в то же время Лукиан – похабный, порнографический, вредный для нашей советской нравственности автор: вот мнение вполне образованного, но сознательного советского руководителя культуры. Это мнение разделяли и «новый класс» в целом, ничего не читавший, но свято верующий во все «общие установки». Когда в конце 50-х годов был переиздан «Золотой осел» Апулея (я принимал участие в издании), в издательство «Художественная литература» было переслано из ЦК КПСС письмо, полученное журналом «Партийная жизнь». Автор письма отрекомендовался секретарем одной из партийных организаций Владивостока и не только выражал собственное возмущение публикацией книжки «с пустым, вульгарным содержанием», но выступал от имени партии, которая призвана воспитывать трудящихся и не вправе давать им в руки такие книги (письмо имело заголовок: «Нужны ли такие книги?»). Том Лукиана, в работе над которым я участвовал в 1954–55 гг., мог выйти в свет только потому, что был первым выпуском серии «Научно-атеистическая библиотека». Это было характерно для любого издания: вы должны были оправдать его с идеологической стороны. Вы предлагаете издательству некую книгу, давно известную, знаменитую, но идеологически еще не признанную, – докажите, что она нужна советскому читателю именно сегодня и в большей мере, чем другие книги. Лукиан нужен потому, что он помогает нам бороться с религией. Позже, в 1958 году, я подготовил для Издательства Академии Наук первый по-русски сборник Ульриха фон Гуттена. Культурные и художественные аргументы занимали весьма незначительное место. Главным было то, что Гуттен был врагом папского Рима и сторонником единства Германии (тогдашний советский лозунг в германском вопросе).

Я с удовольствием принял предложение перевести диалоги Лукиана, которые, однако, были уже переведены и напечатаны в том, старом переводе в 30-е годы. Никто и никогда не упрекал старый перевод ни в чем. Но его выполнил в молодые годы известный советский театральный режиссер Сергей Радлов, который оказался в Риге во время войны, был за это арестован (ходили слухи, будто он сотрудничал с немцами, но никому не известно, правда ли это, а если правда, то в чем его сотрудничество с немцами выражалось) и никаких других сведений о нем в ту пору не было. Как бы то ни было, самый факт ареста *категорически исключал* возможность использовать перевод, сделанный человеком, находящимся в заключении. Вообще имя человека, так или иначе скомпрометированного, должно исчезнуть с печатных страниц. Я уехал из СССР в «братскую» Венгрию (я был женат на венгерке), но директор издательства «Советский писатель», Николай Лесючевский, потребовал вырвать и перепечатать титульный лист уже готового ежегодника «Мастерство перево-

да», членом редколлегии которого я был много лет. Между тем в выпуске «Мастерства перевода», о котором идет речь, моих статей не было: было только имя (среди полутора десятка других) на обороте титульного листа, в списке членов редколлегии.

Это следует непременно иметь в виду. Исчезновение Дос Пассоса на русском языке связано не столько с ним самим (дурным, с советской точки зрения, поведением, модернизмом и т. д.), сколько с исчезновением в конце 30-х годов (в тюрьме, понятное дело) переводчика Дос Пассоса Валентина Стенича, одного из самых блестящих и продуктивных мастеров художественного перевода довоенного времени. Арест переводчика компрометирует и его автора, если этот автор современный. Ведь переводчик сам выбрал его, сам предложил издательству или журналу. Но если переводчик оказался врагом народа, значит, все его действия политическая и идеологическая диверсия. Во всяком случае, лучше не стоит переиздавать такого автора – так надежнее, безопаснее.

30-е и 40-е годы в советской переводческой школе были годами борьбы двух главных направлений: т. наз. «технологически-точного перевода» и т. наз. «творческого перевода». Первое возглавляли Евгений Ланн, Густав Шпет (известный философ) и Георгий Шенгели. Второе связано, прежде всего, с именем Ивана Кашкина. Обе группы переводили с английского. После войны, с началом борьбы против всего западного, «кашкинцы» взяли верх окончательно. Я всегда причислял себя к последователям Кашкина, которого знал лично и ценил очень высоко как переводчика и теоретика перевода. Но нельзя забыть того печального факта, что «кашкинцы» использовали недостойные средства, чтобы добить старых врагов. В 1949 году и позже Иван Кашкин обвинял Ланна (еврея) в космополитизме. Разумеется, это не имеет отношения к сути дела, но это определило мое отношение к Евгению Ланну в личном плане. Я работал с ним как редактор («Николас Никлби» и «Домби и сын» в 30-томном собрании сочинений Диккенса) и был очень дружен с ним и его женой и постоянной сотрудницей Александрой Кривцовой, хотя с самого начала (вероятно, слишком демонстративно и потому глупо) объявил, что мы стоим на разных позициях в переводе. Мы оставались в самых сердечных отношениях вплоть до самоубийства Ланна и Кривцовой в 1959 году.

Несмотря на эту предосудительную с «кашкинской» точки зрения дружбу я оставался близок со всеми «кашкинцами», вернее – «кашкинками», потому что вся школа состояла из бывших учениц Кашкина по Институту иностранных языков в Москве. В пору, когда я вошел в их среду, им всем было за пятьдесят, и все они пользовались неоспоримым авторитетом в Союзе писателей и в издательствах. Это были: Евгения Калашникова, Наталья Волжина, Ольга Холмская, Мария Лорие, Мария Абкина и Нина Дарузес. В 50-е и первую половину 60-х годов им принадлежало бесспорное право выбора при распределении работы (заказов) в издательствах и их собственные предложения встречались издательствами и журналами с сочувствием и пониманием.

[Каждый год издательства составляют планы редакционной подготовки и планы выпуска, т. е. перспективный план на несколько лет вперед и список книг, которые могут быть выпущены в следующем году (следовательно, стадия их подготовки уже завершена). Оба плана представляются для утверждения в Комитет по делам печати при Совете Министров (в 50-е и первую половину 60-х годов – в Главиздат Министерства культуры). Планы редакционной подготовки составляются на основании заявок, поданных литераторами, а также собственных соображений различных редакций. В интересующем нас случае речь идет о редакциях переводных литератур. В издательстве «Художественная литература» (Гослитиздат в 50-е и 60-е годы) переводной литературой занимались Западная редакция (литературы Западной Европы, Америки, Австралии), Восточная редакция (литературы Азии и Африки) и Редакция стран народной демократии (литературы европейских сателлитов СССР). Была еще одна переводная редакция – Народов СССР, но она нас не занимает. Замечу только, что в этой редакции действовали особые силы и влияния, в других переводных редакциях не ощущавшиеся.

В плане редакционной подготовки были разделы собраний сочинений и отдельных изданий. Подготовка и выпуск собраний сочинений занимали много лет. Так, тридцатитомный Диккенс выходил в свет больше десяти лет, да еще предварительный этап (споры о составе редакционной коллегии, о принципах издания, о составе переводчиков и т. д.) занял не менее пяти лет. Близко к собранию сочинений стоит серия. Так, была и продолжает выходить серия «Библиотека современного романа», «Сокровища мировой лирики», «Библиотека античной литературы» (все – в Гослитиздате); одна из старейших и самых знаменитых у читателя серий – «Литературные памятники», выпускаемая издательством «Наука» (раньше оно называлось Издательство АН СССР). Вопрос о включении той или иной книги в состав серии решается каждый год заново, т. е. состав серии установлен лишь в принципе, на практике же может изменяться до бесконечности, равно как и хронологический порядок появления книг серии в свет. Наконец, отдельные издания могут быть действительно отдельной книгой (однотомником) или двухтомником и даже трехтомником. Напомню только двухтомник Хэмингуэя (конец 50-х годов), который заново открыл этого писателя молодому читателю и стал событием чрезвычайной важности в литературной жизни.]*

Заявки на издания подавались как литературоведами, так и переводчиками. Литературовед, подавая заявку, претендовал на составление (если речь шла о сборнике), вступительную статью (практически обязательную в любом переводном издании), иногда – на примечания (редко: крупный барин обычно не марает руки мелочами, которые, к

* Квадратными скобками здесь и далее выделен текст, перечеркнутый в рукописи, – очевидно, как неактуальный для доклада в 2000 году. Тем не менее, редакция сочла возможным включить его в журнальную публикацию, поскольку эти страницы и абзацы также являются замечательным свидетельством о «литературном процессе» советской эпохи.

тому же, трудно разыскивать, но примечания в советских изданиях были еще более обязательны, чем предисловия; в принципе это прекрасный порядок, но было бы интересно исследовать примечания к переводным книгам конкретно – что пропускалось комментатором по незнанию, что по идеологическим соображениям, как менялся характер комментариев по мере деидеологизации и ослабления террора и т. д.). Переводчик, обращавшийся с заявкой в издательство, хотел получить заказ на перевод – и только. Но переводчик как правило, нуждался в поддержке авторитетного литературоведа (или литературоведов), чтобы доказать важность, первоочередность своей заявки, чтобы она «прошла». Это одинаково относилось к литературе прошлого (классике) и к современной литературе, с той лишь разницей, что для современной литературы аргументация сложнее, защита современного автора от обвинений в реакционности труднее. Впрочем, такие обвинения были применимы вполне и к авторам, давно умершим. Я участвовал в первом после войны переиздании Эдгара По, который в разгар борьбы с космополитизмом и тлетворным влиянием Запада был предан анафеме как мистик и реакционный романтик. Я перевел три рассказа: «Колодец и маятник», «Система доктора Смоля и профессора Перро» (The system of Dr. Jarr and Prof. Feather) и «Ты еси муж, сотворивый сие» (Thou art the man).

Дело было в 1955-56 году, сборник подготовлялся Гослитиздатом. Когда все переводы были готовы, редакция передала книгу на рецензию кому-то из литературоведов, кому именно – я не помню, кажется, Абелю Старцеву. Рецензент предложил выбросить третий из переведенных мною рассказов. Редакция согласилась, и мой перевод увидел свет только в двухтомнике По (серия «Литературные памятники») уже в начале 70-х годов. Насколько я мог понять, предложение рецензента основывалось на двух соображениях: 1) рассказ слишком натуралистичный (полусгнивший труп в гробу), 2) цитата из Библии, вынесенная в заголовок рассказа и непременно требующая комментария, иначе весь рассказ непонятен, а советский читатель библейских реминисценций, да еще таких изысканных как «Thou art the man» давно не улавливает; но и цитата, и особенно комментарии – это неприкрытая религиозная пропаганда.

[Громадную роль при составлении планов играли протекция, вражда литературных кланов, семейственность. Почти невозможно было проникнуть в план чужаку, «аутсайдеру». Новички обычно понимали это и подавали в издательство уже готовую работу, сделанную на собственный страх и риск (это называется «самотек»), однако шансов на успех у них в этом случае было немного. Впрочем, качество работы таких смельчаков, как правило, бывало ужасным. Я помню перевод одной из повестей Фолкнера, принесенный в Гослитиздат каким-то поклонником Фолкнера. Это был инженер по профессии, он неплохо знал английский, но понятия не имел о том, что такое художественный перевод. Легко себе представить, каким бессмысленным набором слов была его рукопись.

Еще важнее была роль протекции при распределении заказов, шедших, так сказать, сверху, иначе говоря – при распределении ра-

бот, запланированных издательством и не имеющих хозяина с самого начала. Речь идет о собраниях сочинений и о сборниках, предлагаемых не переводчиком, а составителем-литературоведом.

Томас Вулф, как известно, стал доступен русскому читателю совсем недавно. Между тем перевод был заказан издательством очень давно, и уже сам заказ был результатом давления и протекции: он был сделан дочери крупного советского писателя Всеволода Иванова. Я не стану входить в оценку профессиональной квалификации Татьяны Ивановой, но и заказ, и оформление договора (с выплатой аванса, сколько я помню, и в любом случае, с принятием издательством известной финансовой ответственности) были бы едва ли возможны, если бы книгу предложил какой-нибудь никому не известный любитель Вулфа или кто-нибудь из начинающих переводчиков.

Редакции журналов практикуют более гибкую, чем издательства, систему планирования материала и, соответственно, заказов. Здесь переводчик играет большую роль, активнее предлагает, эффективнее участвует в обсуждении возможностей (или трудностей) публикации, в закулисной борьбе между хозяевами, т. е. главными редакторами разных журналов. Попытаюсь показать это на примере «Происшествия в Виши» Миллера.

Я не могу припомнить года, когда пьеса появилась в журнале «Иностранная литература», но это без труда устанавливается по годовым содержаниям журнала. (В Женеве подборок «Иностранной литературы» нет.]

В конце весны 1964 года мне позвонила переводчица Елена Голышева. Мы начали работать вместе в конце 50-х годов, когда я редактировал ее перевод романа Джеймса Олдриджа «Не хочу, чтобы он умирал» для той же «Иностранной литературы». Е. Голышева постоянно переводила вместе с Борисом Изаковым, в прошлом крупным политическим обозревателем, который проштрафился во время космополитской кампании конца 40-х годов и с тех пор подвизался в художественном переводе. Сохранив хорошие связи и среди идеологических боссов в стране и среди «прогрессивных» литераторов за границей, он всегда знал, что нужно печатать и где достать нужный текст. Олдридж был не просто бездарный пачкун, но и дружок Насера. Естественно, что я не хотел пачкать руки, но сама Голышева мне очень понравилась, а ее аргументы показались мне убедительными в то время. Она напрямик сказала, что и сама не выносит Олдриджа, хотя лично он, по ее мнению, человек честный, но *надо* его протолкнуть, потому что это укрепит наши позиции в журнале и позволит со временем печатать настоящую литературу. Замечу мимоходом, что такая аргументация была в 60-е годы очень распространена среди либеральных интеллигентов. Голышева не обманула меня: мы работали позже вместе над Моэмом и Грэхемом Грином... Итак, Голышева позвонила мне и сказала, что есть очень важное и срочное дело и что я должен как можно скорее с нею увидеться. При встрече она передала мне текст «Виши», уже разодранный по страничкам, т. е. распределенный для работы между нею и ее соавтором, и сообщила, что вопрос о публикации практически решен в ЦК, но нужно соблю-

дать строгую тайну, чтобы не пронюхали реакционеры-сталинисты и антисемиты и не сунули редактору (тогда им был Чаковский) палки в колеса. Я прочел пьесу, был в неописуемом восторге и согласился бросить все дела, чтобы отредактировать Миллера. Мы закончили работу в какой-то невероятно короткий срок (4-5 дней), еще через несколько дней уже читали корректуру и с нетерпением ждали сигнального экземпляра журнала, как вдруг все полетело к черту: то же самое ЦК, которое, по словам Голышевой, «дало добро», запретило печатать «Виши». Все-таки Чаковский отстоял пьесу, и она появилась в «Иностранной литературе» спустя примерно полгода.

Теперь известно, что все происходило не совсем так. Кто-то из очень известных переводчиков (Голышева к их числу не принадлежала) предложил Катаеву, редактору журнала «Юность», пьесу Миллера. Он прочитал перевод и принял. Пьеса тогда только-только появилась в Москве. Был ли уже у Голышевой и Изакова экземпляр, я не знаю, но это вполне возможно. О планах «Юности» стало известно Чаковскому. Он встретился с Катаевым и очень отговаривал его печатать «Виши», потому что это – не столько антифашистская, сколько еврейская тема. Катаев стал колебаться: для него важнее всего была молодая советская литература, а не переводная и ставить журнал под удар ради западного автора явно не имело смысла. А Чаковский вдобавок донес в ЦК или попросил, чтобы на Катаева нажали из ЦК. Разумеется, в ЦК он аргументировал по-другому: мол, не дело «Юности» заниматься новинками зарубежной литературы. Одновременно он стал думать, кто может мгновенно сделать перевод для его журнала: готовый перевод он не мог взять, не обнаружив своих интриг, да, скорее всего, переводчик и не согласился бы участвовать в этих интригах. Так появился голышевско-изаковский вариант, в котором я, по неведению обстоятельств, принял участие. В какой мере Изаков был посвящен в тайну, я не знаю, но Голышева, по-видимому, так же ничего не знала, как и я (по крайней мере – до поры до времени). Но полугодичное опоздание «Виши» в журнале Чаковского было вызвано не цензурным запрещением, а скандалом, который Катаев устроил в отделе печати ЦК, когда узнал, как подло надул его «койот» (эту кличку дал Чаковскому Стейнбек, и она прилипла очень прочно).

[Вообще борьба между журналами и переводчиками играет довольно важную роль в литературной жизни. Если речь идет об «апробированном» и к тому же по-настоящему хорошем писателе, случаются иногда очень печальные для перевода вещи. Когда после смерти Хемингуэя напечатали «Праздник, который всегда с тобой», первыми английский текст получили какие-то высокопоставленные дети каких-то дипломатов (им привезли из-за границы корректуры). Они мигом состряпали ужасный перевод, и журнал – мне кажется, опять-таки «Иностранная литература», но, возможно, я ошибаюсь, – мигом напечатал, хотя давно было условлено, что переводить этот роман (или «роман») будут две знаменитые еще с довоенных лет «хемингуэевки» – Калашникова и Волжина, переводчицы «По ком звонит колокол».

Другой результат этой переводческой и журнальной конкуренции – несколько переводов одного и того же произведения. Так,

«Праздник, который всегда с тобой» вышел отдельной книгой в переводе Калашниковой и Волжиной; существует два перевода «Нашего человека в Гаване» Грина. Тут все зависит не только от качества перевода и ловкости переводчиков, но и от связей переводчика с издательством или редакцией журнала. И бывает, что после хорошего журнального варианта появляется худший в отдельном издании, т. е. в виде книги.

Вообще переводческий «истэблишмент» не в состоянии контролировать работу издательств и журналов, и это – несмотря на всю централизацию, характерную для советской системы в целом. Об этом мы неоднократно говорили в Союзе Писателей, в нашей секции художественного перевода Московского отделения Союза Писателей (я был членом бюро этой секции в 1964–1970 гг.). Разумеется, мы пытались, в первую очередь, не допускать к печати некачественные непрофессиональные, откровенно халтурные переводы, но хотели также влиять на отбор оригиналов для перевода, устраняя пошлятину, дешевку. Я думаю, что наша неудача показывает, прежде всего, силу свободной конкуренции и рынка, которая в сталинское время была практически сведена к нулю. Что же касается нашего профессионального недовольства и ущерба искусству перевода, это неизбежная цена, которую приходится платить за развитие демократии. В целом баланс оказывается положительным; многое проскакивает через цензурный контроль.]

В 1959 году я познакомился с переводчиком И. Шрайбером. Он дал мне почитать роман Э.-М. Ремарка «Искра жизни». Лагерная и еврейская тема, «абстрактный гуманизм» и антикоммунизм + настоящая литература: замечательно. Но «пробивать» (т. е. пытаться пристроить куда бы то ни было перевод) – и думать нечего. Так я и сказал Шрайберу. И прибавил: «Если бы я мог принять участие в такой работе, перевести половину, но, понятно, не для стола, а для дела, я бы отказался от гонорара», Шрайбер сказал, что в таком случае он попробует начать переговоры. Это значило, что он предложит мою долю будущего гонорара в виде взятки. В издательстве Гослитиздат, где я тогда работал, был один заведующий редакцией (называть его имя я не хочу), который вызвался нам помочь – за плату, разумеется. Мы честно рассказали ему об антикоммунистических пассажах, и он оказал, что их в любом случае придется выбросить. Шрайбер взялся это уладить с Ремарком – уговорить его согласиться на купюры. Наш «импресарио» связался с несколькими журналами, и все шло благополучно. Нас подвело то, что как раз в это время Ремарк пошел снова в ход, вошел в моду: после войны и даже в первые послесталинские годы он был символом всего растленно-западного. А тут, в начале 60-х годов, стали выходить один за другим его романы: «Жизнь взаймы», «Черный обелиск», «Триумфальная арка»... Я не знаю, что вызвало эту ремарковскую лавину, но для нас она оказалась фатальной. Слишком много Ремарка! Это было решение не ЦК, а скорее «среднего звена»: Союза Писателей или даже какой-то одной, консервативной части руководства Союза. Появились статьи в «Литературной газете» и, разумеется, письма читателей, протестую-

щих против незаслуженного интереса к буржуазному романисту, пусть даже и антифашисту, но чуждому нашей идеологии. И всегдашний в таких случаях аргумент: у нас не хватает бумаги на наших, советских писателей (каких именно – никогда не говорится), а переводная литература выходит двухсот- и трехсоттысячными тиражами. В этих обстоятельствах наша затея оказалась неосуществимой. Но важно подчеркнуть, что в принципе эта публикация была возможной, хотя роман, даже с теми незначительными купюрами, которые были неизбежны, действительно, представлял собою манифест абстрактного гуманизма, столь ненавистного официальным идеологам.

[Переводная проза и поэзия планируется только в «Иностранной литературе», в остальных журналах она почти без исключений – самотек, т. е. результат активности и инициативы переводчиков. Самотек, впрочем, бывает разный. У каждого толстого журнала, кроме, может быть, самых провинциальных русскоязычных публикаций, вроде русского ежемесячного журнала где-нибудь в Киргизии или в Бурят-Монголии, есть свои приближенные переводчики, так сказать, «друзья дома», которые делятся с журналом информацией и предлагают ему, в первую очередь, собственные работы или делают заявки. Чем больше и влиятельнее журнал, тем многочисленнее и разнообразнее его связи среди переводчиков. Первое место в мое время, т. е. в 60-е годы, принадлежало «Новому миру», в первую очередь, потому, что переводчики с западноевропейских языков – либералы по определению, и либеральный журнал представлял для них естественный центр притяжения.]

Остановлюсь попутно на этом любопытном обстоятельстве – на общественной позиции переводчиков в идеологической борьбе и в писательской жизни, в писательской организации. Наша переводческая секция всегда была самой скромной и незначительной в Московском отделении, Мы никогда «не высовывались», старались держаться незаметно. Но неизменно консерваторы, сталинисты, те, кого я бы предпочитал называть эмоционально нейтральным именем «советские писатели в прямом смысле слова», атаковали нас злобно и непримиримо. Много раз нас пытались изгнать из Союза под тем предлогом, что мы не писатели и что надо было бы создать особый Союз Переводчиков. Это, впрочем, вполне естественно и последовательно: советская литература в прямом смысле слова не должна терпеть никакой конкуренции, никакого мирного сосуществования ни с какой иной в идейном плане литературной продукцией.

[Кочетов, или Софронов, или Грибачев несовместимы не только с Фолкнером (не говоря уже о Гинцберге), но даже с Сименоном или с Агатой Кристи. А чтобы перевести таких советских писателей в американских штанах и ботинках, как Филип Боноски, особой секции в Союзе писателей действительно не нужно.]

Даже самая скромная защита своих профессиональных убеждений и интересов превращала нас, переводчиков с западных языков, в крамольников и идеологических диверсантов, по крайней мере – в глазах доподлинно советских писателей. И никакими уверениями в нашей личной преданности советской власти и делу строительства комму-

низма, никакими ссылками на разоблачительную силу правдивого изображения американской действительности у какого-нибудь Майлера или Капоте переводчик не может оправдать себя. Советский писатель в прямом смысле слова не верит ему в идейном плане (и правильно делает, на мой взгляд!) и ненавидит конкурента, отнимающего место в журнале и в издательских планах. Зачем печатать стишки сомнительного модерниста, переведенные с английского, даже если этот модернист осуждает войну во Вьетнаме, если можно напечатать своего, русского, который делает то же самое, но гораздо лучше? Это не сарказм, не преувеличение, это подлинная и очень разумная логика истинно советского писателя.

К этому прибавляется еще один, достаточно важный момент: антисемитизм. Среди переводчиков людей еврейского происхождения было особенно много, а истинно советские писатели – по преимуществу здоровые антисемиты и были и есть. Вдобавок, отрицая переводную литературу, они легко находили союзников среди неопочвенников, условно говоря – оппозиционеров справа. А для многих неопочвенников антисемитизм – не просто здоровая функция советского организма, но важный элемент идеологической программы. С этой общей, антисемитской позиции враги западничества атакуют переводчиков объединенными силами. Приведу один анекдотический пример. На общем перевыборном собрании Московского отделения Союза Писателей выступал кто-то из «консерваторов», в очередной раз требуя изгнания переводчиков из Союза, который, по его словам, из Союза Писателей превращается в Союз переводчиков. И в доказательство он привел цифры: в Московском отделении около 1500 писателей, из них переводчиков – около 800. Между тем, в нашей секции было меньше 200 человек. Мы долго не могли понять, откуда он взял эту цифру 800, думали, что сосчитал всех оригинальных писателей, которые так или иначе занимаются и переводом, и вдруг догадались; да ведь это число евреев в Московском отделении. Как в 1949-53 годах «космополит» было эвфемизмом для «жида», так теперь в Союзе Писателей – «переводчик».

Понятно, что либеральные силы в советской литературе, не только в городской, но и в деревенской (неопочвенической) ее ветви, считают переводчика своим естественным союзником и сотрудником.

Журналы, однако, начали играть роль первооткрывателей современной зарубежной литературы лишь сравнительно недавно. (Я говорю теперь о толстых журналах, а отчасти и о тонких, помимо «Иностранной литературы»). Достаточно вспомнить, что Фолкнера после войны открыл Иван Кашкин сборником «Семь рассказов» (1958 год), а не журнальной публикацией, что было бы гораздо естественнее. Между тем Роберт Пенн Уоррен («Вся королевская рать») увидел свет по-русски в журнале «Новый мир». Предложил книгу в журнал молодой, никому не известный Виктор Голышев, инженер по профессии. Правда, и это очень важно, он сын упомянутой мною выше Е. М. Голышевой, т. е. в редакции «Нового мира» его не встретили как подозрительного проходимца. И к тому же, он очень одарен литературно, и это сразу же чувствовалось в его работе. Если память мне» не изменяет, «Новый мир» открыл для русского читателя и

не изменяет, «Новый мир» открыл для русского читателя и Курта Воннегута. Только в этом случае перевод принесла старая и очень опытная переводчица, хорошо известная Рита Райт-Ковалева.

В этой же связи расскажу о переводе Джозефа Хеллера, роман которого действительно вышел под заглавием «Уловка 22», а не «Трюк 22», как я написал раньше. Выполнили перевод два журналиста; я помню и знаю только одного из них, и буду говорить именно о нем, т. к. именно он играл, скорее всего, главную роль в организации издания. Это Марк Эзрович Виленский, сын известного до войны, знаменитого даже журналиста Эзры Виленского. Его отец был настолько влиятельным человеком, что в 1946 году сумел пристроить сына в Институт международных отношений, куда доступ евреям был закрыт почти наглухо. К тому времени, когда Виленский-младший закончил учебу, Виленского-старшего уже не было в живых, и проникнуть в дипломатию сыну не удалось. Я не знаю всех подробностей его карьеры, но в 60-е годы он работал в журнале «Крокодил» (сатирическом) и писал вполне гнусно-советские политические памфлеты об американских империалистах и израильских агрессорах. Переводчиком он никогда не был, никаких переводческих, ни тем более культуртрегерских амбиций не питал, но, как и всякий нормальный человек, хотел заработать побольше денег, Он обратился со своим Хеллером в Военное издательство, по той простейшей причине, что там у него были приятели. Дело хранилось в строгой тайне (Воениздат не подвластен или, во всяком случае, тогда был неподвластен Комитету по печати), и обнаружилось только тогда, когда роман уже вышел. Переводчики были удивлены: никто не ждал от Воениздата, цитадели консерватизма и советского патриотизма, такой экстравагантности и смелости. Но никто не знал и имени Виленского, и профессиональная зависть была очень велика: вырвал изо рта такой лакомый кусок какой-то чужак. Именно поэтому, вероятно, американисты стали читать перевод с удвоенным интересом (под «американистами» я понимаю не критиков и литературоведов, а переводчиков) и обнаружили не только полную профессиональную некомпетентность, но и грубые ошибки, и беспардонные купюры, сделанные, само собой разумеется, без ведома автора. Однако в советских условиях это не повод для большого скандала, ни одна газета не напечатала бы наших разоблачений, «Литературная газета» – менее всех других; не стану объяснять всех причин, назову только одну – нежелание и опасность ссориться с Воениздатом. Тем не менее, мы решили не оставлять дела без всяких последствий, и очень уважаемая переводчица М. Лорие, член редакционной коллегии «Мастерства перевода» (в которой, как я уже писал, состоял и я) предложила напечатать рецензию на Виленского с компаньоном в нашем ежегоднике, т. е. в «Мастерстве перевода». Чем закончилась эта затея, я не знаю: вскорости я уехал. Пример этот любопытен в двух отношениях: переводческая инициатива, движимая какими угодно соображениями, от самых возвышенных до элементарной нужды в деньгах, способна в нынешних условиях опрокидывать многие идеологические барьеры; купюры в переводах – гораздо чаще дело переводчика, чем цензуры, Виленский, бесспорно,

обкорнал Хеллера заранее, прежде чем показать его бдительным и сверхпуритански стыдливым редакторам из Воениздата.

Я не знаю ни одного случая, когда цензор запретил бы или потребовал купюр, прочитав подготовленный к печати перевод. Как известно, цензор в издательствах читает книги в последней корректуре, перед подписанием в печать; скорее всего, и в журналах действует то же правило. Я даже не уверен, что цензор (по крайней мере, в издательствах) вообще читает переводные тексты. Следовательно, вся цензорская работа проводится самими переводчиками и редакторами. В дополнение к тому, что я уже рассказал выше, сообщу еще следующее.

Р. Райт-Ковалева, переводчица многоопытная и очень советская в том смысле, что никогда не совершала никаких ложных шагов, способных вызвать неудовольствие начальства, решила подготовить сборник Маламуда, по-моему – для издательства «Молодая гвардия». Надо иметь в виду, что, подобно журналам, издательства тоже делятся на более либеральные и строго консервативные, и цензурный отбор во многом зависит от общего духа издательства. «Молодая гвардия» уже давно числится среди ретроградов и сталинистов, но ее иностранная редакция странным образом ухитряется выпускать довольно любопытных и очень разных авторов. Тем не менее, и работникам редакции, и переводчикам нельзя не считаться со вкусами начальства. Само по себе имя Маламуда уже вызывает неудовольствие: американец и очевидный жид. Не исключалось и то, что кто-либо из руководства издательства знал о главной и, по сути говоря, единственной теме Маламуда – еврейской. В таких обстоятельствах можно было либо идти ва-банк, напролом, на конфликт, чего ни переводчица, ни тем более работники редакции не хотели и не смели делать, либо попытаться обмануть начальство. Райт-Ковалева ухитрилась так составить свой хилый сборничек, что в нем нет еврейской темы вообще, не считая лишь рассказика «Туфли для служанки», где происхождение героя, впрочем, только оговорено, но никакой роли не играет. Но обман начальства стал обманом, в первую голову, читателя, который получил самые неаппетитные и нерепрезентативные огрызки Маламуда. Этот прием очень распространен среди переводчиков.

[Переводчик виноват в том, что советские литературные власти могут похваляться широким знакомством советского читателя с современной американской литературой: мы, дескать, и Филиппа Рота печатали, и Сола Беллоу. Верно, печатали, но что именно? А то, что принесли догадливые переводчики: грошовый рассказик Беллоу и самый слабый, самый никакой роман Рота.]

С Ротом у меня связано некоторое совсем уже личное воспоминание. Заведующей редакцией художественной литературы в «Иностранной литературе» в конце 60-х годов была Татьяна Алексеевна Кудрявцева, переводчица с французского. В середине 50-х годов мы работали вместе редакторами в Гослитиздате и достаточно хорошо знали друг друга. Когда Кудрявцева вышла в люди, в начальство (одно время она работала с Юрием Жуковым, возглавлявшим Комитет по культурным связям с заграницей), я никогда ни о чем не просил

ее; не просил и подкинуть работки в журнале, потому что никогда в этом не нуждался. И вдруг она сама позвонила и пригласила в журнал. Оказывается, «Иностранная литература» хотела бы напечатать «The Apprentice» Маламуда. Вопрос еще не решен, но ей хотелось бы заранее заручиться моим согласием переводить. Я, конечно, тут же согласился, понимая ее мотивы: нужен переводчик, знающий еврейскую жизнь и терминологию. Мы поговорили о Маламуде, о сравнительных достоинствах «The Apprentice» и «The Fixer», о том, что русскому читателю, скорее, нужен второй роман, чем первый, и что даже с цензурной точки зрения он, пожалуй, удобнее, проходимее. Потом, пользуясь старым знакомством и откровенным тоном разговора, я спросил: «Если уж вы снимаете табу с еврейской темы, почему бы не напечатать один из лучших рассказов Рота «Фанатик Эли»? Хотите, я вам переведу?» Кудрявцева сказала, что ничего гарантировать не может, но и не исключает полностью такой возможности. Пусть, мол, я перевожу на свой страх и риск. Было это в конце лета 1969 года, Израиль и евреи постоянно мелькали в газетах в самом некрасивом виде, хотя и без той осатанелой злобы, какая хлынула после начала большой эмиграции. Итак, я перевел «Фанатика Эли» и принес перевод в «Иностранную литературу». Это было уже поздней осенью или в начале зимы, где-нибудь в ноябре, Кудрявцева прочитала рассказ и тут же вернула: «Нет, *сейчас* решительно не пойдет». – «Почему?» – «Ну, вы сами понимаете...» – «Разве что-нибудь изменилось за эти три или четыре месяца?» – «Да, многое». Я не стал уточнять, что именно, и только спросил: «А Маламуд тоже отменяется?» – «Нет, потому что ваш рассказик – это воинствующий, агрессивный национализм, а Маламуд мягче, лиричнее, нет таких острых углов».

Сколько я знаю, мягкий Маламуд тоже не появился по-русски. А Рота я напечатал в одном из русскоязычных изданий в Израиле.

[Может быть любопытной история совершенно безуспешных и безнадежных попыток «пробить» «Признания Ната Тернера» Стайрона. Ее предприняла все та же Е. М. Голышева, о которой многократно и по разным поводам я говорил выше. Голышева предлагала книгу многим журналам (я помню «Новый мир», «Иностранную литературу», нескольким журналам вне Москвы) всегда с одной и той же мотивировкой: это негритянская тема, поднятая одним из самых крупных американских писателей. Причиной неудачи надо считать не только (и, может быть, даже не столько) «попытку оклеветать национально-освободительное движение американских негров», сколько религиозные мотивы романа и, может быть, еще натурализм. Так или иначе, ни один руководитель журнала, с которым шли переговоры и которому переводчица откровенно рассказывала о трудностях (работодателю нельзя лгать, иначе рискуешь не только работать впустую, но и потерять репутацию на будущее), не соблазнился Стайроном, хотя и понимал прекрасно, что это была бы сенсация побольше Воннегута и Уоррена.]

В заключение расскажу о переводе Мелвилла, выполненном Инной Максимовной Бернштейн, в пору ее работы над этим сложнейшим текстом – еще совсем молодой переводчицей, дебютанткой. До

Мелвилла она перевела несколько рассказов Джерома К. Джерома и одну повестушку с итальянского. Мелвилл был одним из ее любимых авторов еще в университете. Все мы, учившиеся в послевоенные сталинские годы, в годы самой жестокой идеологической нетерпимости, прекрасно понимали, почему Мелвилл – это плохо; мистика, реакционная романтика, поповщина. Но оттепель соблазняла каждого из нас. Во второй половине 50-х годов значительную роль в читательской жизни играло Издательство географической литературы (Географиздат). Оно было одним из первых, воспользовавшихся оттепелью, и расширило продукцию своей научно-популярной редакции. Раньше эта редакция готовила действительно популярные брошюрки по разным отраслям географических знаний, что-нибудь вроде «Может ли человек управлять погодой?» или «У карты Сибири». Теперь они, т. е. работники редакции, среди которых было много умных и жаждущих сеять культуру людей, принялись публиковать приключения, путешествия, фантастику, этнографию, рассказы о животных, коротко говоря – все, что хоть каким-то боком могло считаться «географическим". Начали они печатать и переводы. Среди их публикаций были книги, которые едва ли увидели бы свет в других издательствах. Так, они были практически первыми, кто вернул русскому читателю Хемингуэя, я имею в виду – впервые после долгого запрета не переиздал, а дал что-то новое: они напечатали «Зеленые холмы Африки». В Географиздате вышло «Путешествие без карты» Грэма Грина. Переводчик «Зеленых холмов Африки», Виктор Александрович Хинкис, рекомендовал И. Бернштейн людям из Географиздата (назову хотя бы одного из них – Соломона Кумкиса, прекрасного организатора и подлинного культуртрегера). Обсуждая возможности сотрудничества, И. Бернштейн предложила «Моби Дик»: в конце концов, ведь по жанру это путешествие. И Географиздат подписал с ней договор. Никаких трудностей (т. е. организационных или цензурных трудностей) не было. Именно потому, что книгу готовило такое идеологически безобидное, я бы сказал, такое неидеологическое издательство, как Географиздат. Позже «Моби Дик» был переиздан Голитиздатом в исполинской и высокопрестижной серии «Библиотека мировой литературы». На этот раз нашлись и другие любители Мелвилла, которые хотели получить заказ на перевод, суливший многотысячные доходы. Но был переиздан очень хороший перевод И. Бернштейн.

За всем тем я не берусь объяснить, почему Мелвилл никогда не переводился на русский язык ни до революции, ни в 20-30-е годы. Скорее всего, это простая случайность, помноженная на трудность перевода.

На этом я заканчиваю свои заметки. Есть немало других, весьма любопытных, с моей точки зрения, деталей и эпизодов, но они касаются скорее мастерства перевода или литературных нравов вообще, чем поставленной темы: переводы американских писателей.

Видимо, 90-е годы

Шимон Маркиш

ПРОЩАНИЕ С ЭРАЗМОМ

В декабре 1979 года лозаннское издательство «Л'Аж д'Ом» выпустило мою книгу «Эразм и евреи». Книжка вышла во французском переводе, и нет практически никаких шансов, что русский оригинал когда-нибудь увидит свет. Обстоятельство это, сказать по совести, меня мало тревожит и еще меньше огорчает, но оно, как мне кажется, дает мне некоторое право самому рассказать о своей книге – на том языке, на котором она была написана.

Эразмом из Роттердама я занимался почти всю мою профессиональную жизнь в Советском Союзе – переводил, редактировал старые переводы, комментировал, писал статьи и книги. Но, уезжая в 1970 году, я был не только готов к радикальным переменам в своей профессиональной судьбе – я их самым решительным образом желал и ждал. И главным решением, главным желанием было: отныне и впредь делать свое, еврейское дело. Не так просто, однако, оборвать разом все старые связи и привязанности, и, живя в Будапеште, переводя венгерские народные сказки (что, сознаюсь, доставляло мне немалое удовольствие), я продолжал заглядывать в новые публикации, посвященные старой моей любви. Именно таким образом наткнулся я на брошюру «Отношение Эразма к евреям и еврейству», вышедшую в Тюбингене всего за год до моего отъезда к 500-летию со дня рождения Эразма, торжественно праздновавшемуся по всей Европе. Написал ее известный историк права Гуидо Киш, автор монографии об Эразме и юриспруденции его времени и, в то же время, несомненно еврейский ученый: сын знаменитого раввина из Бреслау, он получил прекрасное еврейское образование и написал немало ученых и популярных работ о евреях в средние века и в эпоху Возрождения. Брошюра привела меня в уныние, чтобы не сказать в отчаяние: оказывается, мой герой, апостол терпимости и враг фанатизма, был отчаянный антисемит, мало чем отличавшийся от Лютера, который в поздние свои годы предложил довольно подробную программу «окончательного решения».

Брошюра Гуидо Киша, казалось мне, сводила мое прошлое с моим будущим: Эразма – с евреями. Вдобавок она дразнила и подстрекала: вот он какой, твой герой и любимец – попробуй, опровергни! Я решил попробовать. Для этого у меня были вот какие основания.

Киш допустил неточность, граничившую с передержкой: об отношении Эразма к евреям он судил только по его переписке, оставив без всякого внимания не только общий контекст системы Эразмова мировосприятия, но и все, что могло быть высказано прямо или брошено намеком в бесчисленных богословских, педагогических и полемических сочинениях.

Второе, что настораживало, – ожесточение, слишком злой и запальчивый тон: в них отчетливо звучали и легко узнавались неизжитые комплексы гетто. Слишком часто мы по-прежнему делим мир на две категории, на тех, кто нас хвалит, и тех, кто бранит, и первых, в свою очередь, восхваляем, а вторых поносим или же обходим ледяным молчанием. Фигуры нейтральные, которых мы специально не занимали, нимало не занимают и нас. А между тем не гонителей и покровителей надо нам искать в минувших веках, а смысла и закономерностей своей истории, не постижимых иначе, как внутри истории окружавшего нас большинства, в связи с закономерностями этой «макроистории».

И третье: антисемиту Эразму противопоставлялся филосемит Рейхлин. Но если довольно жутким цитатам из Эразмовых писем я не мог поначалу противопоставить ничего (надо было перечитывать все, а «все» – это два года одного чтения и выписок), то каков был Рейхлин юдофил, я знал достаточно хорошо. Нет слов, мы помним и не должны забыть никогда, что в начале XYI века гуманист Иоганн Рейхлин, первый в северной Европе гебраист, мужественно защищал еврейские книги от угрозы сожжения, а юрист Иоганн Рейхлин последовательно отстаивал права евреев. Но совершенно прав был один из лучших наших историков прошлого века, Людвиг Гейгер, который считал, что враги несправедливо укоряли Рейхлина в покровительстве евреям и в дружбе с ними. Гейгер писал, в частности: «Рейхлин мог бы защитить себя словами Святого Иеронима, которые он принимал и одобрял: ненавижу народ обрезанных. Он ненавидел этот народ, видя в нем врагов христиан и христианства, но чтил в нем носителя священного предания...» Рейхлин и все его сторонники-гуманисты, в том числе и те, что создали «Письма темных людей» и подарили всем европейским языкам слово «обскурант», защищали совсем не еврейские книги и тем более не евреев, а принципы гуманистической филологии и право на свободное исследование в любой области.

К соображениям полемического, условно говоря, характера присоединилась более серьезная мысль. Хорошо, допустим, что я не углядел в Эразме антисемита, а Гуидо Киш (с помощью «Предметного указателя» к одиннадцатитомному собранию Эразмовой переписки) изобличил его в компрометирующих идеях и высказываниях. Но ведь Лютер, например, с которым не побоялся сравнить Эразма Киш, написал два неистово злобных памфлета, без конца поминал еврейские негодяйства в застольных беседах (запись которых сохранилась) и в письмах; на него ссылались многие поколения юдофобов, вплоть до гитлеровцев; на Нюрнбергском процессе Юлиус Штрейхер приводил лютеровские поджигательные речи и писания как образец, которому он, Штрейхер, следовал в своей журналистской практике. В Эразмовой традиции мы ничего подобного не находим. Эразмианство всегда ассоциировалось с терпимостью, отвращением к фанатизму, с «духом диалога», как принято говорить сегодня. Если все-таки Киш прав, тогда альтернатива «Европа Лютера – Европа Эразма», о которой довольно много говорили в нача-

ле 70-х годов, в связи с развитием Европейского экономического сообщества, альтернатива узкого национализма и широкости, универсализма, не имеет смысла: ее символы ложны. Эразм принадлежал к числу великих наставников, у которых ищут ответа на все вопросы, даже на те, которыми они, наставники, вообще не задавались. В карикатурном виде мы знаем это по обязательным – о чем бы ни шла речь – ссылкам на Ленина, Сталина или Мао. Мельком оброненные слова и замечания старательно собираются адептами, складываются одно к одному, находят свое место в системе, включаются в традицию и оказывают на будущее, на борьбу идей воздействие гораздо большее, чем специальные сочинения знатоков. Если Киш все-таки прав, историки европейской общественной мысли и историки еврейства просмотрели важный источник европейского антисемитизма, соизмеримый, по меньшей мере, с Фурье или Прудоном.

Я не стану рассказывать обо всех перипетиях моей работы – они едва ли интересны. Скажу только, что рукопись смогла стать книгой благодаря вниманию и поддержке друзей, а не ученых коллег, евреев или христиан.

Шимон Маркиш

ЭРОТИЗМ В РУССКО-ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ*

Поскольку само понятие «русско-еврейская литература» вызывало и продолжает вызывать недоумения и возражения, позвольте сделать предварительное замечание терминологического характера.

«Х-еврейской литературой» я называю литературное творчество евреев на не-собственно еврейских языках, иначе говоря – на языках окружающего большинства. Принадлежность к «х-еврейской литературе» определяется не только и даже не столько происхождением («кровью», «генами»). Необходимые признаки принадлежности писателя к такой литературе, на мой взгляд, следующие: 1) еврейское самосознание, т.е. полное и органическое ощущение себя евреем; 2) основательное знакомство с еврейской цивилизацией, живая связь с ней (и, как результат, еврейская тематика); 3) социальная репрезентативность, т.е. способность и обязанность писателя выступать в качестве представителя общины в целом или существенной ее части (этот признак можно формулировать также как особую, повышенную ангажированность еврейского писателя, пишущего на не-собственно еврейском языке). В новейшее время, грубо говоря – после первой мировой войны, универсальным и обязательным становится еще один, четвертый признак: двойная и равно необходимая в обеих своих половинах цивилизационная принадлежность – к еврейству и к окружающему большинству. Само собой разумеется, что с самого начала своего существования любая «х-еврейская литература» складывается под мощным воздействием литературы соответствующего большинства.

Русско-еврейская литература, таким образом, имеет два культурно-бытовых фона, две точки отсчета – еврейскую цивилизацию в ее восточно-европейском варианте и русскую литературу. О втором фоне я говорить не буду, предполагая его известным, остановлюсь на первом.

Еврейское отношение к чувственной любви претерпело в ходе столетий и тысячелетий значительные изменения. Жизнелюбивая и органическая откровенность библейского канона, столь восхищавшая «двуручника» Василия Розанова, в комментариях, вероятно, не нуждается. Но не могу отказать себе в удовольствии напомнить вам одну из величайших, на мой взгляд, в мировой литературе эротических историй – историю любви Амнона, сына царя Давида, к своей единокровной сестре Тамар (в русском синодальном переводе – Фа-

---

* Статья написана на основе выступления Ш. Маркиша на коллоквиуме в Лозанне в июне 1989 года.

марь) из «Второй Книги Самуила» («Шмуэль бет»), глава 13. Каждый стих этой главы, каждая деталь повествования замечательны, но одна – настоящее чудо (цитирую в синодальном переводе): «Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: встань, уйди... И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею» (стихи 14, 15, 17). Ничего подобного мы не найдем в нарративных пассажах Талмуда – агадах. Позвольте привести вам для примера одну агаду (цитирую по сборнику, составленному Иошуа-Хоной Равницким и Хаимом-Нахманом Бяликом, в переводе Семена Фруга): «У рабби Иосе была дочь замечательной красоты. Видит он однажды, как какой-то человек буравит отверстие в заборе и пытается увидеть лицо девушки. Спрашивает его р. Иосе: – Зачем ты это делаешь? – Прости, рабби, – отвечает тот, – не суждено мне обладать ею, хоть издали полюбоваться на нее хочу. – Говорит р. Иосе дочери: – Лучше бы тебе, дочь моя, в прах обратиться, чем доставлять красотою своей мучения людям!»

Эта античувственная (но не аскетическая!) направленность проходит через всю нормативную, законодательную часть Талмуда (*галаха*), регламентировавшую все сферы жизни евреев, в том числе – и самую интимную. Нормы эти, разбросанные в полном беспорядке по разным трактатам Талмуда, неоднократно кодифицировались, систематизировались; самым авторитетным из таких систематических обзоров стал «Шулхан-Арух» (т.е. «Накрытый стол»), составленный Йосефом Каро в середине XVI века и до сих пор служащий практическим руководством в повседневной жизни строго ортодоксального еврейства. Не входя в детали, отметим только: 1) подробную и скрупулезную разработку всех сторон интимных супружеских отношений и вообще отношений между полами, причем все называется своими именами; 2) строжайшее, бескомпромиссное требование сексуальной дисциплины и супружеской верности; 3) супружеский долг, вытекающий из заповеди «плодитесь и множитесь!», есть обязанность мужа по отношению к жене, но не наоборот; 4) зато преимущественное, если не исключительное право на наслаждение принадлежит жене, удовольствие мужчины рассматривается как своего рода «побочный эффект», сексуальный же аппетит жены подлежит удовлетворению всеми средствами, кроме тех, что нарушают Закон.

Таков еврейский культурный фон в узком смысле слова. Посмотрим, как он преломлялся на уровне обычаев и нравов российского еврейства в середине прошлого столетия, когда зарождалась русско-еврейская литература. Я сошлюсь на воспоминания Абрама Паперны, литератора (он писал на иврите и по-русски) и педагога, видного деятеля еврейского Просвещения (*хаскала*); он родился в 1840 и умер в 1918. Воспоминания Паперны были напечатаны в 1911 году, во втором и третьем томах петербургского сборника «Пережитое», они живописуют жизнь в местечке Копыль Минской губернии в конце 1840-х и начале 50-х годов: «Слова «любовь» не существовало

тогда на еврейском разговорном языке, потому что не существовало понятия об этом чувстве... Чувство любви, знакомое древнему вольному еврейству, было изгнано из жизни евреев диаспоры внешним гнетом, вечным страхом за завтрашний день и тяжелою борьбою за бедное существование; и если в ком-либо это чувство с особенною силою все-таки проявлялось, то на это смотрели как на явление ненормальное, патологическое... Дети различных полов редко сталкивались и мало понимали друг друга. И не успевали эти разнородные и чуждые друг другу младенцы... физически и умственно окрепнуть, не успевала заговорить в них кровь, как они уже оказывались в объятиях Гименея... Этим делом занимались родители,.. жених и невеста играли тут совершенно пассивную роль. Случалось, что они видели друг друга впервые под балдахином... Долго ждать с женитьбою детей считалось рискованным: огонь страсти, накопляясь в юноше, может вырваться с бешеною силою и натворить много непоправимых бедствий. Надо было поэтому заблаговременно умерить его, локализовать в семейном очаге и использовать на богоугодное дело – на продолжение рода. Локализованный же и использованный таким образом огонь становился священным огнем. Семья еврейская была святилищем, брачное ложе – жертвенником» (конец цитаты) («Пережитое», т. III, стр. 304-305). И дальше автор, этот убежденный, непоколебимый, не поколебленный даже Великими погромами 1881-1882 годов просветитель (*маскил*), т.е. – в принципе! – враг всего традиционного уклада еврейской жизни, признается, что (цитирую) «в подобных брачных союзах... было очень часто больше верности, прочности, больше взаимного уважения и преданности, а если хотите, и больше поэзии и любви, чем в супружеской жизни настоящего поколения... Рыцарский и вообще европейский роман завязывается и разыгрывается вне брака, и с момента венчания наступает обыкновенно развязка, конец романа; у нас же, наоборот, роман начинался с момента венчания» (стр. 305-306).

Эта социальная и психологическая ситуация, равно как и резкий перелом, совершившийся в ней к концу века (о чем ниже), определяет представление и развитие интересующей нас темы в русско-еврейской литературе. При этом, конечно, надо иметь в виду, что, как сказал однажды Илья Эренбург, настоящий писатель пишет только о двух вещах – о смерти и о любви, так что тема нашего коллоквиума, собственно, необъятна. Но попытаемся ограничить ее, если не строгой логикой, то хотя бы интуицией.

Отказываясь от систематического обзора, от перечисления скорее всего неизвестных вам имен и произведений, я хочу предложить два примера. Первый – Бен-Ами (т.е. Сын Моего Народа, псевдоним Мордехая Рабиновича, 1854-1932), прозаик и публицист, просветитель и ассимиляционист в юности, палестинофил и сионист после Великих погромов и до конца жизни. Главной своей целью он полагал внушать евреям, ассимилирующимся и уходящим, любовь к еврейству, главною ценностью – духовную мощь патриархальной массы. В 1877 он напечатал в петербургском русско-еврейском журнале «Восход» повесть «Баал-Тефило» (т. е. «Кантор»). Кантор реб Авнер

приезжает из какого-то глухого местечка в большой город на юге России, чтобы заработать несколько грошей во время Осенних праздников, когда каждая синагога, даже самая бедная, нанимает профессионала, чтобы вести службу. Он попадает впервые в жизни в оперный театр. Встреча со светской музыкой производит на него совершенно ошеломляющее впечатление, и он влюбляется в примадонну, собственно, не в женщину даже, а в ее голос. Разумеется, чувство его – более нежели платоническое, но он неимоверно страдает угрызениями совести – и умирает за заключительным богослужением Судного Дня (Йом-Кипур). Интрига, кажущаяся сегодняшнему читателю, по меньшей мере, неубедительной, основана на святом для автора принципе нерушимости духовной дисциплины и является логическим развитием еврейской системы сексуальных табу, в которую входит, как строго запретный соблазн, и женский голос, женское пение. Что же до эротики в узком смысле слова, она пробуждает лишь прямое омерзение. В автобиографическом романе «Детство», где действие происходит в 60-е годы прошлого столетия (как, впрочем, и в «Баал-Тефило»), шинкарка Зисель смотрит, как захмелевшие крестьяне нежничают со своей столь же хмельной собутыльницей: «Ой, что за трефной народ, – говорит Зисель, глядя на эту сцену с поочередными объятиями. – Это совсем не люди. Хуже свиней, право. Кажется, у скота тоже есть стыд какой-нибудь». Зисель, конечно, не принимала во внимание скрытой от ее непроницательного взгляда истории и психологии явлений и судила обо всем только по тому, что явственно и непосредственно представлялось ее глазам. А из того, что она видела постоянно, она других заключений делать не могла. И только благодаря этому, быть может, и наивному, и несправедливому убеждению, что это не люди, все подобные сцены и все гнуснейшее сквернословие не оказывали никакого дурного влияния на нравственность и целомудрие еврейской семьи, жившей среди этой кабацкой грязи. Напротив, это безобразие, которого они были постоянными свидетелями, имело свое воспитательное значение, внушая им отвращение к грубости и невежеству» (тот же «Восход», 1905, № 9, стр. 29-30).

Другой пример – беллетрист Сергей Ярошевский (умер в 1907), много публиковавший в 80-е и 90-е годы, очень чуткий ко всему новому в общественной и политической сфере, с убеждениями универсалистскими и слегка социалистическими, далекий от пламенной веры Бен-Ами в неисчерпанные и неисчерпаемые духовные силы еврейства. В дилогии «Выходцы из Межеполя» и «Конец выходцев» (1891-1896) романтическая разрушительная любовь, та самая, что традиционному еврею казалась, по выражению Паперны, «патологической», играет существенную роль. Но вот что примечательно: любовные трагедии разыгрываются в смешанных, так сказать, парах – между еврейкой и русским помещиком, между выкрестом, хранящим какую-то привязанность к еврейству, и русской барыней. Для собственно же еврейской среды характерным остается такой диалог: « – Любите вы его? – Рахиль тихо засмеялась. – Разве мы, межеполки, задаемся когда-либо подобными вопросами? У нас не спрашивают, и

мы не отвечаем. Вот у меня был жених, знатный и богатый. Он меня об этом не спрашивал, и я не допытывалась. – Значит, вы его не любили? – Я этого не знаю, так как я об этом не думала. – Но как же без любви? – Любовь является после» («Конец выходцев», в: «Восход», 1896, № 10, стр. 62)... Отнюдь не избегая эротических ситуаций, отваживаясь даже на сцены тайных свиданий красавицы-еврейки с армейским прапорщиком Василенко, Ярошевский в письме, в деталях решительно не позволяет себе ничего дерзкого или вызывающего (по тем временам, конечно). Вот максимум, на что он решается: «Василенко поднимал на руки Зельду, покрывал поцелуями ее свежие губы, ее упругие плечи и маленькие ножки. От этих страстных поцелуев девушка совсем пьянела и теряла рассудок» («Выходцы из Межеполя», в: «Восход», 1891, № 12, стр. 8).

Оба моих примера, при всем их различии, высвечивают скорее минувшее. Между тем 80-е и 90-е годы переломили жизнь российского еврейства и создали новую социо-психологическую картину. Важнейшим событием были, разумеется, Великие погромы 1881-1882 годов и последовавшая за ними массовая эмиграция. К этому надо прибавить довольно резкий рост мобильности еврейского населения в пределах черты оседлости, отчасти вынужденный – в связи с выселениями евреев из сельских местностей, отчасти же обусловленный экономически – скученностью, безработицей, нуждой. Результатом было начало разрушения главной социальной структуры патриархального еврейства – семьи, а вместе с тем – всего этически обусловленного кодекса поведения, в том числе поведения сексуального. Конечно, я знаю и сознаю, что эти социальные сдвиги – никак не еврейская монополия, но, как я уже оговорил вначале, общий, русский фон, будь то литературный, будь то исторический, я предполагаю известным и задерживаться на нем не стану.

Все это тесно сопряжено и с переменами в русско-еврейской литературе, которая в середине 90-х годов вступает, как мне видится, в новый период, ознаменованный, в первую очередь, именем Семена Юшкевича (1869-1927; первая литературная публикация – 1897).

Подлинное начало Юшкевича – повесть «Распад», написанная до первой литературной публикации, но напечатанная лишь в 1902; она принесла ему всероссийскую известность. И тема ее, материал – именно распад семьи, ощущаемый, переживаемый старшим поколением («еврейской мамой») как величайшая трагедия, катастрофа; но авторский взгляд холоден – традиционные уклад и ценности отжили свое безвозвратно. Ясно, что Юшкевич не зажмурится, не отступит перед новой реальностью, как бы уродлива она ни была. И действительно, в том же году, что «Распад», появляется написанная годом раньше повесть «Ита Гайне» – первое, сколько я могу судить, у Юшкевича приближение к общей панораме большого города, или, точнее, значительной численно и пестрой социально еврейской общины в большом городе на юге России. (Это всегда Одесса, хотя обычно имя города не называется). И уже здесь важное место принадлежит вырвавшейся из-под строгого контроля чувственности, которая легко становится предметом эксплуатации и источником наживы. Уже

здесь Юшкевич набрасывает свои первые фигуры еврейских проституток и «котов»-сутенеров. И уже тогда возникает конфликт между писателем и существенной частью российского еврейства, которая усмотрела в этом «обнажении язвы» тяжкий урон, наносимый еврейской репутации в глазах неевреев, своего рода «хиллул га-шем», непростительный грех профанации Имени Божия. (А между тем еврейский контингент публичных домов и весьма активное участие еврейского преступного мира в поставке живого товара в притоны портовых городов Российской империи и за границу давно не были секретом – об этом писали и еврейские газеты, как на идиш, так и по-русски). Конфликт продолжался до конца творческой жизни Юшкевича, потому что до конца ненасытная похоть, ее носители и жертвы привлекали самый острый его интерес, можно сказать – притягивали, как магнит. Нет смысла перечислять соответствующие названия рассказов, сборников и пьес, задержусь лучше на самом известном, пожалуй, в свое время, а теперь почти забытом (и крайне несправедливо, как несправедливо забыт и Юшкевич в целом) прозаическом произведении Юшкевича – романе «Леон Дрей» (1908-1919).

По чисто формальному, фабульному признаку это вариант плутовского романа, приключения выскочки, успешно карабкающегося по житейской лестнице. Но на европейский подвой привита гоголевская традиция: герой – не плут, а подлец («пора припрячь и подлеца»), и некоторые эпизоды прямо прочитываются как травестийные или пародийные (в тыняновском смысле). Впрочем, гоголевское начало проникает гораздо глубже фабульного и сюжетно-композиционного уровня. Перед нами не бытопись, не роман нравов, не социальная сатира даже, но мрачная фантастика, дьяволиада, только – на современный лад и масштаб. Юркий подлец вырастает в Сатану, грозящего всеобщим разрушением, но только сегодняшнего, новомодного, а стало быть, измельчавшего, часто испытывающего и страх, и отчаяние. В такие минуты он способен взывать к Богу, но и сами взывания эти – сатанинские: «Господи, Боже мой, спаси Леона, спаси мерзавца! Покажи Свою могучую руку! Сколько раз Ты прощал Своему народу его пакости, прости и сыну народа» («Леон Дрей», Роман, Часть третья, Берлин, б.д., стр. 609-610). В полосы же удачи его отношения со Всевышним выражаются такою формулой: «Молодец, Бог, ставлю тебе четыре с плюсом; когда заслужишь пятерку, поставлю и пятерку. Я добрый, но строгий. Меня не подкупишь» (там же, стр. 429). И еще цитата: «...Он мечтал о власти, презирал людей и относился к ним как к мусору, к навозу или к камням... Он презирал правду, закон... стремился поработить всех. ...Он мир готов был пожрать... Все, все для него, для его прожорливого аппетита, для его прожорливой души, для его ненасытной утробы!..» (Часть первая, стр. 74). В «прожорливый аппетит» входит, разумеется, и аппетит сексуальный. Разрушительному его утолению и отведена главная часть фабулы.

Леон хочет всех женщин – и подростков, и зрелых, и перезрелых, и красивых, и дурнушек. Хочет – и получает свое. Как, каким образом? По собственной беспредельной наглости, по глупости женщин,

по потворству мужей, торгующих своими женами. Но, видимо, также (а скорее, в первую очередь) по сатанинскому обаянию, соблазну, в нем заключенному. Однако прописать этот соблазн, помимо частых упоминаний красоты Леона, Юшкевич не смог – мне думается, не хватило таланта, – и подал его лишь намеком: «Она то замирала от ужаса, как бы опомнившись, то терялась в постыдных радостях, и было все это как кошмар; что-то очень странное, запутанное, тяжелое, мучительное, сладкое и ядовитое, от чего и бежать хотелось, но от чего не в силах была отказаться ее душа, коснувшись бездны души Леона» (Часть вторая, стр. 288). У безнадежного пошляка, у хитрого, но безмозглого воплощения элементарных физиологических функций, каким предстает Леон в своих внутренних монологах, не может быть бездны в душе, потому что и самой души-то в нем быть не должно. Да, души нет, а бездна есть, потому что, несмотря на нехватку дарования, Юшкевич все же создал своего Сатану, и черная бездна, пусть только обозначенная, названная, затягивает и проглатывает настоящие человеческие души.

Грубо чувственно – по понятиям времени и по сравнению с остальным Юшкевичем – письмо романа; оно звучит вызывающе, провокационно – и, действительно, шокировало читателя. Но оно прекрасно отвечает грубому нахрапу подлеца-Сатаны и потому, смею утверждать, художественно вполне оправдано: «Леон быстро огляделся во все стороны, нагнулся, положил руку на туфельку, скользнул по чулку, укрепленному подвязкой с боку колена, обнял девочку другой рукой, крепко прижал к себе и от волнения стал тяжело дышать» (Часть третья, стр. 417). Или еще – горничная снимает с Леона пальто: «Тот повернулся к ней спиной и, осторожно манипулируя руками, успел убедиться, что она прекрасно сложена. «Великолепная баба, – подумал он, – тело как налитое, и доступна. Что делать, люблю хорошенькую горничную, люблю их босые ноги, красные, толстые руки, голую шею, шевелящиеся вечно груди...» (там же, стр. 595).

Я не забываю, что русской своей половиной Юшкевич в «Леоне Дрее» прочитывался на фоне «Миллионов» и «Ревности» Арцыбашева, «Морской болезни» Куприна, «Греха» Муйжеля, «Любви» Давида Айзмана (в двух рассказах, составляющих дилогию «Любовь», этот русско-еврейский прозаик выступает вне какой бы то ни было связи с еврейской тематикой и мировосприятием): все названные выше произведения печатались либо в тех же сборниках, что первые две части «Леона Дрея», либо строго одновременно с ними. Но, повторю, меня занимает другой контекст – еврейского литературного творчества на русском языке, и в этом контексте роман Семена Юшкевича – прецедент, не имеющий параллелей. К тому же, когда в 1912 году, тогда же, когда появилась вторая часть «Леона Дрея», Юшкевич печатает повесть «Вышла из круга», сугубо эротическую по замыслу, сугубо русскую по материалу, она проходит незамеченной – и заслуженно.

Юшкевич, но моим представлениям, сыграл исключительную роль в движении русско-еврейской словесности. Он осмелился снять

табу с самой темы секса, чувственной, плотской любви, заговорил о ней громко и без стеснения. Но тон разговора, его эмоциональная окраска определялись прежними представлениями, унаследованными от столетий в гетто и черте оседлости: требования плоти, сами по себе, постыдны. Эротизм Юшкевича почти неизменно окрашен отрицательно. Окраска начинает меняться – у тех, кто двигался следом, в конце 1900-х, в первой половине 1910-х. До Бабеля с его ставшим крылатым «Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони», – еще далеко, но цепочка, если не влияния, то, во всяком случае, преемственности, развития, тянется к нему от Юшкевича через такие посредствующие звенья, как Николай Осипович (1870-1937) и, особенно, Александр Кипен (1870-1938).

Рассматривая культуру еврейства как некую цельность, вне зависимости от языка, на котором она творится, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что появление и развитие эротических мотивов в еврейской литературе по-русски предшествует тому же феномену в других языковых ветвях еврейской литературы новейшего времени, в том числе – и на идиш. Впечатление разорвавшейся бомбы произвели первые экспрессионистские опыты в прозе и поэзии на идиш: роман Ойзера Варшавского «Шмугларс» («Контрабандисты») (только что вышел в издательстве «Сей» в превосходном, сколько могу судить, французском переводе), ранние стихи Переца Маркиша. Яркая, осязаемая, «бесстыдная» (в кавычках!) эротичность прозы Варшавского, напряженная чувственность поэзии Маркиша одних читателей (и критиков) пугали до смерти, других приводили в восторг. То была настоящая литературная революция, но она разразилась примерно через два десятилетия после рождения проституток и «котов» Юшкевича. Здесь начало того пути, каким пошел молодой Исаак Башевис-Зингер, пути, который привел его к Нобелевской премии. Позвольте же закончить цитатою из него: «...Через соитие и любовь человеческий характер раскрывает себя полнее, чем в любых иных обстоятельствах. Возьмем человека, который в обществе играет роль сильной личности и даже диктатора. Ну, так вот: вполне возможно, что во всем, касающемся любви, он – младенец, карлик. Половые органы – самое восприимчивое, что есть в человеческом существе... По-моему, они говорят о человеческой душе больше, чем любая иная часть тела. Они вам выложат всю правду, без всякой дипломатии и без всяких прикрас»*.

* «Conversations with Isaac Bashevis Singer», цит. по: Isaac Bashevis Singer et Richard Burgin, Conversations avec Isaac Bashevis Singer, Paris, 1986, p. 52.

«СПОР ЯЗЫКОВ» – СПОР О ЯЗЫКАХ

По материалам русско-еврейской периодики, преимущественно – 1910 года

«Спор языков» – заглавье статьи Ахад-Хаама (псевдоним Ашера Гинцберга, 1856–1927), философа и публициста, основателя и весьма авторитетного главы так называемого «духовного сионизма», ставившего во главу угла возрождение национального самосознания и духовной сущности еврейства. Статья была напечатана в февральской книжке еврейского (иврит) журнала «Ха-Шилоах», выходившего тогда – в 1910 году – в Одессе. «Спорящие языки» – это иврит (древнееврейский) и идиш (жаргон», язык «массы», язык «улицы»); язык культуры и культа, переставший быть разговорным более двух с половиной тысяч лет назад, и живой язык, родной язык преобладавшего тогда большинства евреев в Европе и, вероятно, все еще большинства выходцев из Европы и их потомков в обеих Америках. Предмет спора – право быть и называться «национальным языком».

Спор этот решило двадцатое столетие, решило кроваво, бесповоротно и совсем не так, как представлялось и грезилось спорящим в начале века. Если сионисты, поборники иврита, уповали на упадок и даже исчезновение «жаргона» в течение двух-трех поколений, как могли они предвидеть, что их упование сбудется соединенными усилиями Гитлера и Сталина? Об «идишистах» уж и говорить не приходится.

Спор о национальном языке еврейского народа принадлежит истории. Но история эта начинается не в 1910 году, а гораздо раньше. Оставим в стороне хорошо известную проблему диглоссии еврейских общин в древности и в средние века и обратимся сразу к началу нового времени для евреев – к эпохе т. наз. «еврейского Просвещения» (*Хаскала*), к последней трети XVIII столетия. В ту пору подавляющая часть европейского еврейства говорила на идише, и уже отцы-основатели Хаскалы (Мендельсон, Вессели), полагавшие себе целью вывести евреев из гетто и приобщить их к цивилизации страны обитания, одною из первых и самых важных задач считали отказ от «этого отвратительного жаргона» и усвоение языка «господствующей народности». Иначе говоря, предполагалось, что диглоссия сохранится, но место идиша в ней займет язык страны обитания – немецкий, французский, русский и т. д. В России Хаскала осталась движением сугубо интеллигентским и широких слоев населения не затронула: по переписи 1897 года, почти 97 % евреев Российской империи считало родным языком идиш.[1] Что же касается интеллигенции, то она, просвещаясь, стремительно ассимилировалась и – частично – вообще уходила от еврейства, порывала с наро-

[1] Подсчеты Б. Борохова («Язык разговорно-еврейский», в: «Еврейская энциклопедия», т. XVI, СПб, б.д., столбец 376).

дом, из которого вышла. Ситуация меняется, начиная с 70-х и, особенно, 80-х годов прошлого века. Этому способствовали: 1) стремительный рост национального самосознания и национальных движений в разных странах Европы; 2) т. наз. «хождение в народ» русской интеллигенции, одна из ранних и мирных форм народничества, вызвавшая отклик и подражание в интеллигенции русско-еврейской; 3) т. наз. «Великие погромы» 1881-1882 годов, убедительно показавшие не до упора ассимилировавшимся просвещенцам тщетность их надежд на мирное и безболезненное «слияние с коренным населением». К этим факторам надо прибавить громкие, т.е. привлекавшие внимание и нееврейских читателей и критиков, успехи новой литературы на идише и позже, с конца века, еврейское рабочее движение (Бунд), для которого идиш был важнейшим, ничем не заменимым орудием агитации и пропаганды. По примеру европейских народов и вслед за ними еврейский народ ощутил себя нацией; а следовательно, вопрос о национальном языке не мог не встать. К началу нового столетия он уже стоял и достаточно остро. Приведем один пример.

В 1899-1904 годах в Петербурге выходил еженедельник «Будущность», симпатизировавший сионизму, но не уклонявшийся и от просвещения евреев в диаспоре, стремившийся к подъему «самосознания еврейской массы». В № 5 за 1900 год со статьей «По вопросу о нашем народном наречии» выступил весьма известный и авторитетный в ту пору педагог, ученый и публицист, составитель многих словарей и учебников О. П. (Иошуа) Штейнберг. Идиш, утверждает он, не просто скверен сам по себе как нелепая смесь разнородных «наречий», но и приносит еврейству громадный вред, поскольку отгораживает нас от окружающего мира и внушает ему недоверие к нам, а равно и нелепые подозрения, будто на своем непонятном никому жаргоне мы сговариваемся, злоумышляя против всех прочих. Штейнбергу возразил Моисей Перельман, убежденный приверженец Ахад-Хаама и, быть может, не меньший, нежели сам Штейнберг, патриот иврита. Его ответ, озаглавленный «О российско-немецком разговорном языке», напечатан в № 13 за тот же год. Вот наиболее любопытные аргументы Перельмана:

«Что было бы, спросим мы г. Штейнберга, если бы мы, евреи, вместо жаргона говорили между собою на древнееврейском языке, грамматику, логику и красоту которого г. Штейнберг, конечно, признает (и на котором мы, собственно, должны бы и говорить), – что было бы тогда? Разве еврейский язык не менее еще понятен господствующему миру, чем разговорный язык наш? Разве язык пророков не мог бы внушать ищущим такого внушения мнимые подозрения, которых некоторые так боятся? Почему члены всех народностей, куда бы они ни попадали, говорят меж собою открыто на своем наречии, для других непонятном, и никто упрекать их в этом не может, и только мы, евреи, должны непременно бояться говорить на нашем разговорном языке, чтобы другие не обиделись? ...Я тоже не из поклонников жаргона и не стану ломать копья за его красоту. Но называть язык пяти миллионов людей унизительным, предосудительным и т. п. эпитетами я считаю невозможным. ...Спору нет, наш

язык необработан и неудовлетворителен, даже неудобен для выражения отвлеченной мысли и т. п. Но пока народ наш на нем говорит, с ним надо считаться».[2]

Любопытна и очень показательна также короткая реплика Штейнберга на возражение Перельмана: в ней видна пропасть, делившая просвещенцев старого закала (Иошуа Штейнберг родился в 1830 и умер в 1908) и молодое поколение, настроенное национально и демократически вне зависимости от политических убеждений каждого. Это они, старозаветные просвещенцы, восхваляли благодеяния начальства, насаждавшего «образованность» вооруженной рукой, восхваляли еще в 40-е и 50-е годы, еще при жизни Николая Первого, оставшегося в народной памяти, в фольклоре символом и воплощением великих бедствий, – и Штейнберг без какой бы то ни было оговорки вспоминает «мудрого царя просветителя Николая Первого». Это они начали и беспрерывно продолжали проклинать «жаргон», мечтали вытеснить его из народного обихода – и Штейнберг только повторяет: «Мы были бы вполне удовлетворены, если бы единоверцы наши могли со временем пользоваться каким бы то ни было языком правильным, достойным изучения и доступным каждому, желающему с ним ознакомиться. ...Но мы никак не расположены ратовать за сохранение и увековечение в народе нашем этого чудовищного жаргона, ...этого дикобраза [sic!], искалечившего и наш священный библейский язык превычурными выражениями...».[3]

Но, пожалуй, еще любопытнее отклик на эту полемику со стороны Семена Фруга (1860-1916), единственного русско-еврейского поэта, достигшего общероссийской известности, просвещенца «чистых кровей»; еще при жизни он был провозглашен «национальным поэтом», и притом не ассимиляторами, но будущими классиками новой поэзии на иврите – Хаимом-Нахманом Бяликом и Шаулем Черниховским. Он пишет: «Жаргонная литература у нас существует давно. ...Между тем, говорить о жаргоне, порицать и поносить его стали только в последнее время, когда на этом ужасном жаргоне, на этом, по энергичному выражению г-на Штейнберга, языке-паразите, языке-дикобразе, стали выходить издания полезные, просветительные, будящие в еврейской массе ясную мысль и живое, доброе чувство. Неужели теперь жаргон стал более безобразен и более вреден, чем он был прежде?». Не ограничиваясь соображениями, так сказать, утилитарными, Фруг указывает именно на национальные качества идиша, на неразрывную его связь с еврейской ментальностью и еврейской историей: «...Только на жаргоне могу я услышать в удивительно забавной и шутливой форме рассказ еврея о собственном его положении, по существу, способном вызвать слезы, а отнюдь не смех и шутку. Это загадка, но надо ли искать ее решения в самом жаргоне? ...Жаргон и еврей, на нем говорящий, – это одно неразрывное целое. Для того, чтобы хорошо понять еврея, смеющегося и смешащего других рассказом, от которого на любом другом языке жутко бы сделалось, надо понимать этот жар-

[2] «Будущность», 1900, № 13, стр. 250.
[3] Там же, № 15, стр. 295.

гон, а для того, чтобы усвоить себе последний, надо сперва усвоить себе еврея...»[4] Замечательное наблюдение, очень часто и очень многими повторявшееся впоследствии!

Самым важным эпизодом в «споре о языках» была Черновицкая конференция 1908 года, созванная по инициативе литератора и философа Натана Бирнбаума (1864-1937), уроженца Австро-Венгерской монархии, прожившего значительную часть жизни в Германии. (Быть может, небесполезно напомнить, что провинция Буковина и ее столица входили тогда в Австрию). В повестке дня были проблемы собственно языковые (грамматика, орфография идиша), общекультурные (литература, театр, пресса на идише), частные (перевод Библии на идиш), но все они были оттеснены на задний план дискуссией о национальной роли идиша. Часть делегатов конференции требовала признать иврит единственным еврейским национальным языком, идиш же объявить одним из многочисленных печальных приобретений диаспоры, не имеющим никакого национального значения. Экстремисты на противоположном краю палитры утверждали, что национальным языком может быть только живой язык, звучащий в устах народа, иначе говоря, – идиш, тогда как иврит принадлежит исключительно прошлому и богослужению. Благодаря категории артикля была достигнута компромиссная резолюция: идиш – национальный язык еврейства (a national shprakh), имеющий право на политическое, культурное и социальное равенство с другими языками. Неопределенный артикль оставлял каждому возможность самостоятельно определить свое отношение к ивриту – считать и его национальным языком или же настаивать на исключительности в этой роли «языка разговорно-еврейского», т. е. идиша. Но и эта компромиссная резолюция (равно как и сама конференция с ее повесткой дня, с ее заседаниями и документацией (сплошь на идише) – вызвала бурю негодования в среде «гебраистов» вообще и сионистов в особенности.

О Черновицкой конференции и отзывах на нее писалось неоднократно[5], перейдем поэтому сразу же к спорам 1910 года, которые и составляют предмет нашего обзора и которые, сколько нам известно, никогда не были предметом специального внимания.

---

[4] С. Фруг, «Язык-дикобраз». (Заметки профана)», в: «Будущность», 1900, № 18, стр. 370.

[5] Несколько названий:

Samuel Maurice, In Praise of Yiddish, New York, Cowles, 1971.

Miron, Dan, A Language as Caliban, in: «A Traveler Disguised», ed. by Dan Miron, New York, Shoken, 1973.

Goldsmith, Emmanuel, Architects of Yiddishism, Rutherford, Fairleigh Dickenson Press, 1976.

Rothstein, Jay, Reactions of the American Yiddish Press to the Tshernovits Language Conference of 1908..., in: International Journal of the Sociology of Language, 1977, Vol. 13.

Fishman, Joshua A., editor, Never Say Die! A Thousand Years of Yiddish in Jewish Life and Letters, The Hague..., Mouton, 1981 (copious bibliography).

На идише, прежде всего, надо указать капитальный труд Макса Вайнрайха в 4-х томах: Max Weireich, geshikhte fun der yiddisher shprakh, NewYork, YIVO, 1973.

Причиною – а может быть, и поводом – послужили два события конца предыдущего, 1909 года: конференция гебраистов в Берлине и скандал на Гамбургском сионистском конгрессе. В Гамбурге российские сионисты отказались слушать доклад на идише и устроили докладчику обструкцию. Докладчик, редактор официального органа сионистского движения на иврите, заявил: «Передо мною стоял выбор между двумя доступными собранию языками: русским и еврейским. Отдавая предпочтение последнему, тому языку, который для большинства из нас является родным, я никак не мог ожидать возражений, тем более скандала. Посмотрим, посмеете ли вы взять на себя ответственность перед еврейским народом за столь возмутительное оскорбление того языка, на котором он говорит и мыслит. Презрение к народному языку равносильно презрению к народу». Корреспондент петербургского русско-еврейского еженедельника «Еврейский мир», у которого мы заимствуем приведенную выше цитату, продолжает: «Эти слова еще больше раздражают собрание. ...С разных сторон слышатся возгласы: «Это ответ на Черновицы!»[6]

Преемственность дебатов 1910 года не вызывает сомнений. Защитники идиша сделали еще шаг вперед, провозгласив: кто не с нами, тот против нас! «Кто не отстаивает в диаспоре права еврейского языка (т.е. идиша), тот сознательно или бессознательно толкает еврейство на путь ассимиляции. В таком положении оказалась на Гамбургском конгрессе значительная часть русских сионистов. Их яростные выступления против ненавистного «жаргона», их явное предпочтение русского языка знаменует собой полный отказ от идеи национализации диаспоры...».[7] Но и защитники иврита непримиримы: на упомянутой выше берлинской культурной конференции подчеркивалось, что под еврейской культурой подразумевается лишь то, что «создано на древнееврейском языке».[8] Совершенно непримиримой была и позиция Ахад-Хаама в статье, ссылкою на которую и начинается наш обзор.

Ахад-Хаам полагает, что «идишисты» отрекаются от наследия отцов, уподобляются «Иванам, не помнящим родства». «Еврейский мир» противопоставляет этому обвинению два основных тезиса:

1. Борьба за идиш – лозунг демократии, стремящейся к полноценной культурной и национальной жизни. 2. «Родной язык массы» – самый надежный «оплот» против ассимиляции, «предохраняющий от потери связи с духовным прошлым», и потому «борьба за права этого языка есть национальное дело».[9]

Другой русско-еврейский еженедельник, также выходивший в столице, «Новый Восход», возражает против мысли Ахад-Хаама, что, если ив-

[6] И. Эфрон, «Еврейский язык перед судом русских сионистов», в: «Еврейский мир», 1910, № 2, столбцы 41-42.

[7] А. Перельман, «Еврейский язык в диаспоре», в: «Еврейский мир», 1910, № 1, столбец 9. Аарон Перельман (р. 1878) – младший брат Моисея Перельмана, цитировавшегося выше.

[8] Z. «Обзор еврейской печати», в: «Еврейский мир», 1910, № 6, столбец 14.

[9] Z. «Обзор Еврейской печати. (Об Ахад-Гааме и о "непомнящих родства")», в: «Еврейский мир», 1910, № 11, столбцы 14-16.

рит, бесспорный национальный язык евреев, умер, то не остается ничего иного, как «кричать от душевной боли», потому что потеря эта невосполнима. «Допустим, что древнееврейский язык не умер... Но ведь и самые ярые гебраисты не станут отрицать, что древнееврейский не связан более с происходящими в душе каждого еврея процессами ассоциаций и апперцепций. Древнееврейский язык давным-давно утратил эту связь и совершенно отрезан от психической жизни еврейского народа. Языком объединяющим, объясняющим, упорядочивающим данный в сознании нации материал для семи миллионов евреев стал язык еврейский – «жаргон». Мы говорим, разумеется, не о раз и навсегда данном в познании нации материале, а о вечно обновляемом, творимом и творящем интеллектуально-психическом содержании, главным составным элементом которого и является язык. Психологическая роль в экономии национального мышления от древнееврейского перешла к еврейскому языку...» [10]

(Возразил Ахад-Хааму и Натан Бирнбаум: на страницах все того же «Еврейского мира», в №№ 17 и 18, появилась его статья под заголовком «К спору о языках (Возражение Ахад-Гааму)», подписанная обычным в ту пору его псевдонимом «Матиас Ахер». Однако, несмотря на публикацию в русско-еврейском периодическом издании, статья принадлежит журнализму на идише: на идише Бирнбаум и написал ее, и впервые напечатал – в своей газете, которую издавал в Черновицах. Отметим, кстати, что публикация русского перевода, по каким-то неизвестным нам причинам, осталась неоконченной).

Вполне естественно, что особый интерес вызывает участие в дискуссии известных имен русско-еврейской словесности; к ним относятся С. Ан-ский (1863-1920), прозаик, фольклорист, общественный деятель, автор знаменитой пьесы «Диббук», и Семен Дубнов (1860-1941), крупнейший еврейский историограф второй половины прошлого и первой половины нынешнего века.

Выступление С. Ан-ского, озаглавленное «Национализм творческий и национализм разговорный», было «спровоцировано» статьей Ш. Нигера (псевдоним Шмуэля Чарного, 1883-1955, литературного критика, писавшего преимущественно на идише) «О сочувствующих».[11] Нет сомнения, начинает С. Ан-ский, в верности лозунга: «еврейский народный язык как основа всего национально-культурного творчества. ...Для созидания национальной культуры родной язык народной массы является, если не единственным, то одним из первых, основных факторов». Но нельзя сводить всю национальную жизнь к одному – к языку! «Вся еврейская история определенно свидетельствует: национальное существование народа языком совершенно не определяется». Между тем Нигер обвинил часть еврейской национальной интеллигенции в непоследовательности и даже в лицемерии за то, что на словах она признает своим родным языком идиш, а на деле, в жизни, пользуется чужими язы-

[10] Gg. «Еврейская печать. Национализм и спор о языках», в: «Новый Восход», 1910, № 12, столбец 11.

[11] Статья напечатана в июне 1910, в № 7 еженедельника «Еврейское обозрение», заменявшего закрытый властями на три месяца «Еврейский мир».

ками. И вот ответ С. Ан-ского на это обвинение: «...Г. Нигер имеет в виду, конечно, не одних только беллетристов и публицистов русско-еврейской литературы, но гораздо более широкий круг лиц, занимающихся либеральными профессиями. Сюда входят, конечно, и врачи, и адвокаты, и инженеры, и химики, и известная часть промышленников и т. д. Все эти лица вошли в разряд «интеллигенции» через русскую школу, через русский университет, через русскую культуру. Этой культурой они и продолжают жить, и не только духовно, но и материально. Не надо ведь забывать, что четыре пятых, если не девять десятых нашей дипломированной интеллигенции, работает на почве чужой культуры: служит в земствах, ведет в русских судах процессы, служит на русских фабриках и заводах, имея дело с русскими рабочими и т. д. У этой интеллигенции, совершенно независимо от ее национального настроения, вся жизнь, и духовная, и материальная, неразрывно связана с чужой культурой. ...Интеллигенция может вернуться к родному языку, только вернувшись к родному народу. А это последнее будет осуществимо только тогда, когда в еврейской жизни окажется культурная почва, где эта интеллигенция могла бы приложить свои силы, свое знание. А такой почвы у нас пока совершенно нет, и огромная часть нашей дипломированной интеллигенции вынуждена идти к чужому народу, отдавать свои творческие силы чужой культуре». Более того: вся наша интеллигенция не в теории, а на практике, в действительности «удовлетворяет свои обиходные, культурные и высшие интеллектуальные потребности не еврейской, а русской, польской, немецкой и другими культурами».

Причина – элементарная: «нет еще такой еврейской культуры, которой интеллигенция могла бы жить. Живет национальной культурой ортодоксальное еврейство. Оно имеет не только свой культ, но и свою науку, и литературу, свое искусство, свои праздники и дни траура, свои учреждения, свою систему воспитания, свою школу, свои обычаи и формы жизни, до домашней обстановки и костюма включительно. На всем этом лежит определенная печать веками выработанной национальной культуры. Но совершенно отошедшая от этой культуры интеллигенция своей национальной, но проникнутой основами европейского универсализма культуры еще не выработала». И – выводы: 1. Само по себе возвращение к еврейскому языку еще не означает возвращения к народу – к народу ли, к языку ли нельзя вернуться иначе, как через творческую национальную деятельность. 2. Полуассимилированную интеллигенцию надо не обвинять и не изобличать, а всеми силами привлекать к еврейским интересам, «а делать это можно только на языке, который единственно ей доступен. Ведь вот г. Нигер, обращаясь к этой интеллигенции с призывом вернуться к родному языку, заговорил с нею не на родном языке, а на русском». [12]

Наблюдения С. Ан-ского, который сам писал и по-русски, и на идише, привлекают не только здравомыслием, основательностью,

[12] «Еврейский мир», 1910, № 19-20, столбцы 12-20.

но и своего рода актуальностью – приложимостью, в значительной мере, к сегодняшней ситуации (например – в России).

Второе выступление С. Ан-ского в «Еврейском мире» за 1910 год, в круге споров о языке – тоже полемическое: он отозвался на статью Владимира Медема (1879-1923), одного из лидеров и идеологов Бунда, достаточно широко известного и при жизни, и после кончины, не забытого и сегодня, – еврейская библиотека в Париже носит его имя. Статья Медема называлась «Письма без адреса». Часть I была опубликована в № 23-24; на нее-то и отвечал С. Ан-ский. Медем требовал для идиша привилегированного положения среди языков, которыми пользуется российское еврейство: «Вечное пребывание защитников всех трех языков ...под одной кровлей, вечная необходимость компромиссов, при которых всегда проигрывает младший брат... ...Я не зову к бунту против тысячелетних ценностей... Но всему свое место. Прошлому место в прошлом. Пусть живет – в книжном шкафу – и жить даст другим. Не даст? Тогда борьба. ...Мы полны уважения к старым ценностям многовековой культуры; мы не вандалы и не иконоборцы. И язык этой культуры тоже не встретит непочтительного отношения с нашей стороны. Пусть покоится в красном углу научной работы и исторической традиции. Но на большой дороге живой жизни место тому, чего требует эта жизнь. Надо расчистить путь».[13] Ответ С. Ан-ского озаглавлен «Письмо по адресу». Прошлое, утверждает он, живет, и не в шкафу, а в основании любой формы национальной еврейской культуры. Вступать в борьбу с древнееврейским языком, объявлять ему войну «равносильно подрубанию того сука, на котором сидишь».[14] Но Медем не уступает ни вершка. В «Письмах без адреса. 11» он формулирует еще яснее, еще решительнее: «...Идет борьба языков за место в культурной жизни масс. И здесь не может быть речи о терпимости, ибо все, что выигрывает один, теряет другой... Нельзя ли совместить? Нет, нельзя. Потому что совмещение означает для «жаргона» – отречение. ...Сама идея совместительства – это идея национального убожества еврейского языка. И вот почему с этой идеей надо бороться, вот почему нетерпимость нужна».[15]

(Медему повезло: он не дожил до поры, когда принцип нетерпимости был приложен на его родине к обоим еврейским языкам – сперва к ивриту, а потом, на излете сталинского царствования, и к идишу.)

Своего рода эпилогом и поправкой к дискуссии должна прозвучать статья Семена Дубнова «Мысли о русско-еврейской журналистике. – По поводу пятидесятилетия (1860-1910)», опубликованная тем же «Еврейским миром» в следующем, 1911 году. Тема ее – иная, но актуальнейшей проблеме языка посвящена чуть ли не большая ее половина. Приведем отрывок из числа самых значительных и характерных:

«Многоязычие современной еврейской литературы вызывает боль в душе каждого национально мыслящего еврея. Тревожит уси-

[13] Там же, № 23-24, столбцы 13-14.
[14] Там же, № 26, столбец 15.
[15] Там же, № 33, столбцы 7-8.

ливающийся процесс утраты национального и народного языков среди евреев в России, процесс, начавшийся в рядах передовой интеллигенции полвека назад и стихийно развивающийся с каждым годом. Нужно всеми силами бороться против этого национального бедствия, против всех видов ассимиляции... Но ведь мы знаем размеры достижимого в такой борьбе, знаем, что... в широких кругах общества ... русский язык еще долго будет служить орудием еврейской литературы. Ведь и самую борьбу за национальную идею нам еще долго придется вести наиболее интенсивно в этой среде, на усвоенном ею языке; придется пропагандировать обязательность знания еврейского языка при помощи русской речи, будем стремиться расширить территорию еврейского языка за счет русского, но ... если читающая по-русски публика будет сокращаться без соответственного эквивалента, это будет национальным бедствием.

Полвека изготовлялось и ... совершенствовалось одно из сильных орудий еврейской культуры – русско-еврейская литература. Это орудие присоединено теперь к народному вооружению и направлено к укреплению нации в ее борьбе за существование. Выпустить это орудие из рук могут нам советовать только враги народа или друзья, ложно понимающие его благо. Нет, мы будем употреблять это орудие, доколе оно нужно будет, и сдадим его в архив только в тот идеальный «конец дней», когда наш единый народ будет иметь и единый язык».[16]

Дубнов был не только историком, но и плодовитым и весьма авторитетным публицистом; к его мнению прислушивались и единомышленники (сторонники национально-культурной автономии в диаспоре), и противники (сионисты и ассимиляторы разных оттенков). Он признавал непреходящее значение иврита («национального языка»), но чрезвычайно высоко оценивал и культурное значение идиша («народного языка»). Тем показательнее и, может быть, важнее, что он выступает в защиту «аутсайдера» в дебатах о национальном языке – в защиту русского. Не ставя «чужой народу язык» на одну доску, на один уровень со «своим», он утверждает: «Конечно, при равенстве условий национальное содержание более ценно в национальном сосуде, чем в чужом, т. е. на нашем языке, чем на языке окружающего народа... Но ... при неравенстве содержания преимущество может оказаться не на стороне «национального сосуда».[17]

Надо признать, что Дубнов не первым в «споре» заговорил о роли и значении русского языка для российского еврейства. Ненавистники идиша, следуя по стопам просвещенцев минувшего столетия, прямо заявляли: русский язык несравненно предпочтительнее «жаргона».[18] С другой стороны, были и голоса, утверждавшие, что «для русско-еврейской интеллигенции родной язык – не «жаргон», а

[16] «Еврейский мир», 1911, № 16, столбцы 43-44.
[17] Там же, столбец 45.
[18] См., например, «Еврейский мир», 1910, № 2, столбец 41; № 6, столбцы 14-15. Ср. также Еремия Н-ский, «К вопросу о языке», в: «Еврейский мир», 1910, № 5-16, столбцы 6-10.

русский».[19]. Вытеснить русский язык с этих его позиций желают, по сути дела, и Ш. Нигер, и В. Медем. Известный этнограф и публицист, бывший народоволец Лев Штернберг (1861-1927) писал в «Новом Восходе»: «С социологической точки зрения совершенно неважно, победит ли жаргон или русский язык, ибо и на русском языке евреи могут творить чисто еврейские ценности».[20] Писатель и социолог Сарра Рабинович (р. 1880) рассуждает много тоньше: «Культурные опасности, связанные для нас с изучением русского языка, именно из того и вытекают, что русский язык не является для нас иностранным, чужим языком, что мы не можем выставить ему противовес родного языка, а наоборот, сами вынуждены пользоваться им как родным, что мы должны проникнуться его богатствами и глубинами для выражения всей совокупности нашей жизни и потому не можем допустить, чтобы они не были отделимы в нашем сознании от культуры русского народа, что такая неотделимость лишила бы нас всякой возможности воплотить в слове всю полноту нашей духовной жизни и привела бы к тому, что каждый шаг нашего развития заставлял бы нас все больше и больше растворяться в том народе, языком которого мы пользуемся для его выражения».[21] При различии подходов и оценок очевидно признание того факта, что, в принципе, русский мог бы вытеснить идиш и сделаться универсальным языком российского еврейства.

Минуло после того полвека и больше – и вот американо-еврейский прозаик Синтиа Озик высказывает mutatis mutandis сходную мысль: язык самой крупной и значительной еврейской общины мира, английский в его американском варианте, может и должен стать новой еврейской lingua franca, новым идишем, и не только в качестве средства общения, но и как носитель новой художественной выразительности.

В нашем обзоре будет существенная лакуна, если оставить без внимания статью Иосифа Бикермана (1867-1945), журналиста прогрессивного направления, постоянно полемизировавшего с сионистами и автономистами. Статья вышла в сборнике «Теоретические и практические вопросы еврейской жизни», подготовленном редакцией «Еврейского мира» в том же, 1910 году, и сопровождается полемическим ответом уже упоминавшегося Аарона Перельмана. В разделе, специально посвященном языку, Бикерман утверждает, что утрата языка обыкновенно равнозначна смерти народа, но что к евреям это неприменимо – еврейский народ «эмансипировался от языка» именно для того, чтобы уцелеть; что «жаргон» – обыкновенное просторечье, а отнюдь не национальный язык; что евреев в России ждет «обрусение в смысле языка». Как ни относиться к этим утверждениям, ради них не стоило бы настаивать на включении статьи

[19] Там же, № 21, столбец 3.

[20] Л. Ш-г, «Беседы с читателями. XV», в: «Новый Восход», 1911, № 14-15, столбец 10.

[21] «Еврейская хрестоматия на русском языке», в: «Еврейский мир», 1911, № 9, столбцы 16-17.

Бикермана в поле зрения сегодняшнего читателя. Но вот пассаж из другого раздела, представляющийся нам капитально значительным: «Как бы быстро ни развивалась еврейская национальная культура в новой исторической обстановке, таким обособленным народом, как прежде, евреи не будут... Несомненно также, что еврейская культура не может быть для евреев тем же, что французская для французов, ... и не в таком точно смысле, как немцы или французы, составляют и будут составлять евреи нацию... Живя не в своем особом государстве, входя в состав разных государств, еврейский народ по необходимости пропитывается культурой этих государств. ...Но это вовсе не значит, что мы обречены на раздвоенную жизнь. Не раздвоенность, а удвоенность. В том, что стихийный рост огромного русского государства и стихийная же крепость, проявленная еврейским народом в рассеянии, дела Петра Первого и дела Маккавеев, образ Герцена и образ Исайи, в том, что эти два ряда явлений выделяются моим сознанием из всего остального содержания мировой жизни как более мне близкое, как родное, – в этом нет уродства, а есть только сложность, какая присуща вообще сознанию современного человека».[22]

Здесь – в зародыше, в лозунге – идея двойной (множественной) цивилизационной принадлежности еврея в новейшую, начиная с XX века, эпоху, идея, основанная, к тому же, не на концепции еврейской исключительности, уникальности, избранности, но на осознании возрастающей сложности условий человеческого существования в целом. Так в «рамках» спора о языке родилось одно из фундаментальных для сегодняшнего еврейства понятий, детально разработанное и введенное в круг совершенно необходимых американским раввином М. И. Капланом, звездою первой величины на еврейском интеллектуальном небосклоне нашего столетия. Но – спустя два десятка лет после Бикермана: книга Каплана «Иудаизм как цивилизация» (Judaism as Civilisation) вышла в Нью-Йорке в 1934 году.

Мы глядим на спор языков «из будущего», знаем, чем и как он завершился, знаем и блистательную, уникальную «карьеру» иврита – мертвый язык ожил на всех без исключения лингвистических и социальных уровнях, – и горчайшую участь идиша – живой язык не просто обратился в мертвый, стал предметом ученых разысканий, но, до того, был сожжен вместе со своим носителем в кремационных печах Освенцима и Треблинки, вытоптан сапогами «русских советских патриотов» при Сталине и его наследниках. Сегодня мы постигаем этот спор только умом, разумом, но не сердцем, как в начале века. И потому особенно важным нам кажется свидетельство самого знаменитого во всем мире, самого переводимого на все языки писателя-идишиста – Шолом-Алейхема, идишиста, который, случалось, писал и печатал и по-русски, и на иврите. Как раз в 1911

[22] И. Бикерман, «Национализм и нация», в: «Теоретические и практические вопросы еврейской жизни», б.м., б.д., стр. 150-151.

году (счастливое для нас совпадение) в Варшаве вышел первый том собрания сочинений Шолом-Алейхема в его же переводе на иврит, и в авторском предисловии читаем:

«...Хочу сказать, что во мне оба языка (т. е. иврит и идиш. – Ш. М.) отнюдь не враждуют, но питают друг к другу привязанность, живут мирно, спокойно, по-братски, по-дружески. Нет между ними, Боже упаси, ни ревности, ни ненависти, но каждый пьет из чаши другого.

Не удивляйся этому, читатель: ведь наша нация не схожа ни с одной другой в мире – живет в рассеянии больше двух тысяч лет, оторвана от своей земли, кочует из одной страны в другую, ...и это только справедливо, чтобы у нас было два языка разом, и даже не два, а много. Вот почему, я думаю, мы должны принимать с любовью и тот, и другой. ...

А что касается «спора языков», то я оставляю его моим друзьям из числа ученых знатоков. ...Я же буду по-прежнему следовать своим путем – буду писать для своего народа, изображать сцены из его жизни на его родном языке, а потом переводить их на древний наш язык, и даже самые упорные противники вынуждены будут признать, что нет ему подобного среди всех языков мира: это язык вечный, язык прошлого и будущего, от начала и до конца времен».[23]

29 ноября 1995

[23] Kithbhei Šalom Aleikhem, «Ha-Šahar», Warsaw, vol.1, 1d.
Сообщил Аминадав Дикман, которому мы и приносим искреннюю благодарность.

Шимон Маркиш

ОБ АНДРЕЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ЕГУНОВЕ

...Для меня нет ничего отраднее, как вспоминать о Сократе, – самому ли о нем говорить, слушать ли чужие рассказы.

Платон, Федон, 57 D .

Слова, вынесенные в эпиграф, я складывал, переводя с греческого, больше тридцати лет назад. Они стали частью книги – первого после 20-х годов платоновского издания – в 1965; редактором переводов был Андрей Николаевич Егунов, который сам перевел для того же издания «Федра».

Никогда раньше не случалось мне думать, будто слова эти могут приложиться к Андрею Николаевичу и ко мне. Но вот, стал припоминать – и вдруг сообразил, что, пожалуй, никого из старших классиков (прямых учителей, друзей-наставников, сотрудников на разных ролях) не вспоминаю с такой особой «тоской» и «благодарностью» (надеюсь, что филологам источник уточнять ни к чему), как Егунова. А ведь я знал довольно близко Марию Евгеньевну Грабарь-Пассек, Жюстину Севериновну Покровскую, Федора Александровича Петровского, наконец (или, если угодно, в первую голову) самого Сергея Ивановича Соболевского; знал и, смею утверждать, пользовался некоторым их расположением, а не то и дружбой. Причину особости, кажется, могу сегодня указать достаточно точно. Все другие «старики» – и, наверное, они были правы – смотрели на меня снисходительно, покровительственно, с симпатией к молодому (а потом уже и не очень молодому) энтузиазму и дерзанию, но все же сверху вниз, зная дистанцию между ними и мною и никогда о ней не забывая. Одного примера будет достаточно, пожалуй. Я предложил «Литературным памятникам» «Разговоры запросто» Эразма Роттердамского, и не просто так, а по случаю приближавшегося 500-летия со дня рождения Эразма. К этому времени (начало второй половины шестидесятых) у меня уже вышли в «Памятниках» том Апулея и три тома Плутарха (всё – по рекомендации Соболевского), я был там, вроде бы, свой человек и не сомневался, что предложение мое пройдет как по маслу. Но на заседании редколлегии Федор Александрович Петровский сказал примерно следующее: Маркиш – юноша (а мне уже сильно за тридцать!) не без способностей, но «Colloquia familiaria» ему не по зубам, если кто в России и способен их перевести, так только я сам, т. е. Петровский. Федор Александрович был единственный классик в редколлегии, и его мнение было, естественно, решающим. Вполне допускаю, что он перевел бы Эразма лучше: он был переводчиком Божьей милостью. Но не об этом сейчас речь, а о том, что при всей бесспорной симпатии равного себе старики во мне не видели. Ни один из них, кроме Егунова. Для него я был не подающий надежды

мальчик, а коллега. А он был для меня не покровитель, не благодетель, не хозяин положения (или даже знаний), но учитель именно сократовского типа. Именно и только поэтому я, давший себе зарок не писать мемуаров, пишу эти строки. Вспоминать о Егунове – неизъяснимая отрада.

Зимой 1956 или 1957 я приехал в командировку в Ленинград. Я был редактором в издательстве «Художественная литература» (Гослитиздат), и в наших планах был сборник «Поздняя греческая проза», готовившийся в Ленинграде; его составила Софья Викторовна Полякова (имя это произношу с благодарностью и любовью), и она же распределяла работу среди своих земляков-классиков. Софья Викторовна прислала в Москву подготовленную ею рукопись, теперь предстояло свести и снять замечания редактора-составителя и издательского редактора. Многое мы уладили с глазу на глаз, но переводы Егунова Софья Викторовна и трогать не стала. «Это особый случай, очень непокладистый и своенравный – выкручивайтесь сами, как удастся». И дала телефон – рабочий, в Пушкинском доме.

(Что делал Андрей Николаевич для «Поздней прозы», я не помню, а книги у меня нет; впрочем, не так уж это и важно.)

Все, что мне было известно о Непокладистом и Своенравном (от той же Софьи Викторовны процентов на девяносто пять), – это то, что он принадлежит к поколению Аристида Ивановича Доватура, Якова Марковича Боровского, Соломона Яковлевича Лурье, что в 20-е годы переводил (один из сопереводчиков) «Эфиопики» Гелиодора, что сел рано, раньше Великих Чисток, что вышел совсем недавно и что Михаил Павлович Алексеев взял его к себе, в сектор международных связей русской литературы, младшим научным без степени.

Я позвонил. Скрипучий, стариковский голос велел мне прийти в Пушкинский дом. Меня, разумеется, не впустили, но вахтер по внутреннему телефону сообщил Егунову, что его ждут. Еще несколько минут – и на парадной лестнице, хорошо известной всему миру русистики, показалась странная фигура. Точнее – странно одетая: штаны и пиджак – бумажные, какие можно было увидеть разве что в деревне, окончательно и безвозвратно обнищавшей под солнцем Сталинской конституции. Нищета платья кричала особенно вызывающе не столько даже из-за парадно-помпезного фона, сколько в бесстыдном контрасте с лицом старика, крупные и резкие черты которого обозначали (вероятно, я понял это много позднее) некое высокое, а может быть, и высшее понимание, а потому достоинство и покой. Голубые глаза смотрели, как мне показалось, холодно и даже строго. Егунов сказал, что видел мои вопросы, пометы и предложения; в какой мере он с ними согласен, Егунов не сказал, но выразил готовность встретиться со мною вечером, вне служебного времени и помещения, и дал мне свой адрес.

Вечер был отвратительный, с ветром и мокрым снегом, я долго тыкался из угла в угол темного двора на какой-то из линий Васильевского острова, отыскивая вход – «черный ход» минувшего, который в Ленинграде сохранился почти в неприкосновенности. Егунов провел меня в самый конец коммунального коридора, как водилось, устав-

ленного и увешанного соседским добром; его комната, полученная в виде компенсации реабилитированному за отнятую уже и не припомнить когда жилплощадь, была тоже коридорообразна – предельно узка (две кровати рядом не поставить), вытянута. У входа горела печка, дверца была открыта; в противоположном конце, у окна, стояли стол и некое подобье кресла. Егунов указал мне на кресло, сам сел на кровать.

Помню, что я сильно трусил. Вся обстановка, атмосфера, так сказать, сценография этой встречи, где-то смахивавшие на Достоевского, подавляли, лишали не только молодой самоуверенности, но и какой бы то ни было уверенности в своей редакторской правоте. Я достал из портфеля машинопись егуновской части «Поздней прозы» и начал: «Андрей Николаич...» – «Погодите», – перебил он, как бы отодвигая взором листки, положенные мною на стол, – «вы ведь сын Переца Маркиша?» – Я подтвердил. – «Я очень люблю стихи вашего отца. Даже в переводах ощущается дыхание настоящей поэзии». Он сказал еще что-то о стихах отца, потом, очень осторожно, спросил о его судьбе (отец был арестован в 1949, расстрелян в 1952 и посмертно реабилитирован в самом конце 1955; в печати обо всем этом не было ничего, кроме крохотного сообщения о создании комиссии по литературному наследию). Голубые глаза потеплели; мой страх пропал. Я снова взялся за свои листки, но Егунов снова остановил меня: «Погодите, сейчас будем пить чай. С пирожными», – добавил он гордо.

Отпили чай, становилось поздновато, а к делу так и не приступали. «Как же будет с правкой?» – спросил я, в конце концов, напрямик. – «Да никак! Правьте, что сочтете необходимым. Я вам доверяю. Ошибок ведь нет, а что до русского языка, я теперь не сомневаюсь, что вы доверяете мне не меньше, чем я вам».

Невдолге после этой первой встречи Андрей Николаевич получил другую комнату – в Гавани, в новом доме, в малонаселенной квартире (как говорилось на жилплощадном жаргоне, обозначая одного, максимум двух соседей). Комната была невпример просторнее и лучше, но Андрей Николаевич сожалел о своей пеналообразной конуре на «Базиль инзеле» (его выражение, которого я не слыхал ни от кого более, но Андрей Николаевич уверял, что было время, когда так выражался чуть ли не весь Питер): Гавань с ее новостройками была для него «землею чуждой», страною изгнания. Туда я и приходил всякий раз, как попадал в Ленинград. В Москве Егунов бывал крайне редко, но если приезжал, то навещал меня неопустительно. Иных встреч, в иных местах, на людях, «в обществе» не припомню.

Конечно, профессиональные разговоры составляли немалую долю наших бесед за ужасно крепким чаем (ужасно – как я понял впоследствии, только по русским меркам). Мы попеременно редактировали друг друга (переводные тексты, в частности и в особенности – Платона) и оба были не просто довольны, но прямо-таки счастливы. Свои чувства я помню вполне отчетливо, что же до Андрея Николаевича, то у меня, в виде счастливого исключения (я не держу архива), сохранились три его письма, комплиментарная часть которых настолько для меня лестна, что я не решусь опубликовать ни одной фразы.

Однако всего лучше характер наших профессиональных отношений виден из письма от 15 августа 1962, посвященного моей крохотной книжечке «Гомер и его поэмы». Она вышла в Гослите, но в другой, не нашей редакции, и Андрей Николаевич получил ее уже в напечатанном виде. Он откликнулся тотчас; полстраницы похвал я пропускаю, затем следует:

«После первого прочтения последовало второе, и, взятая под филологический микроскоп, книга вызвала у меня кое-какие суждения, которые я, со старческой кропотливостью, и хочу сообщить Вам. Только, Бога ради, не считайте это рецензией – это мне чуждо. Считайте это заметками товарища-филолога, без всяких претензий на наставительность, поэтому не будьте задеты, если в них что-нибудь Вам не по вкусу — они вполне поддаются опровержению.

Но, прежде чем перейти к ним, закончу это письмо еще раз выражением искренней радости за такую свежую и даровитую книжку». И – четыре большого формата листа замечаний – разных, и критических, и ободряющих (типа: страницы такие-то «очень Вам удались»). Едва ли за всю мою литераторскую жизнь кто-нибудь читал меня внимательнее, строже и благожелательнее. «Старики» не удостоили, а кто помоложе, те уже так не умели.

Впрочем, не хочу лгать: конкретно наших «рабочих» сидений за столом я не помню. Запомнилось скорее «нерабочее».

Вот Андрей Николаевич рассказывает о своих тюрьмах и ссылках. Как был посажен в начале 30-х за связь с Ивановым-Разумником, которого никогда не видел. Как вернулся из ссылки в Томске в самый разгар Великого Террора, прописался в Новгороде, еженедельно ездил в Ленинград, где тогдашний завкафедрой классической филологии осмелился взять его почасовиком. Как немцы вывезли его вместе с матерью в Германию: он провел детство в Ревеле и говорил по-немецки прекрасно, такую «рабсилу» из оккупированного Новгорода вывозили систематически. Как работал лаборантом на большой молочной ферме в северо-западной части Германии, как пришли англичане и тоже, по сути, арестовали его – не дали вернуться, заставили преподавать русский язык своим офицерам, как в 46-м наконец отпустили и как его сразу же, на КПП между английской и советской зонами, «замели», «сунули десятку», которую он и отсидел почти целиком, а мать, не дождавшись, умерла. Но не было в этом рассказе горечи, сознания порушенной, отравленной жизни. Наоборот! В каком-то смысле Андрей Николаевич считал себя баловнем судьбы, и не только потому, что вышел жив изо всех узилищ, и советских, и германских, не только потому, что, посади его после войны не сразу, а, скажем, в 49-м, его бы за тот же грех, за работу на англичан, почти наверняка расстреляли бы, но, прежде всего, потому, что «где же и как же иначе можно было сойтись, а иной раз и сдружиться с самыми интересными, умными, тонкими, учеными людьми нашей эпохи!» (Смело заключаю в кавычки, потому что эти парадоксальные слова крепко засели в памяти, и не было в них, на мой взгляд, ни сарказма, ни юродства, разве что – редкостная деликатность, скромность на грани застенчивости).

Вот я с восторгом и нескрываемым самодовольством рассказываю ему, что Анна Андреевна Ахматова дала мне прочитать «Реквием», но снять копию не разрешила, и пусть он поверит на слово – стихи потрясающие! Он выслушивает, не перебивая, хотя и сам уже читал. Потом, с неожиданной резкостью: «Мне не нужен эпигон Некрасова! Некрасов все это уже сказал, правда – на другом материале. Но и вас потрясает не поэзия, а материал». Все мои возмущенные возражения с твердостью (опять-таки неожиданной) отклоняются.

Это – другой Егунов, Егунов-2, прозаик 20-х годов, печатавшийся под псевдонимом «Андрей Николев» (нота бене: ударение на первом слоге, на «и»!). Вторую ипостась Андрея Николаевича мне открыла все та же Софья Викторовна Полякова. В Ленинской библиотеке я нашел и прочел роман «По ту сторону Тулы» – заголовок, которого нельзя ни понять, ни оценить без классического образования. Спустя без малого сорок лет могу сказать только одно: эта авангардистская проза не привлекла меня, не очаровала. Но, повторю: я не перечитывал ее без малого сорок лет. А тогда, в конце 50-х, мы об Андрее Николеве почти не говорили. Ни о нем самом, ни о литературной среде, которой он принадлежал. Разве что раз или два был мельком упомянут Вагинов. Зато я понял любовь Андрея Николаевича к поэзии Переца Маркиша: мой отец был бунтарем, одной из определяющих фигур экспрессионистской революции в поэзии на идиш, и Андрей Николаевич, как видно, различал родную душу и сквозь пелену перевода.

Тем удивительнее и трогательнее было, что Егунов доверил мне какую-то долю своей собственной поэзии. Это произошло в одну из поздних наших встреч (не в самую ли последнюю?), Андрей Николаевич болел и, возможно, предчувствовал, что эта болезнь – последняя. Он дал мне две стопочки листов с машинописью, просил прочесть на досуге и сохранить: может быть, когда-нибудь кому-нибудь понадобится. Разумеется, я прочел; это оказалось намного ближе мне, чем роман, но – не скрою – энтузиазма не вызвало. Впрочем, я сразу, тогда же понял: холодноватая, ироническая поэзия и не рассчитана на пламенный отклик, ее надо мерить совсем иною меркою, и если этой мерки в моей читательской душе нет, тем хуже для меня.

Не сомневаюсь, что я был не единственным «душеприказчиком» Егунова. Иосиф Бродский рассказывал, что какое-то издание готовил Геннадий Шмаков, но не успел – сам скончался. Я не знаю, появилось ли что-нибудь в России: даже за малой частью российских публикаций из Женевы не уследишь сегодня. Не видел я и совсем недавней (по словам Мариэтты Чудаковой) публикации «Венского альманаха славистики». Поэтому решаюсь привести опись текстов, находящихся в моем распоряжении:

1. «Беспредметная юность». Пьеса в четырех «бездействиях». В стихах. На 44 машинописных страницах. На последней странице дата: 1933-1936.

2. «Елисейские радости». Сборник (или подборка) стихотворений. Всего 28 стихотворений; над первым обозначено: «№ I», над последним: «№ 100 (заключительное)»; остальные не нумерованы и не оза-

главлены. 25 стихотворений датированы: от 1930 до 1952. На 24 машинописных страницах.

В обеих машинописях есть авторская правка; обе – второй (под копирку), но вполне четкий экземпляр.

Лет семь назад, по просьбе издательства «Серебряный век», я послал в Нью-Йорк ксерокопии этих текстов – с тем, что они будут изданы в близком будущем. Не только они не были изданы, но и само издательство, сколько мне известно, приказало долго жить.

И в заключение – один «номер» из «Елисейских радостей», в какой-то мере перекликающийся с тем, о чем говорилось выше:

В тот день, когда меня не станет,
ты утром встанешь и умоешься,
в прозрачной комнате удвоишься
среди пейзажа воздуха и стен:
моей души здесь завалилось зданье,
есть лень и свежесть, нет воспоминанья.

И даты тоже нет. И не надо.

Женева, 22-27 июня 1994

Шимон Маркиш

О ВИКТОРЕ ШКЛОВСКОМ

– Напишите о Шкловском...

– Хорошо, попробую...

Но, собственно, по какому праву, на каком основании? Я никогда не занимался ни теорией литературы, ни историей новейшей русской прозы или поэзии, ни литературной критикой в этой же сфере, не говоря уже о кинематографе – всё области интересов Виктора Шкловского. Я не был его учеником ни в прямом смысле слова, ни в переносном, как еще довольно многие среди благополучно здравствующих и сегодня литераторов и среди библиографов, именующих себя «учеными», я читал далеко не всё из написанного им и далеко не всё из прочитанного меня восхищает или хотя бы убеждает. Наконец, я не был близок к Шкловскому лично, не пользовался ни дружбой его, ни особым доверительным расположением.

И все-таки попробовать – мой долг, и долг приятный. Тому есть, по меньшей мере, две причины.

Поколение, вступившее в сознательную жизнь, а говоря проще, поступившее в университеты после второй мировой войны, в последние («черные») годы сталинского режима (1945-1953), знало Шкловского и о Шкловском, в лучшем случае, понаслышке. Его работы десятых, двадцатых и начала тридцатых годов не переиздавались и были фактически запрещены идеологической властью. Тем горячее было желание молодежи познакомиться с ними, как только это стало возможным. Шкловский-теоретик, основатель и глава загадочного для нас ОПОЯЗа (Общества изучения теории поэтического языка), глава «формальной школы» в литературоведении и критике, был главным объектом интереса. Формулировка «как сделан?..» («Как сделан «Дон-Кихот»?» – Шкловский; «Как сделана «Шинель» Гоголя?» – Борис Эйхенбаум, друг и единомышленник Шкловского) освобождала от пут и колодок постылого, давно дегенерировавшего марксизма. Мне кажется, всё поколение было ею, этой формулировкою, зачаровано, даже если открыто, вслух провозгласить ее как credo не смело. Во всяком случае, автор этих строк, писавший свою первую книжечку в 1961, мечтал озаглавить ее «Как сделаны поэмы Гомера?», вместо чего издательское начальство навязало ему пресное и пошлое «Гомер и его поэмы».

Я не прошу прощения за то, что заговорил о себе, – я только, в некотором, очень скромном приближении следую образцу самого

Шкловского. Один из его близких и по литературному пути, и по житейскому записал: «Ни о чем другом он говорить не может – когда он говорит о Хлебникове, Якобсоне, Грине, Маяковском, – он говорит о себе». Кого-то это приводило в восторг, кого-то – в ярость, («...чем ярче его дарование, тем отчетливее выделяется та бестактность, развязность, дешевое хвастовство и необычайное самодовольство» – из рецензии середины 20-х годов). «Собственную жизнь он рано начал рассматривать как литературный материал, а себя – как героя произведения с продолжениями», – отмечает постоянный собеседник последних двадцати лет его жизни. И сам Шкловский подтверждает: «В своих беллетристических произведениях я всегда писал о себе и был героем своих книг». Вероятно, любой из читавших Шкловского, добавит: и в небеллетристических – тоже. Как бы ни относиться к этой, так сказать, сверхисповедальности, надо помнить, что это литературный прием и что изобретателем, родоначальником приема был Василий Розанов (1856-1919), который сделал свою личность и жизнь со всеми без изъятия и без разбора событиями и переживаниями, даже самыми мелкими, ничтожными, предметом раздумья и художественного изображения. Розанов был любимым автором, в какой-то степени даже кумиром Шкловского. И образцом письма. Печатная продукция Шкловского – книги, статьи, но также расшифрованные стенограммы выступлений, отчеты о дискуссиях – исполинская. Повторюсь: сочинения по теории искусства, главным образом словесного искусства, литературы, главным образом прозы (замечу попутно, хотя моих заметок это впрямую не касается, что теоретические рассуждения Шкловского и его друзей по ОПОЯЗу – прямые предтечи структурализма в литературоведении и смежных дисциплинах); литературная критика русской словесности в самом широком диапазоне; киносценарии и статьи о кинематографе; особый жанр популярного литературоведения, очень удачно названный самим Шкловским «повестями о прозе»; настоящие исторические повести, включающие, достаточно часто, глубокий и серьезный исторический и библиографический анализ («Я не ученый и не очень беспокоюсь об этом», скажет Шкловский в своей последней, предсмертной книге – кокетство ли это? или потребность отмежеваться, отстраниться от схоластического сообщества ученых педантов?); наконец обильные «мемуарные записи», как гласит подзаголовок к книге с красноречивым заголовком «Жили-были» (хотя личными воспоминаниями пронизан буквально любой текст Шкловского). Наверно, можно сказать, что Шкловский был самой яркой, самой плодовитой, самой вызывающей, провоцирующей или попросту драчливой фигурой в литературной жизни первых полутора десятков лет советской эры. А если не самой, то одною из самых.

Среди учеников Виктора Шкловского особое место принадлежит Аркадию Белинкову – и по таланту, и по выпавшим на его долю тяготам судьбы. Тюрьма и лагерь – дело обычное, но Белинков выжил и вышел, несмотря на тяжелейшую сердечную болезнь, сумел, успел написать две замечательные книги и бежать из Советского Союза в США, где и скончался сорока девяти лет от

за в США, где и скончался сорока девяти лет от роду, в 1970. Вторая книга вышла уже посмертно. Она называется «Юрий Олеша. Сдача и гибель советского интеллигента», издана в Мадриде. Белинков считал, что ценность писателя определяется стойкостью и упорством его противостояния, сопротивления власти. Эталоном противостояния была для него Анна Ахматова, написать о ней он не успел; эталоном же сдавшегося и, в результате, гибнущего, теряющего себя был избран Олеша, автор повести «Зависть», прославившей его и в Советской России, и за ее пределами. Конформизм Олеши после «Зависти» – предмет ядовитейших сарказмов Белинкова. Но известно было, и даже сравнительно широко (по замечательно найденной формуле поэта Бориса Слуцкого: «широко известно в узком кругу»), что первоначально на роль антигероя, антиэталона назначался Учитель, Виктор Шкловский, который, по суждению и осуждению не одного только Аркадия Белинкова, отрекался от убеждений молодых лет, в частности и в особенности – от принципов «формальной школы», запрещавшей вмешательство «внелитературных рядов» (истории, быта, идеологии и пр.) в литературный анализ, многократно каялся в своих заблуждениях, шел на компромиссы с властью, чудовищности которой не мог не понимать.

Ни защищать, ни оправдывать Шкловского не стану. Оправдания его поколения, нескольких поколений интеллигенции, выживших при советской власти, теперь, после падения этой власти, хорошо известны, почти стандартны, почти банальны. Но вот объяснения самого Шкловского, поздние, оговоримся сразу, объяснения, гораздо интереснее.

В год своего девяностолетия, в 1983 (и за год до смерти), Шкловский издал книгу «О теории прозы», третью в своей жизни под этим заглавием. Немало итогов подводится в ней, и в частности:

«Когда хотят потушить огонь, то по нему бьют палкой, довольно сильно. Меня били всеми предметами, чтобы только потушить».

Потушить – что? Совершенно ясно: оригинальность, талантливость, блистательную свежесть мысли. Вот что означает: потушить меня. И уже в середине 20-х годов яркость огня начинает убывать Но искры из старого костра продолжали вылетать и сорок лет спустя, и мне еще посчастливилось увидеть их собственными глазами. На похоронах друга молодости (и даже соавтора) прозаика Всеволода Иванова, стоя на краю раскрытой могилы, семидесятилетний Шкловский, маленький, с голою, как колено, головой, кричал надрывно: «Каменная трава революции! Всеволод! Ты сам был этой травой!..» – и развертывал все далее и далее эту метафору каменной травы, и это вызывало не насмешку, не протест у меня, давно изверившегося в революции и ее риторике, но почтительное удивление подлинностью, накалом и яркостью слов, качествами, давно неведомыми казенным словоизвержениям, будь то на погребениях или где бы то ни было еще.

«Я не отрекаюсь от того, что написал, пишу о законах изменяющегося искусства. ...Через нас говорит время, изменяющее смысл прошедшего и достигнутого».

Не слишком ли легкомысленное объяснение, не отговорка ли скорее? Согласен, отговорка старинная (Tempora mutantur, nos et mutamur in illis – Времена меняются, и мы вместе с ними), но почтенный возраст и латинские корни добавляют не убедительности, а скорее банальности. Вряд ли, например, можно поставить Шкловскому в заслугу книгу «О мастерах старинных» (1953) – о русских изобретателях-станкостроителях XVIII и XIX веков. Она подсказана, а правильнее сказать, навязана временем: агрессивный шовинизм последних сталинских лет требовал русского приоритета во всех областях знаний и умений, и Шкловский, как тогда говорилось, откликнулся на зов времени, а вернее – власти. Его русские умельцы оставляют англичан позади. Об этом, может быть, не стоило бы и говорить, если бы своею покорностью «времени» он не только гордился, но еще и других не попрекал бы неспособностью или нежеланием петь в унисон со временем. Обращаясь все в той же книге 1983 года к Роману Якобсону, с которым они вместе когда-то начинали ОПОЯЗ и который умер американским почетным профессором в 1982, как раз когда книга дописывалась, Шкловский восклицает:

«Почему ты не изменяешься, старый друг? Мы могли бы, как герои Гомера, обменяться доспехами, не считаясь с тем, что сколько стоит. Но мы разделены. Судьбой, океаном и целями искусства. Прощай, друг. Больше нам не свидеться».

Но, несмотря на эту браваду, у меня нет сомнений, что умница Шкловский вполне отдавал себе отчет, что не только место, но и время у него со «старым другом» было не одно и то же.

Повторюсь в другой раз. Я не защищаю Шкловского и не обвиняю его. Я не зову ни отворачиваться от него, ни идти по его следам. Но я восхищаюсь им, его неиссякаемой творческой и жизненной силой. И эти две силы в моем сознании и памяти неотделимы друг от друга. Рассказ внука о том, как дедушка взял его с собою в очередь за квасом (в 60-е годы в Москве торговали квасом на улицах из небольших металлических цистерн, перед которыми выстраивались очереди) и как какой-то молодой нахал полез без очереди, и как дедушка попробовал образумить его, а тот ответил площадной бранью, и тогда дед дал ему по морде, и нахал долго не мог подняться с земли, – старик (семьдесят с длинным хвостом!) из этого рассказа не просто мирно, но прямо-таки гармонически сочетается с тем вулканом идей, который открывался при чтении *настоящего* Шкловского.

И я не задаю вопроса: какою ценой он выжил? какими компромиссами платил? Я говорю: спасибо ему, что он выжил, сохранился и напрямую связал меня с первою третью века, порою своего расцвета. Тем более, что «любимцем времени», выживающим за счет «пасынков времени» (понятия и термины, заимствованные из великого романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», арестованного на родине и впервые увидевшего свет двадцать лет спустя в Лозанне, в 1980), он не был никогда, никогда и никого не погубил. В заключение – о второй причине, побудившей меня заговорить о Шкловском, причине сугубо личной.

В сентябре 1970 я эмигрировал, уехал на постоянно в Будапешт к жене-венгерке. Незадолго до отъезда позвонил Шкловский. Совершенно неожиданно.

Правда, в моем детстве мы были какое-то время ближайшими соседями, не только по дому, но и по этажу, по лестничной клетке, а во второй половине 60-х я был связан тесной дружеской приязнью с его дочерью и зятем, но между нами двумя никаких отношений, кроме очень дальнего знакомства, не было. И вот этот звонок:

– Я слышал, вы уезжаете в Венгрию. Она такая маленькая, вам негде будет локти поставить! (Очень «шкловское» выражение, я запомнил его раз и навсегда.) А здесь вы нам нужны по-настоящему.

И несколькими днями позже я получил по почте его последнюю тогда книгу «Тетива. О несходстве сходного» с надписью, которую привожу:

«Дорогой Симон Перецович! Сколько у меня на полках Ваших книг. Все нужны. С любовью и уважением посылаю Вам свою. Будьте счастливы во всех путях. Виктор Шкловский. 7 августа 1970».

Он был единственным, кто пожалел о моем отъезде как коллега, товарищ по литературному цеху – при всей несоизмеримости наших поприщ и ролей. Но если оно дорого мне, это сожаление, то не «признанием заслуг», не сочувствием, а только и единственно тем, что подарено, нет! – по-царски пожаловано Шкловским. Спасибо, Виктор Борисович! Никогда не забуду.

2 октября 2002

Шимон Маркиш

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН – ЕВРЕЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ?

Выход романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» во французском переводе осенью минувшего, 1983 года, оказался литературным триумфом: о книге писали все крупные газеты и журналы Франции (кроме «Юманите»), она получила Премию лучшей иностранной книги года. Триумф этот был радостной неожиданностью для всех, кто подготовил роман к изданию, будь то по-русски (профессор Ефим Эткинд из Парижа и пишущий эти строки), будь то по-французски (переводчик Алексис Берелович). Все трое, мы советовали издателю Владимиру Димитриевичу («Л'Аж д'Ом», Лозанна) сократить текст для перевода, опустить хотя бы часть батальных эпизодов, некоторые второстепенные сюжетные линии. Мы были убеждены, что французский читатель не одолеет многих сотен страниц старомодного повествования в традиции Льва Толстого, бросит с досадою чтение на середине. Мы были неправы. Прав был издатель, и слушать не хотевший ни о каких сокращениях. И слава Богу!

Сегодня я спрашиваю себя: как объяснить этот триумфальный успех? Я плохо знаю западного читателя, его вкусы и интересы. И все же рискну высказать свои предположения.

Мне думается, во-первых, что читатель устал от модернизма, от непомерной усложненности (а часто – и жеманства, и кокетства) литературных экспериментов. Сомерсет Моэм (Somerset Maugham) сказал, что ремесло писателя – из самых древних: утолив голод, первобытный человек садился у костра и слушал рассказчика, развлекавшего и утешавшего. Эти две функции литературы – развлечение и утешение – вечны, утверждал Моэм, без них она теряет свой raison d'être.

«Жизнь и судьба» – книга о второй мировой войне, точнее – о Сталинградской битве. Но это не военный роман, точнее – это военный роман еще в меньшей мере, чем «Война и мир». Как Толстой в прошлом веке, – Гроссман пытается понять, чем и зачем живет человек в наш чудовищный век нацизма и коммунизма, газовых камер и атомной бомбы. Главные, последние вопросы жизни – читатель както позабыл о них, замороченный шумихой вокруг сексуальной революции, движения за освобождение женщин, «революций» в третьем мире и т. п. Позабыл и, можно предполагать, рад был вспомнить.

Гроссман написал о России Ленина-Сталина – с ее лагерями и ссылками, раскулачиванием и антисемитизмом, торжествующим хамством новых хозяев и рабством, унижением, муками всех остальных. Но о том же – и книги Солженицына, Шаламова, Надежды Мандельштам, Евгении Гинзбург, увидевшие свет раньше и успевшие

прославиться на Западе. То обстоятельство, что хронологически Гроссман был в этом ряду первым («Жизнь и судьба» созданы в 1950-1960 гг., но КГБ арестовал рукопись, и она пролежала без движения без малого двадцать лет), читателю безразлично; оно имеет значение только для историка литературы. Мне кажется, что, если и критики, и читатели оценили и полюбили Гроссмана после Солженицына, так это потому, что он рассказал о том же *по-иному*, с иной историософской, а главное – человеческой позиции. Непримиримость, нетерпимость ко лжи и злу коммунизма у него не уступает солженицынским, зато шкала и мера ценностей – другие. Не в нацию он верит, а в личность, не к коллективному раскаянию зовет и не к самоограничению, а к индивидуальной «бессмысленной доброте» – бескорыстной, беспричинной, необъяснимой. И тоскует он не о Боге, не о религии, не о разрушенных вековых традициях, а о свободе, которой Россия за тысячу лет своего существования не знала никогда.

Добавлю к этому еще одно предположение. Мне кажется, что, кроме всего прочего, читателя привлекла редкостная широта и органичность повествования. В роман вместилась вся Советская Россия, все социальные, национальные, возрастные, профессиональные группы, и обо всех – о старых и молодых, о русских, татарах и евреях, о «простых людях» и высоколобых интеллигентах, партийной и военной верхушке, уголовных преступниках в лагерях и старых большевиках не у дел, о женщинах и мужчинах – написано так, словно бы автор был доподлинно одним из них, побывал в их шкуре.

Но не эти особенности и достоинства творчества Василия Гроссмана были причиною моего собственного к нему интереса, причиною того, что я написал о нем книжку, которая вышла одновременно с романом. Меня интересует вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи: вправе ли мы считать Василия Гроссмана еврейским писателем?

В романе есть удивительные, я бы даже сказал, ни с чем не сравнимые «еврейские страницы» – письмо из гетто, депортация, лагерь смерти, первые шаги убийственного государственного антисемитизма в СССР, пробуждение национального сознания в ассимилированном, вроде бы, до конца русском еврее. В своей книжке я старался показать, что не только эти страницы, но и весь роман, весь перелом в литературной судьбе Гроссмана, превративший его из писателя советского в антисоветского, в первого последовательного инакомыслящего, «диссидента», врага большевистской революции, ее вождей и созданного ею режима, – следствие и плод его еврейской судьбы, которую он принимает добровольно и сознательно. Еврейская судьба настигает русского писателя – обрусевшего, ассимилированного еврея Гроссмана – неумолимо. Сперва – под личиною гитлеризма, истребляющего европейское еврейство, и в числе шести миллионов убитых оказывается мать Василия Гроссмана, уничтоженная в бердичевском гетто. Потом – под маскою сталинизма, перенимающего от нацистов антисемитскую эстафету и устраивающего гигантские погромные кампании, последняя из которых («Дело врачей») едва не раздавила самого Гроссмана. Но и при всей неумолимости еврейской судьбы, при всей невозможности от нее укрыться, остается возмож-

ность выждать, переждать, притвориться перед самим собой и перед другими, будто *тебя* это не касается. Так именно и повело себя большинство советских писателей – евреев по рождению, русских по литературной профессии, а их было много, очень много, Гроссман же, в отличье от них, не зажмурился и не согнул спины. Еврейская судьба открыла его глаза на всю советскую действительность, не только на еврейский ее уголок. Горестные перипетии личной судьбы круто поворачивают судьбу писательскую: появляется, в сущности, новый писатель, новый Гроссман.

Но, хотя сформировала, вылепила его, этого нового писателя, еврейская судьба, он остается русским писателем – русским писателем еврейской судьбы.

Он не становится еврейским писателем (или, точнее, русско-еврейским, писателем русского еврейства) по двум главным причинам. Принадлежность к русско-еврейской литературе, которая существует уже более ста двадцати лет, требует от писателя, чтобы он был голосом русского еврейства, его самосознанием и самопознанием – пусть даже голосом не слишком звучным, пусть даже голосом не всего русского еврейства, а какой-то малой, скромной его части. Гроссман, однако, создал российскую, или, если угодно, советскую (если под «советским» понимать не режим, а исторический период в жизни Российского государства) эпопею, и еврейские страницы в ней – лишь детали монументальной картины. И другое: Гроссман – русский художник, наследник Чехова и Толстого, человек русской культуры, тогда как русско-еврейский писатель – человек двух культур, двух цивилизаций, как, mutatis mutandus, замечательно объяснено в трудах недавно скончавшегося раввина Мордехая-Менахема Каплана.

Вопрос о принадлежности Гроссмана – не частный и не схоластический, не праздный. На него остро и запальчиво реагируют и русские, и еврейские экстремисты: первые вообще отрицают само понятие русско-еврейской литературы, вторые не согласны «упустить» ничего «своего», толкуют о еврейской ментальности, особой еврейской чувствительности, неосознанных еврейских традициях даже в применении к выкрестам, болезненно стыдившимся своего происхождения. А поскольку еврейская культура, еврейская литература новейшего времени развивается на многих языках окружающего большинства, вопрос этот далеко выходит за рамки русско-еврейских проблем. Франкоязычное еврейство также не может и не должно остаться в стороне. Мне представляется, что, здраво и хладнокровно отвечая на подобные вопросы, мы избавляемся от комплексов гетто, которые все еще так сильны в нашем сознании.

Шимон Маркиш

ТРАГЕДИЯ И ТРИУМФ ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА, или ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ РАБСТВА И СВОБОДЫ В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ

Гроссман был первым русским писателем, системно сопоставившим и уравнявшим национал-социализм Гитлера и российский вариант коммунистического режима, созданный Лениным-Сталиным. В основе этого сопоставления лежит важнейший для Гроссмана показатель – свобода.

Другой показатель, по которому со- и противопоставляются два тоталитарных режима, как в зеркале отражающие друг друга – это «бессмысленная» (то есть совершенно бескорыстная, не чающая ни малейшей для себя выгоды) доброта.

Освенцим и ГУЛаг – не просто части двух тоталитарных систем, не только их символы, но наиболее емкие воплощения, по которым можно и нужно судить обо всех аспектах жизни под властью коммунизма и нацизма: об их быте и политической активности (быть может, вернее было бы сказать «симуляции такой активности»), о литературе, архитектуре, сексуальности, нравственных нормативах и т. д.

Один из самых важных и самых сложных вопросов, которые встают перед сегодняшним читателем Гроссмана, – это вопрос о генезисе его бунта. Каким образом добропорядочный советский писатель, в целом вполне выдержанный идеологически, стал первым диссидентом внутри советской литературы? Было ли это внезапным прозрением, подобным, в какой-то мере, чуду на пути в Дамаск? Или что-то в Гроссмане первого периода, до романа «Жизнь и судьба» и повести «Все течет...», позволяет предвидеть и величественный поворот, достойный греческой трагедии? Есть критики, склоняющиеся ко второму предположению. Нам представляется, что «старого» Гроссмана с «новым» связывает лишь манера письма, да и та не вполне. Удивительное сочетание личных и общих обстоятельств, черт характера и катастрофических бедствий привело писателя к смерти и, казалось, к посмертному забвению, а двадцать лет спустя – триумфу, настолько громкому, что сама посмертность его казалась призрачной, а Василий Гроссман мнился непосредственным участником того этапа разрушения советского тоталитаризма, который уже вошел в историю под именем «перестройки».

Начнем с самой сути – с ключевой цитаты.

В немецком концлагере, который переоборудуют в лагерь уничтожения, эсэсовец высокого ранга вызывает к себе среди ночи для беседы старика-заключенного, русского, большевика с незапамятных времен. Вот что говорит немец:

«Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало. В этом трагедия эпохи, разве вы не узнаете себя, свою волю в нас? Разве для вас мир не есть ваша воля, разве вас можно поколебать, остановить? <...> Вам кажется, вы ненавидите нас, но это кажется: вы ненавидите самих себя в нас. <...> Мы наносим удар по вашей армии, но мы бьем себя. Наши танки прорвали не только вашу границу, но и нашу, гусеницы наших танков давят немецкий национал-социализм. <...> Это может трагически кончиться для нас. <...> Если мы победим, мы, победители, останемся без вас, одни против чужого мира, который нас ненавидит. <...> Два полюса! Конечно, так! Если бы это не было совершенно верно, не шла бы сегодня эта ужасная война. Мы – ваши смертельные враги, да, да. Но наша победа – это ваша победа. А если победите вы, то мы и погибнем, и будем жить в вашей победе. Это как парадокс: проиграв войну, мы выиграем войну, мы будем развиваться в другой форме, но в том же существе. <...> Подумайте! Кто в наших лагерях, если нет войны, если нет в них военнопленных? В наших лагерях, если нет войны, сидят враги партии, враги народа. Знакомые вам люди, они сидят и в наших лагерях. <...> Ваши контингенты – это наши контингенты. ...Сегодня вас пугает наша ненависть к иудейству. Может быть, завтра вы возьмете себе наш опыт. <...> Я прошел длинную, трудную дорогу, и меня вел великий человек. Вас тоже вел великий человек, вы тоже прошли длинную, трудную дорогу. <...> И вот меня мучит: ваш террор убил миллионы людей, и только мы, немцы, во всем мире понимали: так надо. <...> На нас сегодня смотрят с ужасом, а на вас с любовью и надеждой? Поверьте, кто смотрит на нас с ужасом, тот и на вас смотрит с ужасом. <...> Пропасти [между нами] нет! Ее выдумали. Мы – форма единой сущности: партийного государства. Наши капиталисты – не хозяева. Государство дает им план и программу. Государство забирает их продукцию и прибыль. <...> Ваше партийное государство тоже определяет план, программу, забирает продукцию. Те, кого вы называете хозяевами, – рабочие, – тоже получают заработную плату от вашего партийного государства. <...> И над нашим народным государством – красное рабочее знамя, и мы зовем к национальному и трудовому подвигу и единству, и мы говорим: «партия выражает мечту немецкого рабочего». <...> И вы, как и мы, знаете: национализм – главная сила двадцатого века. Национализм – душа эпохи! Социализм в одной стране – высшее выражение национализма! <...> Я верю, что голова вашего Сталина не затуманена гневом и болью. Он видит правду через огонь и дым войны. Он знает своего врага. > На земле есть два великих революционера: Сталин и наш вождь. Их воля родила национальный социализм государства. Для меня братство с вами важней, чем война с вами из-за восточного пространства. Мы строим два дома, они должны стоять рядом. <...> Вы наши учители, наставники. Ленин создал партию нового типа. Он первый понял, что только партия и вождь выражают импульс нации... <...> Потом Сталин многому нас научил. Для социализма в одной стране надо ликвидировать крестьянскую свободу сеять и продавать, и Сталин не задрожал – ликвидировал миллионы

крестьян. Наш Гитлер увидел – немецкому национальному, социалистическому движению мешает враг – иудейство. И он решил ликвидировать миллионы евреев. Но Гитлер не только ученик, он гений! Ваше очищение партии в тридцать седьмом году Сталин увидел в нашем очищении от Ремма – Гитлер тоже не задрожал...»

И в заключение этого скорее монолога, нежели беседы: «Учитель, вы всегда будете учить нас и всегда у нас учиться».

Сегодня, летом 1998 года, эта пространная выдержка звучит почти банально. Кто только не сравнивал коммунизм с нацизмом, не ставил на одну доску Гитлера и Сталина, не произносил на одном дыхании слова «Освенцим» и «Колыма»? Но наша цитата взята из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», который был закончен в 1960 году и тогда же подан автором в один из трех главных литературных журналов СССР – для публикации. В 1960-м провести в открытую, печатно подобную параллель означало осудить себя на смерть, если не физическую, то уж во всяком случае литературную: ведь ни на что, хотя бы отдаленно схожее, ни один из советских писателей до сих пор не решался. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака не идет – в этом плане – с «Жизнью и судьбой» ни в какое сравнение.

Гроссман не был ни расстрелян, как в «добрые» сталинские времена, ни даже арестован и брошен в лагерь. Возможно, что власти не хотели нового скандала: предыдущий, с Нобелевской премией Пастернаку, разразился всего год с небольшим назад, и его раскаты еще не успели отгреметь. Вполне вероятно также, сыграло свою роль и то обстоятельство, что о романе Гроссмана было известно лишь крайне ограниченному кругу лиц, в отличье от пастернаковского «казуса». Так или иначе, но под арест был взят не писатель, а то, что он написал. Политическая полиция, офицеры государственной безопасности конфисковали все до последней (как утверждал Гроссман, и полицейские поверили) машинописные копии романа, а главный идеолог партии и государства – имени его не хочу произносить, да будет оно проклято и забыто навсегда! – лично объявил Гроссману, что «Жизнь и судьба» будет напечатана не раньше, чем через двести, а то и триста лет.

Но идеолог ошибся. Роман Гроссмана вышел по-русски не через двести, а через двадцать лет, правда, не в России, а в Швейцарии. Еще три года спустя начали появляться переводы на европейские языки, имевшие, прежде всего во Франции, совершенно оглушительный успех. А там начались перемены и в Советском Союзе, и в 1988 году «Жизнь и судьба» стала доступна русскому читателю и в Москве. Критические отклики того года отражают великое потрясение читателя. Приведу несколько строк из одной рецензии: «Роман Василия Гроссмана есть, прежде всего, феномен свободы духа, и иначе и быть не могло, потому что это роман о свободе. Идея свободы стала идеей идей в двадцатом веке. Никогда она еще так не овладевала массами, и никогда еще она не была так оболгана. И никогда массам, народу, не приходилось так жестоко расплачиваться за эту ложь... Появись роман в 1960 году – тогда, когда и был написан, – он продвинул бы наши представления об эпохе и о войне на десятилетия вперед. Потому что то, что мы знаем и понимаем

что то, что мы знаем и понимаем сейчас, понимал в 1960 году Гроссман. Он понимал и больше. Его роман опережает даже самые смелые мысли нашего времени».

История освобождения арестованного романа – это роман сам по себе, с детективной фабулой, со знаменитыми действующими лицами, назову только Андрея Дмитриевича Сахарова, великого русского демократа. Но наша тема иная.

«Жизнь и судьба» – вторая половина дилогии, которая начинается романом «За правое дело», напечатанном в московском журнале «Новый мир», в июле-ноябре 1952 года, на самом излете так называемых «черных лет» сталинизма, в канун смерти того, кто многим казался бессмертным. Дилогия и каждый из составляющих ее романов – проза в традиции Льва Толстого, «Войны и мира». Это история большой семьи, как бы «вписанная» в историю страны, России, и всего мира. Свыше сотни персонажей (это не считая тех, что не названы по имени!), вплетенных в не меньшее число фабульных линий, замечательные батальные сцены, огромной силы психологические сцены (не могу не назвать поистине незабываемого эпизода: мать на могиле сына, скончавшегося от ран в тыловом госпитале, – своего рода «пьетá» XX века). И все же читатели и критики «Жизни и судьбы» главное внимание уделяли не литературному мастерству, не письму и не толстовской «диалектике души», но общей, идеологической позиции автора, его противостоянию тоталитаристскому ужасу нашего века в обоих главных его обличьях – советскому и нацистскому одинаково.

Во-первых, можно ли понимать буквально, как авторскую мысль, слова, которые я привел в начале моего сообщения? Ведь в романе их произносит нацист, эсэсовец, и дальше по тексту он сам проговаривается, что весь его разговор с заключенным был своего рода провокацией, был вызван (цитирую) «всего лишь потребностью проверить кое-какие мысли, да вот желанием написать работу «Идеология врага и ее лидеры». Но он тут же прибавляет: «Какой интересный характер! Действительно, когда влезаешь в ядро атома, на тебя начинают действовать не только силы отталкивания, но и силы притяжения».

Если во время действия романа, в дни и месяцы Сталинградской битвы, правда и справедливость бесспорно на советской стороне, то *в исторической перспективе* дегенерирующий коммунизм-сталинизм очень скоро заступит место фашизма, и Гроссман знает об этом досконально, и по опыту всей страны, и по собственному, личному опыту, а потому высказывания немца можно рассматривать как авторские пророчества «постфактум».

Во-вторых, стоит всмотреться пристальнее в композицию: чем окружен разговор гитлеровца со старым большевиком? Ему предшествуют свободные, откровенные, без оглядки на то, что надо держать язык за зубами, беседы в тылу и в армии, и свободная речь дарит ощущение неведомого прежде счастья. За ним, т. е. за разговором гитлеровца с большевиком, следует важнейший в идейном плане «трактат» о бессмысленной доброте – сочинение русского каторжника в немецком концлагере, погибающего потому (не лучше ли ска-

зать: за то?), что отказывается принимать участье в работах по устройству газовых камер массового уничтожения. Несколько фраз из «трактата»: «В ужасные времена, когда среди безумий, творимых во славу государств и наций и всемирного добра, в пору, когда люди уже не кажутся людьми, а лишь мечутся, как ветви деревьев, и, подобно камням, увлекающим за собой камни, заполняют овраги и рвы, в эту пору ужаса и безумия бессмысленная, жалкая доброта <...> не исчезла... Она <...> и есть человеческое в человеке... <...> Она сильна, пока нема, бессознательна и бессмысленна, <...> пока не стала орудием и товаром проповедников... <...> Чем шире, больше открывалась мне тьма фашизма, тем ясней видел я – человеческое неистребимо продолжает существовать в людях на краю кровавой глины, у входа, в газовню... <...> Я увидел, <...> что могучее зло бессильно в борьбе с человеком...».

В одном из довольно многочисленных публицистических отступлений, где автор непосредственно, от собственного имени обращается к читателю, Гроссман говорит: «Жизнь – это свобода... ...Душа отдельной жизни – свобода. ...Счастьем, свободой, высшим смыслом жизнь становится лишь тогда, когда человек существует как мир, никогда никем не повторимый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, находя в других то, что нашел в самом себе».

Гроссман декларативным образом связывает свободу и доброту, бескорыстную и бессмысленную: «это доброта старухи, вынесшей кусок хлеба пленному... доброта крестьянина, прячущего на сеновале старика-еврея... доброта без свидетелей, малая... доброта людей вне религиозного и общественного добра». Итак, он связывает свободу и доброту как две самые великие ценности жизни. Отсюда следует, что «трактат» о доброте принадлежит автору в той же мере, что и его персонажу.

А свобода? И свобода – тут же, сразу за «трактатом»: это главы, посвященные «дому 6/1», крохотному островку сопротивления в уже захваченном немцами части Сталинграда. Он обречен, этот островок, но пока в нем царит высокий дух свободы, изгнанный одинаково и из сталинской России, и из гитлеровской Германии.

Мне представляется, мы вправе сделать вывод, что «откровения» нациста в концлагере, представляющем собою воплощенное, материализованное отрицание высших ценностей доброты и свободы, о которых говорят соседствующие (и контрастирующие!) главы, что «откровения» эти парадоксальным образом, т. е. устами врага и искусителя в евангельском и «достоевском» смысле (вспомните «Братьев Карамазовых»!), но вполне адекватно выражают мысли автора.

Органическая близость, сродство двух тоталитарных систем всего четче бросаются в глаза на уровне пенитенциарном, концентрационном. (Недаром еще со времен советско-германского пакта 1939 года сохранился слух, будто Сталин, представляя приехавшему в Москву Риббентропу главу своих карательных органов Лаврентия Берия, сказал: «А это наш Гиммлер»). Но и тюрьмой, и волей (скорее, «волей» в кавычках) правят те же законы. Старый большевик, умирающий в

советском лагере, так сказать, «у «себя», говорит товарищу по давним временам, тоже лагернику: «Мы проходим через лагерь, тайгу, но вера наша сильней всего (т. е. вера в революцию, в партию, в коммунизм). Не сила это – слабость, самосохранение. Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь – и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства... А здесь, в лагере, тот же инстинкт им велит не меняться – если не хочешь покрыться деревян-бушлатом, то не меняйся в лагерные десятилетия...». И он просит прощения у товарища – за то, что когда-то втянул его в кровавую круговерть революции.

Не менявшиеся «на воле» отставали от времени, становились «пасынками времени» – чтобы кончить в тюрьме, в расстрельном подвале, с пулею в затылке или, в лучшем случае, на лагерных нарах. Муки и поздние (слишком поздние!) прозрения «непоколебимой ленинской гвардии» в камерах, в кабинетах следователей, под кулаками и сапогами пыточных дел мастеров – вершина гроссмановского психологизма.

Но если в душу опального большевика, ставшего подследственным, а значит, «врагом народа», Гроссман все же мог проникнуть, сам, слава Богу! не побывавши ни в тюрьме, ни в лагере, то остается загадкой, как он сумел с такою убедительностью написать эпизод в лагере смерти у немцев, от выгрузки эшелона до последних конвульсий в газовой камере. Или это и не загадка вовсе, а чудо? Чудо творчества?

Но ещё большею загадкою, или, если угодно, еще более поразительным чудом кажется другое: каким образом добропорядочный советский писатель Василий Гроссман мог написать такой непримиримо, откровенно и вызывающе антисоветский роман? И не только написать, но и надеяться напечатать, собственноручно принести рукопись в журнал, который возглавлял законопослушный коммунист, известный своими связями в ЦК и в КГБ?

Есть критики, которые усматривают здесь закономерное развитье таланта и мировоззрения. Я с этим решительно не согласен. Я читал все, написанное и напечатанное Василием Гроссманом, от первых публикаций до посмертных; я не надеюсь, что кто-либо из здесь присутствующих разделяет мой опыт, и потому прошу поверить мне на слово.

Он родился в 1905 году, т. е. вырос и возмужал уже в советское время. Кончил Московский университет, работал на Украине, потом в Москве, используя знания, приобретенные на химическом факультете. Первые серьезные литературные опыты относятся к 1934 году. Тогда же Гроссман оставляет службу, чтобы посвятить себя писательству целиком. До 1941 года, т. е. до вступления Советского Союза в войну, он опубликовал больше двух десятков повестей и рассказов, а также две книги большого романа, которому предстояло остаться неоконченным. Во всем этом довольно значительном по общему объему материале нет ни грана недовольства советской вла-

стью или коммунистической идеологией. Наоборот! Некоторые страницы довоенного Гроссмана способны вызвать у его сегодняшних поклонников (к числу которых, естественно, отношу и себя самого) чувство стыда – до того они, эти страницы, идеологически безупречны. Все четыре года войны Гроссман провел на фронте военным корреспондентом. Он был свидетелем Сталинградской битвы, он был первым советским писателем, увидевшим лагерь уничтожения (Треблинку) и написавшим о нем, он был в войсках, которые брали Берлин, Он ненавидел гитлеризм общею ненавистью – как русский и как еврей, но ещё и особою, сугубо личною: его мать была убита немцами в гетто в Бердичеве, в его родном городе. И вот, еще во время войны Гроссман не может не заметить, что антисемитизм, который он полагал неотъемлемым признаком фашизма, становится негласной, прикрытой, но вполне ощутимой частью советской государственной и общественной практики. Роман о Сталинграде, упомянутая мною выше первая часть дилогии, «За правое дело», подверглась уничтожающему разгрому, в котором антисемитские ноты звучали уже почти открыто. Да и немудрено: политическим фоном, на котором шел разгром, был так называемый заговор «убийц в белых халатах» – врачей еврейского происхождения, которые, по поручению империализма и сионизма, собирались, оказывается, отравить руководство партии и правительства. В обстановке всеобщей юдофобской истерии Гроссману довелось пережить еще одно тяжелейшее унижение. Идеологические власти, вероятно, по плану самого Сталина, готовили открытое письмо в газету «Правда»; в письме несколько десятков высокопоставленных и знаменитых евреев просили защитить еврейский народ от справедливого гнева всех других народов страны и для этого переселить, т. е. попросту сослать всех евреев в отдаленные районы Сибири. Среди тех, кого заставили подписать письмо, был и Василий Гроссман. До конца жизни он не мог простить себе этой подписи, этой трусости; совершенно ясные следы этого раскаяния мы находим в «Жизни и судьбе». Надо полагать, что в своей слабости Гроссман видел оскорбление памяти матери – той самой памяти, которой он посвятил роман «Жизнь и судьба». И вообще: в отношении сына к убитой немцами матери было что-то особое, что-то сверхчувствительное, может быть, даже чувство вины. Не случайно письмо матери из гетто к протагонисту романа, бесспорному «альтер эго» самого автора, – едва ли не лучшие страницы «Жизни и судьбы». Не случайно и то, что всю жизнь Гроссман носил в кармане письма, которые он писал мертвой матери.

Очень давно, восемнадцать лет назад, когда я писал свою маленькую книжку о Гроссмане, я высказал предположение, что еврейская судьба русского писателя Василия Гроссмана перевернула его жизнь, заставила заново, по-новому взглянуть и на историю, частью которой он оказался, и на свой долг перед этой историей, перед народом, к которому он принадлежал. Позволю себе процитировать самого себя; «Я думаю, нельзя сомневаться, что этот роман не был бы написан, не перенеси Гроссман ударов судьбы, которые выпали ему именно как еврею. Собственное горе, несправедливости, жертвою которых стал

он сам, открыли ему глаза на чужое горе, на боль и муки жертв иных несправедливостей – и он написал *обо всем*, что увидели его глаза, освободившись от шор...»

К этому старому суждению я хочу добавить два замечания.

Во-первых, мне кажется сегодня, что муки совести после проклятой подписи могли быть тем решающим толчком, который привел к новому взгляду на мир. Это всего лишь догадка, не подкрепляемая никакими доказательствами, но прислушайтесь к голосу «альтер эго» Гроссмана в романе, который тоже подписал подлое письмо: «С ясностью он увидел, что еще не поздно, есть в нем еще сила поднять голову, остаться сыном своей матери. Он не будет искать себе утешений и оправданий. Пусть то плохое, жалкое, подлое, что он сделал, всегда будет ему укором, всю жизнь... Каждый день, каждый час ... нужно вести борьбу за свое право быть человеком, быть добрым и чистым. ... А если в страшное время придет безвыходный час, человек не должен бояться смерти, если хочет остаться человеком. – Ну, что ж, посмотрим, – сказал он, – может быть, и хватит у меня силы. Мама, мама, твоей силы».

И второе. Все обстоятельства, изложенные мною выше, не способны, как я вижу, объяснить львиной отваги и младенческой наивности Гроссмана, несущего в московский журнал свою идеологическую бомбу. И мне вспоминаются слова великого русского писателя нашего века Андрея Платонова, который дружил с Гроссманом: «Вася, ты же Христос», (Эти слова известны по мемуарам ближайшего из друзей Василия Гроссмана, поэта Семена Липкина). Может быть, вот она, разгадка, или хотя бы часть ее. В еврее Гроссмане, русском писателе, жил и русский юродивый, «христов человек», «христосик», дурачок божий, не боящийся ни смерти, ни – уж тем менее! – царского гнева.

На этом я и закончу, присовокупив только, что после ареста романа Гроссману оставалось жить меньше четырех лет, он продолжал писать и – как и обещал – не солживил ни в одной строчке, не уступил злу и насилию ни в чем.

Барселона, 14 июля 1998

Шимон Маркиш

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР*

Русско-еврейская литература: что это? кто это? Каковы ее духовные достижения? Как они соотносятся с еврейской традицией? Как развивают ее? Это феномен прошлого, или она жива и сегодня?

Русско-еврейская литература – одна из ветвей еврейского литературного творчества нового времени. С самого начала еврейского рассеяния евреи усваивали языки большинства, среди которого оказывались, и писали на них «свое». Филон Александрийский писал по-гречески, Маймонид – по-арабски. Новое время, которое для евреев начинается с Хаскалы, т. е. еврейского Просвещения, ставившего себе целью вывести евреев из гетто, а по сути – ассимилировать их, новое время принесло лишь одно новшество: литератор, усвоивший язык большинства, может остаться в кругу еврейских интересов, еврейской цивилизации, может уйти к большинству, так сказать, с потрохами, может, наконец, сочетать в своей литературной карьере первое со вторым, когда последовательно, а когда и параллельно. Примеров – без конца и края, от отца-основателя Хаскалы Мозеса Мендельсона до лауреата Сталинской премии Анатолия Рыбакова (в роли и качестве автора романа «Тяжелый песок»).

Любая еврейская литература нового времени, на каком бы то ни было языке, существует постольку и до тех пор, поскольку и пока существует тот или иной вариант еврейской цивилизации, вызвавший ее к жизни. Еврейство Российской империи было самой значительной во всех отношениях общиной во всем мире и, несмотря на разнородность составляющих (выражавшуюся нередко в непримиримых оппозициях типа «первобытная ортодоксальность масс – ирелигиозность ассимилированной интеллигенции»), представляло собою некое цивилизационное единство. События нашего кошмарного века, которые нет нужды перечислять, разрушили российско-еврейскую цивилизацию до основания, превратили ее в пустыню. Соответственно, русско-еврейская литература, датою рождения которой следует считать рубеж пятидесятых и шестидесятых годов прошлого столетия, больше не существует; датою ее кончины я предлагаю считать 1940 год – год смерти Бабеля и Жаботинского.

Что касается еврейской традиции, а равно и «духовных достижений» русско-еврейской литературы, вопрос слишком сложен и в анкету «не влезает». В двух словах: коль скоро литература остается еврейской, она в той или иной форме, но неопустительно соотносится с еврейской традицией.

---

* Вопросы Шимону Маркишу были подготовлены Леонидом Финбергом (Институт иудаики, Киев). В машинописном варианте материал не озаглавлен.

В какой мере русско-еврейская – более широко восточноевропейская – культура интегрирована в Израиле? Не кажется ли Вам, что это полузабытый материал? Не слишком ли велика потеря для еврейской культуры – думы и чаяния миллионов в самые драматические часы истории XIX и XX веков?

Я не живу в Израиле и не знаком с его культурой, так что по сути дела ответить не могу. Попытаюсь, тем не менее, как-то обобщить свои личные впечатления, свой собственный опыт встречи со страной.

Общеизвестный факт: основой сионистской идеологии и, следовательно, важнейшим основанием духовной жизни будущего Израиля была культура центрально- и восточноевропейского еврейства, и российского – в особенности; подавляющее большинство пионеров, заложивших фундамент общества и государства, вышли из старой России (включая Царство Польское).

Этнографически поселенцы прошлого и начала нынешнего века напоминали, скорее всего, украинских крестьян, но запросы души и духа удовлетворялись преимущественно из источников обновленно еврейских (ивритских) и собственно русских, не русско-еврейских. Читали Толстого и у него учились (как идеолог халуцианского и кибуцного движения Аарон Гордон), но С. Ан-ский, Айзман и, боюсь, даже Жаботинский-беллетрист оставались далеко за пределами внимания.

Я приехал в Израиль впервые в 1974 году. И в кибуцах, и в городах я встретил многих и говоривших, и даже регулярно читавших по-русски. Русско-еврейская литература не интересовала никого из них. За истекшие двадцать лет не было, сколько мне известно, ни переводов из русско-еврейской литературы «классического периода» (до 1917 года), ни исследований, ей посвященных. Ни в одном из пяти университетов Израиля нет кафедры, специально занимающейся русско-еврейской культурой. Как, впрочем, нет такой кафедры нигде в мире, ни в одном из многочисленных центров еврейских исследований.

Но значит ли это, что «думы и чаяния миллионов в самые драматические часы истории XIX и XX веков» потеряны для Израиля? Отнюдь! Это означает лишь одно: из трех главных «изводов» еврейской культуры в старой России – ивритского, идиша и русского – последний не только угас (угас и второй!), но и оказался в пренебрежении, почти полном. Справедливо ли это? Разумеется, нет, но и трагедии никакой нет, потому что два другие «извода» выражали «думы и чаяния» ничуть не хуже. А час русско-еврейского «извода» еще придет, не сомневаюсь ни на миг.

Вы уже более двадцати лет живете в Европе, изучаете еврейские традиции, литературу. Для Вас почти нет языковых барьеров, тем более нет идеологических и информационных. Какой Вам видится еврейская литература XX века? Какие имена, какие тексты ее определяют? Каковы последние, новейшие ее тенденции?

К сожалению, моя осведомленность намного уже, чем хотелось бы, так что ответ мой выражает сугубо личную и весьма ограниченную точку зрения.

Активная и о р г а н и ч е с к а я еврейская жизнь видна, среди европейских стран, лишь во Франции и в Англии. В том числе – и литературная, по-английски и по-французски. Во французской общине преобладают ныне выходцы из Северной Африки, что в значительной мере предопределяет материал и тематику сегодняшней франко-еврейской литературы. Не стану скрывать, что для меня больший интерес представляет литературная продукция евреев европейских, ашкеназов и их потомков, к числу которых принадлежат два, на мой взгляд, крупнейших писателя послевоенной еврейской Франции – Роже Икор (роман «Смешение вод», или «Дети Аврома», 1955) и Андре Шварц-Барт (роман «Последний из праведников», 1959), оба французы в первом поколении, дети иммигрантов из Литвы и Польши. По-французски пишет и самый, вероятно, знаменитый еврейский писатель второй половины века – Эли Визель, хотя живет он в Нью-Йорке, а по происхождению венгерский еврей родом из Румынии. Он писатель в высочайшей степени интересный, мощный и плодовитый; мои любимые вещи – самые ранние: «Ночь» (1958) и «Рассвет» (I960). Я думаю, что никто во всех еврейских литературах (известных мне в оригиналах пли переводах) не сумел так соединить, сочетать тысячелетние корни еврейства с горчайшими плодами и свежими побегами, как это удалось Визелю.

Я далеко не достаточно знаю франко-еврейскую литературу, но англо-еврейскую – еще того менее. Зато регулярно читаю «Джуиш Кроникл», лучший (разумеется, по моему крайнему разумению) еврейский периодический орган на английском языке. В нем печатаются замечательные публицисты, самым острым и пронзительным среди которых мне видится Хаим Бермант. Среди прозаиков неизменную симпатию вызывает у меня Фредерик Рафаэль.

Однако, вне всякого сомнения, лидирует литература американо-еврейская, и не только количественно, но, пожалуй, и качественно. Разговора о ней я не хотел бы даже начинать: рамки интервью тут никак не подходят.

Она даже не континент, а море, нашпигованное минами, вести коротенькую экскурсию по которому я никак не готов.

Не готов я отвечать и на слишком общие, так сказать «концептуальные» вопросы – о еврейских литературах XX века в целом, о новейших тенденциях в них.

Что сегодня представляет собой мировое еврейство? Что его объединяет, что разъединяет? Вряд ли религия – влияние ее в секуляризованном мире не столь велико. Может, история? Не мало ли? Что еще? А может быть, мировое еврейство – это миф? Тоже непохоже. Так что же?

Вопрос еще более общий, еще более «безответный», если (прошу прощения за не слишком изящную игру слов) ты не совсем лишен

чувства ответственности. Но я опять-таки – со всеми оговорками! – попробую сослаться на личный опыт.

Везде в мире – я имею в виду не тоталитарный и не посттоталитарный мир – еврейство определяется свободным волеизъявлением: решением принадлежать или не принадлежать к общине верующих, причем собственная вера решающего не составляет условия необходимого и достаточного. Начну с себя: я вступил в Женевскую Иудейскую общину, предупредив, что я закоренелый агностик, и услышав в ответ, что 80 процентов членов общины – неверующие, точнее – не исполняющие обрядов (заповедей). Этот процент примерно совпадает с тем, что мы знаем о положении дел в Израиле, знаем по результатам голосований за различные религиозные партии. Итак, религиозные «рамки» (но не вера как таковая!) продолжают играть свою организационную роль в еврейском национальном бытии. Меня, агностика, это не смущает и не раздражает: я прекрасно отдаю себе отчет в том, что Библия, Талмуд (со всеми комментариями и кодификациями) и совокупность ритуалов составляют становой хребет еврейской культуры в любой се модификации, что без них мы перестаем быть евреями автоматически. По совести говоря, я предпочел бы принадлежать к светской общине, такой, какую видел в Брюсселе и где священные тексты и действия истолковываются в плане историко-культурном, а не сакральном; такой же светской общиной является, по сути дела, и классический кибуц. Но кибуцы далеко, а общины, подобной брюссельской, я не встречал нигде более. Это – о религии в секуляризованном мире. Чтобы осуществить свой выбор – быть евреем – не только в собственном сердце (душе, голове – как угодно!), агностик присоединяется к «хранителям заповедей»; а при нынешнем плюрализме форм культа спектр «хранителей» весьма широк – от сверхсерьезных, или, скажем прямо, угрюмых ортодоксов и не менее ортодоксальных весельчаков-хасидов до непомерно либеральных, даже на мой посторонний агностический взгляд. Выбирай, что хочешь!

Тем не менее, если речь идет о тех, для кого еврейство – это, прежде всего, историческое и культурное наследие, чувство причастности к наследию подкреплялось и подогревалось – сколько позволяют мне судить наблюдения последних двадцати с лишком лет – двумя мощными сплачивающими факторами: солидарностью с Израилем и симпатиями к советскому еврейству. Сегодня ситуация меняется. Не только открылась свобода эмиграции, которой бывшие советские евреи и пользуются в полной мере (и, надо добавить, не всегда и не везде на радость принимающей стороне), но и безоговорочная солидарность с Израилем начала как-то выветриваться – в силу ряда причин, исчислять которые здесь было бы неуместно. Что будет дальше, какие силы сплочения будут действовать в следующем столетии – Он знает, т.е. Бог, говорят люди верующие. Но Вы обращаетесь с вопросом ко мне, агностику. Разрешите же процитировать одну из статей, написанных мною в память об отце, Переце Маркише: «Отец не научил меня молиться, я остался неверующим, агностиком. Он не научил меня вере, но научил верности – верности

еврейскому прошлому и еврейскому будущему. Это стержень, на котором держится моя жизнь...» Могу ли я сомневаться, что наше «бытие будет» (заимствую у Мандельштама), что, вопреки всем бедствиям, опасностям и соблазнам, мы выстоим, выдюжим, сохранимся до конца времен?

В одной из статей Вы пишете о «двухосновной цивилизации еврейства» - еврейской и окружающей. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этом феномене. Ведь он очень многое объясняет в судьбе евреев и еврейской культуры.

О двойной цивилизационной принадлежности еврейства в XX столетии впервые подробно и систематически заговорил раввин Мордехай Менахем Каплан, основатель одного из реформистских течений в американском иудаизме. Его книга «Иудаизм как цивилизация» (1934), на мой взгляд, необходима каждому, кто пытается понять, что такое еврейство сегодня. Любопытно, что прямыми предшественниками Каплана, о которых он, впрочем, видимо, и не догадывался, были россияне: лингвист Иван Александрович Бодуэн-де-Куртенэ, еще в самом начале века утверждавший, что интеллигент может принадлежать не одной, а двум или даже нескольким цивилизациям (сам Бодуэн был тому блистательным примером), и русско-еврейский публицист Иосиф Бикерман, который в 1910 году, развивая мысль Бодуэна в применении к российскому еврейству, сформулировал своего рода призыв – «не раздвоенность, а удвоенность». Проследить историю этой удвоенности – дело не просто любопытнейшее, но в высочайшей степени плодотворное. Если на поприще русско-еврейском настоящее удвоение начинается, как мне видится, с Кипена и Соболя и заявляет о себе в полную мощь у Жаботинского и Бабеля, если «австрийцы» (вместе с «немцами») были первыми на этом пути, а «венгры» так на него и не вступили, если раздвоенность ведет к самоненавистничеству, а потеря еврейской половины в удвоенности (сегодняшняя российская ситуация) – к опустошенности и сиротству и т. д. и т. п., то еврейская культура, единая в своей многоликости, открывается нам, быть может, всего полнее именно в сопоставлении судеб, «биографий» еврейских литератур новейшего времени на различных языках диаспоры.

Отказ от еврейства – тоже составляющая часть еврейской цивилизации. Радноти, Б. Пастернак, А. Мень... Этот список можно продолжать. Что Вы думаете об этом пути, как оцениваете? И еще. Где грань между этническим и национальным? Уж слишком много из написанного об этом попахивает расизмом...

Уходящий пусть уходит: скатертью дорога, полотенцем путь! Худо, если с этого пути он назойливо взывает к остающимся – бранит их или (и) зовет за собой. Раньше – в прошлом столетии и до того – было совсем худо: брань отступников, случалось, угрожала самому существованию общины. Ныне речь идет, вроде бы, только

о свободе убеждений, свободе совести, тем более, что уходящие сегодня – это на сто процентов бывшие неверующие, иначе говоря, они не меняют веру, но впервые обретают ее. И все же сознательный отказ от еврейской религии, пусть даже догматы ее были неведомы, а обряды никогда не исполнялись, есть отказ от еврейства – так понимает этот акт и израильский Закон о возвращении. Так же понимаю его и я: я сказал выше о роли и месте религии в еврейской цивилизации, роли совершенно уникальной и ничем не заместимой. Но, повторю: уход сам по себе меня может огорчить, но никак не ожесточить, тогда как призыв пастернаковского Гордона к евреям «разойтись» и не мешать счастью человечества во Христе и христианстве («Доктор Живаго») кажется мне не просто бестактным, но прямо кощунственным – ведь он брошен сразу после Шоа, истребления европейского еврейства немцами, христианской, хотя бы по определению, нацией!

Этнос и нация? Не знаю. Сперва надо бы точно и приемлемым для всех образом определить оба понятия, а где они, эти определения? Я привык говорить о еврейском н а р о д е и – что бы ни утверждали раввины, с одной стороны, и расисты-юдофобы, с другой, – принадлежность к этому народу есть, в первую голову, свободный выбор, подкрепленный известной суммой знаний и поступков (когда секта американских негров объявляет, что они, и только они – евреи, а нынешних жителей Израиля надо изгнать из страны как самозванцев, комментарии, видимо, ни к чему). Между двумя Мировыми войнами в подмандатной Палестине жила и печаталась поэтесса Элишева, настоящим именем Елизавета Ивановна Жиркова, уроженка Рязани. На мой взгляд, она в миллион раз более еврейка, чем свежий израильтянин и новоявленный сионист < ... >, живой классик советской < ... > литературы и неизменный любимец советских властей предержащих.

«Усыхающая ветвь» – так называется Ваша статья, посвященная постсоветскому еврейству. Уже само название – приговор. А может быть, есть свой шанс возвращения к еврейству (не классическому XVIII или XIX века, а аналогичного пути евреев Западной Европы или Америки) для этого мира? Может быть, проблемы и противоречия «смутного времени» в странах и душах людей заслоняют его сегодня?

Могу только повторить слова из заключительного абзаца названной Вами статьи (она была напечатана в «Общей газете» от 9-16 июля 1993): «...Гадать о будущем – пустое дело; оно, будущее, способно предложить такие сюрпризы, какие не снились ни пессимистам, ни оптимистам».

Женева, 16 мая 1995

Шимон Маркиш

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Двадцать лет назад в Москве отмечалось семидесятилетие со дня рождения Переца Маркиша. Это был уже не первый после посмертной реабилитации вечер его памяти, но впервые удалось получить большой зал писательского клуба, вмещающий больше шестисот человек. Хотя никаких объявлений в газетах не было, хотя пригласительные билеты рассылались по строго проверенным в Союзе писателей спискам, народу собралось туча, и туча достаточно грозная и неприятная для литературного начальства. Пришли – незваные! – не старые евреи и еврейки, а еврейская молодежь, уже не знавшая языка, на котором писал Маркиш, но прекрасно отдававшая себе отчет в том, что означала жизнь и смерть Маркиша для всех нас, евреев России. Семье устроители вечера дали примерно сотню билетов, и мы привели и провели не только близких и дальних друзей, но и гостей уж вовсе «нежелательных» – израильских и американских дипломатов, иностранных журналистов. Нечего и говорить, что зал был набит битком, стояли во всех проходах, чуть ли не на сцене.

На сцене, за столом президиума, Маркишей было трое – мать, брат Давид и я. Мама в тот вечер не говорила, слово предоставлялось сыновьям.

Я написал страничку текста и выучил ее наизусть. Мне хотелось проверить, как это будет звучать перед аудиторией, хотя и бесспорно благожелательной, но чрезвычайно разнородной, отнюдь не еврейской только. Я пошел к своему близкому и дорогому другу, русскому поэту и стопроцентно русскому человеку. Он выслушал меня и был видимым образом растроган. Но я продолжал волноваться, тревожиться...

Я не нахожу этой странички в своих бумагах. Может, это и к лучшему: самым важным и – не побоюсь сказать – драгоценным в том выступлении был мощный, предельно напряженный контакт с залом, мне казалось, что я говорю не к этим людям, сидящим передо мною, а за них, от их имени, говорю то, что они хотели бы, но не могут, не смеют сказать.

Вот примерно мое краткое слово:

Мы собрались сегодня, чтобы почтить не только день рождения поэта, но, в первую очередь, его память, память о нем. Память (перефразировал я Осипа Мандельштама) – это «наше мучение и наше богатство». Хрупкое богатство, растрачиваемое до ужаса быстро, и необходимы постоянные и упорные усилия, чтобы не дать улетучиться неповторимому запаху редеющих завитков на макушке, не дать умолкнуть неповторимым интонациям голоса и смеха, чтобы не исчезли из глаз любимые руки, пальцы, ногти, бороздки на ногтях. Гомер рассказывает: души в загробном царстве беспамятны, но память

возвращается к ним, если напоить их кровью черной овцы. Мы, живые, поим свою душу, поддерживаем и освежаем память не овечьей кровью, но кровью и мукой собственного сердца. Пропавшим без вести на поле битвы или в дальнем путешествии, в кораблекрушении древние греки ставили памятники-кенотафы (буквально – пустые могилы). У Переца Маркиша нет могилы и нет памятника, но память о нем жива, и вернейшее тому свидетельство – многолюдство нашего сегодняшнего собрания. Закрепить ее, задержать, не дать ей изгладиться как можно дольше – наш долг перед Маркишем и перед самими собою, потому что главной целью его убийц было именно истребление памяти. И она будет жива. Она не будет вечной, – разговоры о вечной памяти – самообман, – но долгой она будет.

Ответом была настоящая овация.

Я был настолько взволнован, что не знаю сегодня, что говорили остальные и кто были эти остальные. Единственное, что осталось отчетливо, – это восторженный и грозный рев зала после стихов Давида. Они сохранились, эти стихи. Вот они:

Каморка. Камера. Карета.
Рыбачья хижина. Дворец.
Хотя темно, но много света.
Вниманье: здесь творит Творец!

Чертеж он чертит, ловит слово –
И, ошибаясь сгоряча,
Он опыт начинает снова,
Проклятья под нос бормоча.

Он ищет философский камень,
Рисует небо, пишет стих,
Из искры раздувает пламя
Для грозных опытов своих.

И за восторг открытья кровью
Сполна расплатится Творец...
Он жил во тьме средневековья,
И быть иным не мог конец.

Его во исполненье долга
В темницу стража увела,
И шапочка его из шелка
Осталась на краю стола.

Я не пишу его с натуры –
Его сожгли, и праха нет...
Короче, он точь-в-точь с гравюры,
Которой добрых триста лет

Пусть номер века – важный фактор,
И времени довлеющ знак.
Но, может, надобен редактор –
На деле было все не так?

Он голубые замки строил
Из вдохновенья своего.
За ним пришли под утро трое,
Пришли и увели его.

Ждала машина в переулке,
Светало, дом темнел большой,
И клетка лестничная гулко
Откликнулась на стук чужой,

И – всё...
А в остальном похоже:
Конец один – убить творца.
Он весь свой век крамолу множит,
Умы тревожит, жжёт сердца.

Во все века мы это знаем...
За доблесть, за восторг, за стих
В постели смерть не суждена им.
Ну, скажем, – большинству из них.

Когда все кончилось, кто-то из близких сказал: «Это был не вечер, это была демонстрация. Впервые было выкрикнуто во весь голос: убили! убийцы!» А убийцы – пусть не главные, пусть пособники убийц – сидели и в зале, и даже на сцене. Председательствовал на вечере поэт Николай Тихонов. Его статьей 1946 года «В защиту Пушкина» началась антисемитская травля после войны.

От статьи Тихонова к убийству Маркиша, к «делу врачей» – дорога прямая, прямее некуда.

Мы с братом часто вспоминаем тот вечер. Мы верим, что он внес свою лепту в национальное пробуждение российского еврейства. И хотя, конечно, мы этим гордимся, но заслуга тут не наша. Это Перец Маркиш продолжал служить своему народу. Мы верим также, что служба его далеко не кончена, что и стихи его, и жизненный пример будут будить еврейскую мысль и чувство, побуждать их к действию – к сопротивлению ассимиляции, к возврату к своей культуре на всех ее языках, и, в первую очередь, на идише, к Исходу, наконец. Разумеется, не в службе роль и назначение поэта, поэта великого, каким был наш отец. Но, как и прежде, а может быть, и больше, чем прежде, мы боремся за свое национальное сохранение, и в этой борьбе лирические строки Маркиша и горчайшая его судьба защищают нас, оберегают от уныния и отчаяния, от худшего из соблазнов – опустить руки, стать «как все», слиться с большинством, раствориться в нем, исчезнуть...

1985

Корин Амашер

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА *

Минуют необъятные российские годы, пройдут бесконечные российские дни, и опять наступит тот дождливый вечер с пельменями, который переломил Тонину жизнь у самого корня. Но на сей раз вечер перейдет не в ночь, а сразу в рассвет, станут блекнуть земные зори, как блекнут горящие свечи, освещенные сильным заревом, и услышит Тоня чистый, заоблачный голос, как бы единый голос Ульяны и Менделя:
– Прийди, ближняя моя, прийди, голубица моя.
Тогда ответит Антонина радостно:
– Готово сердце мое, Боже, готово.

Фридрих Горенштейн. Улица красных зорь, 1985

2 марта 2003 года в Берлине отмечали годовщину со дня смерти Фридриха Горенштейна. На кладбище собралось всего человек двадцать. Это немного для писателя, признанного одним из самых талантливых.

Я встречалась с ним всего один раз – за три месяца до его смерти. Ожидала встретить человека полного, каким привыкла видеть его на фотографиях. А он был худ, лицо его осунулось. Заметив мое удивление, сразу сказал, что у него проблемы со здоровьем. Он был уже безнадежно болен, но, по всей видимости, не хотел этого признать. Говорил о планах на будущее, о примирении с бывшей женой, которому радовался. Говорил о своем сыне, которого привлекают театр и литература. При этом глаза у него блестели. Горенштейн терпеливо отвечал на все мои вопросы (я только что закончила диссертацию, посвященную его творчеству). От него веяло большой добротой, иногда в его реакциях и интонациях чувствовалась детская наивность.

Он упомянул о новой работе: «Я готовлю пьесу о Гитлере. Но сейчас время прервалось из-за всяких проблем. Я все еще хочу, но у меня сейчас другие проблемы… Но надеюсь вернуться к этому».

Пьеса о Гитлере останется незаконченной. Не будет, наверно, никогда опубликовано и его эссе о Пушкине, которого он ценил превыше всех, о котором писал как об абсолютном гении: «…вот, о Пушкине еще я написал. Но тут о загадке Ганнибала. Это версия о негритянском происхождении Пушкина. Есть другая версия – о еврейском происхождении Пушкина. Это более серьезно… И я написал сравнение этих версий. Но это еще не издано».

Что касается Достоевского, с которым писатель вел непрестанную полемику (он посвятил ему и «пьесу для чтения» *Споры о Достоевском*), то Горенштейн нуждался в нем до конца жизни. В декабре он

---

* Я благодарю Иру Рабина-Голденфелда за любезно представленную информацию о жизни Фридриха Горенштейна и его отца.

собирался в Москву: на десятилетний юбилей своей пьесы *Детоубийца* в Малом Театре, а также, чтобы проверить у московских врачей диагноз рака, поставленный немецкими врачами, которым верить не хотел. К тому же Горенштейн собирался в Россию и на конференцию по Достоевскому: «если буду говорить о Достоевском, то о Достоевском в моих книгах. Как оппонент, в основном. Необходим как оппонент. Такое противостояние помогает мне понять. Он был человеком с преступными наклонностями и пытался это преодолеть. Это был высокий талант». О Мандельштаме говорил долго и с глубоким уважением: «Он из того же куска золотого, что и Пушкин. ...Это действительно золотая россыпь...». Потом мы начали говорить о писателях советского периода. Горенштейн их не особенно уважал, однажды даже сказал, что русская литература «кончилась в 30-е годы». Пастернак, по всей видимости, не интересовал его, во всяком случае, как автор романа *Доктор Живаго.* Он признавал значение Бабеля: «Бабелевский подход к жизни другой. Он, в общем-то, соцреалист, но натуралистический. В нем нету полета... Но это все-таки писатель, это были 30-ые годы, не то, что шестидесятники. Это писатель... Вы читали Бориса Степановича Житкова, роман *Виктор Вавич*? Роман этот вышел недавно. Его не хотели публиковать, и сейчас тоже замалчивают. Издали маленьким тиражом. Это мой любимый детский писатель. Он написал и роман. Я читаю его. Дети читают».

Горенштейну не особенно нравился, к моему удивлению, Василий Гроссман: «*Жизнь и судьба* – это не художественная вещь. Это публицистическое...» Он считал «не серьезными» и его маленькие рассказы: «У него был *Степан Кольчугин,* помните? Это более такое натуралистическое... а то более публицистическое. Это не самый мой любимый писатель».

А когда Горенштейн заговорил о «шестидесятниках», его лицо сразу потеряло доброту, впрочем, как и тогда, когда мы стали говорить о последней книге Солженицына.

– Вчера получил письмо от издательства «Слово», которое издало мой трехтомник десять лет назад. С тех пор они мной не интересовались, в магазинах ничего моего не было. Теперь вот пишут... Про мой роман о Шагале, звон слышали, и прочее...

– А почему, по-вашему, не интересовались вами?

– Я не знаю, почему. Но время подошло, они уже наиздавали, уже пересыщен рынок книгами Довлатова, Окуджавы и Войновича... Не знаю, почему они именно сейчас интересуются мной. Не знаю, буду ли им отвечать и что им отвечать, если они десять лет не интересовались. Никто нигде не издает *Место.* Толстый роман... Но и толстые романы тоже издаются, но вы же знаете, шестидесятники, компания... они все заполонили... не литературными методами стараются держаться.

– Но сегодня уже другие люди...

– Да, другие люди, постмодернисты... это еще хуже! Там Пелевин... потом этот Акунин. Кто их читает?!! Я одни рассказы прочитал, чтобы посмотреть, что это такое. Но дело не в этом. Общество достойно тех писателей, которые у него и есть... Это такая субкультура, я к

ней не принадлежу. Мой читатель, который был бы, который есть, этот читатель обделен книгами. Вот это меня возмущает. То, что они там увешаны наградами, орденами, это Бог с ними. Но то, что читатель неравноправен... Ну, что делать. Все равно, книги проходят...

– Вы часто пишете, что в Москве была кампания против вас...

– Не впрямую, конечно. Но просто я не принадлежал к этой культуре. У меня другие книги.

– Часто приходится читать, что вы злой и неприятный человек...

– Да, но это же способ... Кстати, о Пушкине тоже это говорили. Посмотрите, кто говорил... ну, не на ком поставить печать... В значительной степени из-за этого целых последних десять лет не было моих книг. Мои пьесы идут в двух консервативных театрах, в Малом и в Александринке. И где-то еще идут, но пиратским способом. Они со мной не общаются. *Волемир* у вас есть? Это моя первая пьеса. Я написал ее в 64-ом году. Она была опубликована в журнале *Время и мы*.

Горенштейн писал много. Во время нашей встречи он все время вставал и искал рассказы, и те, которых у меня не было, и те, о существовании которых напомнила ему я. Он искал тексты, написанные, он сам уже не знал, когда и где... Так в 1993 году его рассказ *День, оставшийся под обрывом* (1963), был найден в архивах *Нового мира.* Тогда цензура его не пропустила. Тридцать лет спустя его случайно нашли и опубликовали с согласия Горенштейна, который уже совершенно забыл о существовании этого текста...

– Почему Вы не эмигрировали в Израиль?

– Зачем? Это же не гетто... Вы понимаете, что немцы могут жить где хотят, а евреи только в Израиле... Кстати, у меня там не издано не одной строчки на еврейском. Тут издали десять моих книг все-таки, а там ни одной, так что, что мне там делать? Я там даже ни разу не был. Теперь времени нет.

Книги Горенштейна не были переведены на иврит (что, кажется, глубоко задевало его), он испытывал раздражение, как только речь заходила о политике Израиля, но была, наверно, и другая причина отказа поехать в Израиль. Он покинул СССР в 1981 году не «по еврейской линии», а по официальному приглашению, получив в ФРГ академическую стипендию. Он остался в Германии, жил на литературные гонорары и стипендии и никогда не признавал себя еврейским иммигрантом. А жить в Израиле значило бы для него «раствориться» в этой стране, потерять статус «русского писателя в эмиграции».

Как бы ни воспринимали его критики – еврейским писателем, или русским писателем еврейско-украинского происхождения, Горенштейн неустанно повторял, что он писатель русский:

– Вы считаете себя русским писателем...

– У меня культура русская. Писатель пишет и принадлежит к той культуре, на языке которой он пишет.

– Не все согласны с этим...

– Но пусть они будут не согласны... Допустим, этот полуполяк, который писал по-английски...

– Джозеф Конрад?

– Да, Конрад! Он кто? Польский писатель, что ли? Он английский писатель! Но вы знаете, дело не в том, кем я себя считаю. Я могу себя считать кем угодно. Но дело в том, что есть действительность. По языку считается. Нравится ли это кому-то или нет. По языку. Все! Это изменить нельзя. Гитлер не мог ничего изменить с Гейне.

– О вашей национальности говорят разные вещи: то русский, то украинский еврей, то русский еврей… А что вы сами говорите?

– Еврей, естественно! А как я могу по-другому. Допустим, я скажу: нет. Разве это может быть! Сам человек не может себя определять. Его определяют. Не он себя определяет. Это же физиология. Как же можно физиологию не считать? Есть психология, есть идеология, это можно. Но физиология есть физиология. Есть этническое происхождение, и, естественно, оно не всегда совпадает с культурой. Но сейчас это не так важно. Пусть определяются люди, как хотят. Есть смеси все-таки. Это при Гитлере играло какую-то роль. Я не знаю, какую это роль играет в смысле психологии, и для кого играет… И насчет еврейской культуры: по-моему, не только еврейской культуры, но и русской культуры нет уже. И везде прошла уже культура… Вообще, культура идет к концу. Ее нету уже. Посмотрите, что происходит вокруг нас. Культура идет вниз, западная культура. Вообще жизнь идет вниз. Пока я не хочу сказать, что так оно будет. Но такая тенденция существует.

Родным языком родителей Горенштейна был идиш: «Отец был связан с еврейскими колхозами, которые создавались в Крыму. Мать была некоторое время еврейской учительницей в еврейской школе. Когда-то были еврейские школы… Она преподавала на идише. Я не говорю на идише. Мне трудно понять, что идиш, а что немецкий. Но я идиш использую в романе *Попутчики,* в пьесе *Бердичев,* например. Но это еще не еврейская культура».

Горенштейн прожил в Бердичеве пять лет. Он посвятил этому городу пьесу; действие романа *Искупление* (1967) также происходит в Бердичеве, хотя название города в тексте ни разу не упоминается, возможно, потому, что для писателя страшные события, происшедшие там, универсальны. Но Горенштейн посвятил этому городу и превосходную главу в романе *Попутчики* (1983). Поезд, идущий от Киева до Здолбунова, на окраину западной Украины, проходит через Бердичев. В этом поезде путешествует Забродский, герой романа, от которого ведется повествование. «Историческая родина, что ли?» спрашивает себя Забродский. «Да, может быть. Бердичев – это историческая родина российского еврейства». Бердичев, продолжает он, это прошлое еврейского народа, это родина всех евреев, будь они выкресты, будь они ренегаты, будь они безразличны к своему еврейскому происхождению, афишируй они его, или нет. Каждый еврей, не важно, где он живет, бердичевец: «Бердичев – город-призрак, город, рассеянный по стране и по миру, город, жителями которого являются даже люди, нога которых не касалась бердичевских улиц: московский профессор, нью-йоркский адвокат, парижский художник. (…) Бердичев – это не обычное географическое название, а имя живого существа, вызывающего ненависть, на-

смешку, страх, стыд. Пусть не удивляют вас оба наименования, на первый взгляд противоположные, но относящиеся к одному и тому же. Бывают живые призраки, и бывает мертвая, красномордая плоть». Когда поезд трогается с бердичевского перрона, герой вдруг загорается желанием остаться на несколько дней в этом городе, «прошлом еврейского народа». Но Забродский не выходит, проезжает мимо, потому, что, объясняет он, у него нет сил жить в «бердичевской гостинице». В Бердичеве он может спать «только в домашних условиях». Но все родственники Забродского давно покинули этот город.

По мнению Горенштейна, город, который он знал с детства, уже давно не существует: «Я жил в Бердичеве один год перед войной, потому что нас выгнали из Киева, когда арестовали отца. До смерти матери мы были в Средней Азии. А потом, когда она умерла, я вернулся в Бердичев. Деваться некуда было. У меня там тетки были, и я вернулся в Бердичев. И жил там пять лет. До 50-ого года. Потом туда приезжал, смотрел... записывал... Я же пьесу написал, которая охватывает как раз эти послевоенные годы. Но Бердичев уже не существует! Его больше нету! Его нету, того Бердичева. Так что...

– Там уже ничего не осталось от еврейской культуры?

– Нет, все кончилось. Потом я работал возле Днепропетровска, работал в Кривом Роге, на шахте, потом поехал в Киев, и был в Киеве в этом проклятом... А из Киева – уже в Москву, я учился там на сценарных курсах. Тогда я начал читать Библию. В Москве тогда существовал интерес, в шестидесятые годы. Тогда я тоже... Москва много мне дала, конечно, в этом смысле.

– Вы ездите на Украину? Вы все-таки там родились...

– Нет, ненавижу. Особенно Киев. Все, что у меня было плохого, связано с Киевом... Не все плохое, но с Киевом связано только плохое.

– В 1999 году в статье «Под звездами балканскими» вы написали, что было бы хорошо, если бы Украина и Белоруссия соединились...

–Да я и сейчас так думаю. Хотя теперь... в связи с этими событиями в Афганистане... Мир изменился...

– А как вы относитесь к тому, что происходит в Афганистане?

– Во-первых, это результаты этой глубокой аморальности Запада. Они потакали и сейчас потакают террористам. Одних поддерживают, с другими борются. И Америка, и особенно Клинтон, их возмутительное отношение к Израилю, враждебное со стороны Европы, предательское со стороны Америки. Они думали за счет Израиля потакать национал-исламизму, как они потакали раньше национал-социализму, и забывают, чем это кончилось. Но существуют еще и другие эти арабские... И Ирак там тоже... Ну, это другое дело.

– А то, что Россия приближается к Америке?

– Это хорошо. Очень даже. Я всегда считал, что в мире, в котором Россия и Америка будут вместе, такой мир более устойчив, их всегда стараются разъединить... Но и внутри России есть те, которые против, и в Америке есть те, которые против этого.

– А что вы думаете о политике Путина и о тех, кто говорит, что в России уже нет свободы, что нет демократии уже...

– Я к Путину положительно отношусь. А это все разговоры про свободу и про демократию. Каждый понимает свободу только так, как она ему выгодна. Вот тут я об этих либералах много написал.

Горенштейн показывает мне статью о «либералах», которых он, по всей видимости, очень не любит. Но особенно начинает сердиться, когда речь заходит о Франции. Тогда он по-настоящему вспыхивает:

– Во Франции, и в газете *Монд,* много еврейских ренегатов. И дело даже не в том, что они уже не евреи. Дело в том, что они враги. Я об этом написал как раз в тексте *По ком звонит колокол.* Франция имеет грязную историю. Лживую историю. Французы не воевали. А вышли в качестве победителей, себе приписали. Немцы недавно показали интересный фильм о французском Сопротивлении. Оказывается, что французы в нем не участвовали. Участвовали евреи, итальянцы, даже были армяне, русские. Французов не было. Но зато потом они себе медали понацепляли. И теперь их поведение отвратительно, как и поведение всей Европы. И Швейцария тоже, кстати, заполнена исламистами. Они распространились всюду под предлогом защиты прав человека.

Горенштейн долго говорит о политике. Наиболее волнующая его тема – это не столько Россия Путина, сколько Франция Ширака, Европа и ее политика по отношению к Израилю.

Вечером 2 марта 2003 года в кинотеатре «Арсенал» на Потсдамерплатц зал полон. В 18 часов здесь начнется спектакль Юрия Векслера по рассказу Горенштейна *Шампанское с желчью* (1986). Играют Александр Филиппенко и Эрнст Зорин. Главный герой рассказа, известный театральный режиссер Ю., «по своему происхождению был из бывшей черты оседлости, и эти места своего детства и юности он любил, хоть и не афишировал, карьеру же свою делал в самой гуще русского национального искусства, сочетая хороший мужской профессионализм с мягкой женственностью в обхождении с покровителями и врагами». Действие происходит в 1973 году, во время войны Судного дня. Каждая ироническая фраза, каждый намек – похожи на удар ножа. Ирония Горенштейна едка. Надо было видеть Филиппенко в роли Овручского, хореографа «известного московского ансамбля», который «танцует вприсядку», «надевая на лицо улыбочку». Надо было видеть сцену, когда «покровитель» Ю., кровь которого «тоже не мазутом пахнет», подсказывает ему идею вступить в Общество советско-арабской дружбы, объясняет ему, как жить «согласно обстоятельствам»... Неудержимо хочется смеяться, чтобы отогнать от себя всю абсурдность и жестокость советского режима. В конце спектакля публика бурно аплодирует. На сцену выносят портрет писателя. Появляются цветы.

И все-таки остается чувство неловкости. Этот полный зал, эти аплодисменты... Я представляла его сидящим в зале. Я уверена, он хотел признания широкой публики. А не только «специалистов». Когда я ему рассказала, что в Женевском университете мы вместе со студентами читали повесть *Улица красных зорь,* и что этот замечательный текст сильно взволновал их, я чувствовала, что он был тронут. Почему надо ждать смерти писателя для того, чтобы аплодировать ему с таким волнением, с таким восхищением и с такой силой?

Горенштейн никогда не был ни «модным» писателем, ни «приятным» человеком. Он, наверно, бывал несправедлив. Своими поступками и критическими замечаниями он многих задевал. Но, в отличие от большинства своих персонажей, Горенштейн всегда говорил и писал то, что думал, делал то, что чувствовал, не заботясь о «внешних обстоятельствах». Да, он иногда ошибался, но «главное было душу сохранить», как написал он однажды. Чтобы понять, что значат для него эти слова, мне хочется упомянуть одно событие, о котором Горенштейн сам рассказывает в своем памфлете *Товарищу Маца...*

В 1964 г. при первой публикации его рассказа *Дом с башенкой* в журнале *Юность* ему дали заполнить авторскую анкету. Там был пункт «фамилия, имя, отчество» и другой пункт, «псевдоним». Горенштейн пишет: «Я знал, где нахожусь... Энтузиазм Маяковского "в мире жить без России, без Латвий единым человечьим общежитьем" давно разбился о быт. Я посидел минут пять и сделал в пункте «псевдоним» прочерк. Что же вы? – сказала мне сотрудница с улыбкой, полушутя. Мне кажется, в тот момент, то есть в те пять минут раздумий, я окончательно выбрал свой путь и даже тему моих будущих книг».

Эти «пять минут раздумий» не только определили тематику писателя, который впредь будет выступать против всех русских еврейского происхождения, выбравших другой «путь», нежели он сам. Его решение оставить свою фамилию вызывало не то удивление, не то возмущение. Один «пуганый псевдоним» (так определяет его Горенштейн), даже поражается: «С такой фамилией в русскую литературу!» Но Горенштейн отказался – взять псевдоним значило бы для него «продать свою душу» (*Псалом*), лгать, не столько другим, сколько самому себе. Для писателя оставить свою фамилию означало прямо назвать себя евреем в обществе, которое он воспринимал как враждебное к евреям.

Если вчитаться в тексты Горенштейна, вне зависимости оттого, обращается ли он в них к еврейской теме или нет, все они говорят о личной, социальной, профессиональной, религиозной или исторической неустойчивости. В его произведениях мужчины, женщины, народ и даже русская нация ищут свое «место». Нет ни одного текста, не описывающего страдания или трудности из-за отсутствия собственного места, будь это просто «койко-место» или более онтологическое, место «среди живущих» *(Место)*.

Первый рассказ Горенштейна, *Дом с башенкой,* изображает скитания сироты, брошенного, как соломинка, в океан зла и насилия. Во втором рассказе, *Старушки* (1964), развивается та же тема: две женщины, раздавленные тяжестью советского быта, неспособные жить собственной жизнью, неспособные играть соответствующие им роли матери и дочери. В финале мы видим двух старых женщин, сидящих на траве. Мать, одетая в белое платье, с ожерельем на шее, похожая на молодую женщину, ласкает худыми руками седые волосы своей дочери. Та же тема – невозможность быть тем, кто ты есть на самом деле. В текстах Горенштейна нет ни настоящей матери, ни настоящей дочери, ни настоящего сына, есть только «пасынки» советской власти, как сам себя определяет герой рассказа *Последнее лето на Волге* (1988). И ко-

гда эти «пасынки» в свой черед становятся отцами, как Цвибышев, герой *Места,* они могут быть только приемными отцами, которых терпят некоторое время, но выбрасывают, когда они уже не нужны.

Цвибышев не знает своего происхождения, а Ю., персонаж *Шампанского с желчью,* попросту лишен настоящей фамилии. Молодой шахтер из рассказа *Зима 53 года* выбирает самоубийство, чтобы избавиться от страшной «пустоты», положить конец своей тревоге и найти в утробе земли место, чтобы, наконец, «отдохнуть». Большинство персонажей Горенштейна чувствуют себя людьми, «родившимися без родины», чьё пристанище «не дом, а жилище» *(Последнее лето на Волге).* Даже те его герои, которые имеют свой дом, профессию, социальный статус, могут внезапно потерять драгоценное место, благодаря которому они *существуют* – не только для других, но и в собственных глазах. Именно так происходит с одним из героев *Места,* писателем, уверенным в своем праве на счастье и на славу, который, вопреки всей логике, будет арестован прекрасным солнечным утром в центре Москвы. В течение нескольких часов, из-за «ошибки», которой он даже не совершал, он превращается в тряпку в подвалах Лубянки. Описываемый Горенштейном советский мир разрушает все, что казалось устойчивым.

Псалом – поэма о скитании. Скитание Дана, посланника Бога на земле, призванного остаться вечным «кочевником». Скитание маленьких девочек, брошенных на дорогах России в эпоху, когда вокруг царят война, насилие и голод. На девочек возлагается обязанность быть матерями для своего маленького брата. Но как может ребенок быть матерью? Неспособные на это, маленькие девочки могут только играть роль «безгрешных убийц», термин, который, как и термин «преступная жертва» *(Последнее лето на Волге),* передает всю трудность для персонажей Горенштейна отождествить себя с чем-то определенным.

В *Искуплении* рассказ развивается вокруг темы поиска. Во-первых, это поиск Сашеньки, эгоистичного, себялюбивого существа, стремящегося обеспечить себе «место под солнцем» даже во вред другим. Но есть и борьба Августа, лейтенанта, который хочет обеспечить своим родителям, убитым во время войны соседом-антисемитом, достойное место погребения, то есть «место», где они могли бы познать «мир и покой». В мире Горенштейна вообще нет места ни для детей, ни для женской доброты, самым ярким символом которой является обреченная на смерть Ульяна *(Улица красных зорь).*

Нет необходимости делать обзор всей прозы Горенштейна, чтобы понять, что все его тексты, от первого до последнего, посвящены теме отчаянного поиска места в жизни, теме принадлежности – личной, а когда речь идет о России, – коллективной.

В своих текстах писатель часто присутствует сам. Его голос легко узнаваем. Он тоже предстает в образе того, у кого нет места. Но прежде всего, он тот, кто хочет остаться самим собой (например, Вилен в *Бердичеве).* В *Шампанском с желчью* он Гершингорн, писатель, которого признают гением, но не дают «места» в мире литераторов столицы, тот, кто навсегда останется «таким местечковым Шагалом с чесночком», со странной фамилией, «болезненной... Вроде бы простудной...». Но Гершингорн так и не возьмет себе псевдонима...

Откуда у Горенштейна эта сила, благодаря которой он всегда отказывался подстраиваться, делать то, что требовалось, чтобы его жизнь, его карьера были проще? Частично я получила ответ, когда узнала о последних месяцах жизни его отца в Магадане. В 1935 году отец писателя был приговорен к пяти годам «исправительно-трудовых» лагерей. Вместе с еще тринадцатью заключенными, он участвовал в голодовке, требуя статуса политзаключенного. В августе 1937 года их обвинили в систематическом отказе от работы, в участии в групповой акции троцкистов, в агитации других зеков и в подготовке вооруженного побега. В сентябре «суд» приговорил всех 14 человек к расстрелу. Ни один из них не признал себя виновным, а четверо вообще отказались отвечать на вопросы следователей.

Горенштейн узнал об этом только в 90-е годы из публикации материалов следственного дела (Роговин, *1937,* М., 1996). Но в семейных историях некоторые вещи оставляют следы, формируют характеры. В романе *Место* отец Цвибышева арестован во время сталинских чисток. И именно он является для Цвибышева героем, символом мужества.

Я думаю о словах писателя: «В Москве же угла своего не имел и уезжал на Запад характерно, как бы подытоживая мою жизнь, мою безместную жизнь, из чужой квартиры» *(Товарищу Маца...).* Горенштейн сказал мне, что в Берлине он чувствовал себя хорошо. Почему-то мне показалось, что там он нашел свое место. Место, которого герои Горенштейна искали вечно, отчаянно, и которое они так редко находили. Как Ким, герой *Зимы 53 года,* который умирает, раздавленный насилием сталинизма, в начале марта. Или как Иволгин из *Псалма,* который 2 марта 53 года становится жертвой волны антисемитизма. Горенштейн тоже умер 2 марта.

Думаю о финале повести *Улица красных зорь.* Смерть маленькой девочки, которой никогда не удавалось найти свое место в детдоме среди других детей; родители, зверски убитые дождливым вечером в грустном городишке советской провинции, которые никогда не переставали ждать ее. Рядом с родителями ей навсегда обеспечено теплое место. Девочка это ощущает, и поэтому так жаждет смерти. Страшный конец, но в то же время умиротворенность, раздирающая сердце. И нежность к людям, так сильно ощутимая во всех книгах Горенштейна. Нежность, столь же сильно ощутимая при разговоре с ним в Берлине, даже если он говорил вещи, с которыми было трудно согласиться.

В декабре 2001-го после двухчасового разговора, я уходила от уже серьезно больного человека. Тем не менее, у него были разные планы на будущее. Он принял мое предложение приехать в Женевский университет на конференцию. Я не могла и подумать тогда, что первая наша встреча будет и последней.

Публикации Шимона Маркиша*

Книги

Гомер и его поэмы. Москва, «ГИХЛ» (1962); «Художественная литература» (1971).

Слава далеких веков. Из Плутарха. Пересказ с древнегреческого. Москва, «Детская литература» (1964).

Никому не уступлю. Москва, «Детская литература» (1966). На литовском: *Niekam Nenusileisiu.* Vilnius, «Vaizdo» (1969).

Знакомство с Эразмом из Роттердама. Москва, «Художественная литература» (1971). На венгерском: *Rotterdami Erasmus*. Budapest, «Gondolat». (1976). На французском: *Erasme et les Juifs.* [Traduit du russe par Mary Fretz], Paris, «L'Age D'Homme» (1979).

Le cas Grossman. Paris, «Julliard»/«L'age d'Homme» (1983).

Erasmus and the Jews. [Transl. by A. Olcott, afterword by A.A. Cohen], The University of Chicago Press (1986).

Сумерки в полдень. Тель-Авив, «Лим» (1988); С.-Петербург, «Университетская книга» (1999).

Три примера (Бабель, Эренбург, Гроссман). [На иврите]. Тель-Авив, «Hakibbutz Hameuchad» (1994).

Бабель и другие. «Персональная творческая мастерская, Михаил Щиголь», Киев (1996); Иерусалим, «Гешарим» (1997).

Родной голос. Страницы русско-еврейской литературы конца XIX – начала XX в: Книга для чтения. Составитель Шимон Маркиш. Киев, «Дух и Литера» (2001).

Статьи

Вступительная статья и комментарии к книге: Апулей. Золотой осел. Перевод М. Кузмина под редакцией С. Маркиша и А. Сыркина. Москва, «ГИХЛ» (1956).

Предисловие к книге: Джером Клапка Джером. Москва, «ГИХЛ» (1957).

Примечания к книге: Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод Н. Любимова. Москва «ГИХЛ» (1958 и 1961); «Рипол Классик» (2003).

Сомерсет Моэм. Бремя страстей человеческих. *Ред.* С. Маркиш. Москва, «Издательство иностранной литературы», (1959).

Несколько заметок о переводах с древних языков. В сборнике: Мастерство перевода, Москва, «Советский писатель» (1959). 153-172.

Памятники поздней античной литературы [рецензия]. «Вопросы литературы» 1964, № 12.

Ученым и переводчикам [рецензия]. «Вопросы литературы» 1964, № 12, стр. 227-230; в сборнике: Мастерство перевода 1964, Москва, «Советский писатель» (1965).

---

* Библиографию подготовила профессор Жужа Хетени, вдова Шимона Маркиша

Олимп, Пенсильвания, 1947. Предисловие к книге: Джон Апдайк: Кентавр. Москва, «Прогресс», (1966).

Примечания к книге: Лион Фейхтвангер. Иудейская война. Собр. сочинений в 12 томах, т. 7. Москва, «Художественная литература» (1966).

Эразм из Роттердама [к 500-летию со дня рождения]. «Вопросы Литературы», 1966, №11.

Античность и современность [Заметки переводчика]. «Новый Мир», 1968, № 4, стр. 227-237.

Вопросы и ответы. В сборнике: Мастерство перевода, 1969. Сб. 6, Москва, «Советский писатель» (1970), стр. 284-289.

Erasmus és a zsidóság (*Эразм и евреи* – на венгерском языке). «Filológiai Közlöny» XIX. 1-2. 1973, стр. 99-96.

The Correspondence of Erasmus. Letters 1 to 141. 1484 to 1500. Transl. by A. B. Mynors and D. F. S. Thomson, annot. by W.K. Ferguson. Toronto and Buffalo. University of Toronto Press, 1974. [рецензия]. Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. T. 37, 1975, стр. 299-301.

Не зажмуриваясь. «Сион» Тель-Авив, (1976, № 14), стр. 103-130.

Почему мы покидаем Израиль? (Размышления еврея из СССР) [на иврите]. Tel-Aviv, «מבפנים», «The Hakibbutz Hameuchad Quarterly» vol. XXXVIII. No 1-2. June 1976.

Исаак Бабель и русско-еврейская литература [на иврите]. Tel-Aviv, «מבפנים», «The Hakibbutz Hameuchad Quarterly» vol. XXXIX. No 1-2. June 1977.

The Example of Isaac Babel. «Commentary», vol. 64, No 5, November 1977, стр. 36-45.

La littérature russo-juive et Isaak Babel. Cahiers du monde russe et soviétique vol. XVIII –1-2, p. 73-92.

Jewish Images in Solzhenitsyn. «Soviet Jewish Affairs» 1977.1, стр. 69-81.

Глас вопиющего в болоте. «Наша страна», Тель-Авив, 5 июля 1978.

Прохожие люди. «Менора». Иерусалим, сентябрь 1978 (5738), стр. 63-83.

Passers-by: The Soviet Jew as Intellectual. «Commentary» vol. 66, No 6, December 1978. Reactions and answer see: «Commentary» vol. 67, No 4, April 1979.

1979 *Passanten. Entwurf zu einem psychologischen Porträt des Sowjetjuden.* «Schweizer Monathefte» 59, Heft 1, Januar 1979.

Послесловие к книге: Исаак Бабель. Детство и другие рассказы. Иерусалим, «Библиотека-Алия» (1979).

Еще раз о ненависти к самому себе. «Двадцать два», Иерусалим (декабрь 1980, № 16)

Osip Rabinovic I. «Cahiers du monde russe et soviétique» XXI-1, стр. 5-30.

II. «Cahiers du monde russe et soviétique» XXII-2, p. 135-158.

Juifs d'U.R.S.S. In: Politique et religion. Actes du XXe colloque ds intellectuels juifs de langue française. Textes présentés par J. Halpérin et G. Levitte. Nrf «Gallimard» 1981, p. 115.

L'Image de Staline dans le Cinema Soviétique (1946-1953) «Revue européenne des sciences socials», «Librairie Droz», Genève, 1981.

Was Russische Juden vor 100 Jahren über die Jüdische gemeinschaft in der Schweiz schrieben. «Israelitisches Wachenblatt für die Schweiz», 18 Dezember 1981, p. 26-29.

К вопросу о цензуре и неподцензурности: городские повести Ю. Трифонова и роман Ф. Канделя «Коридор». В сборнике: Одна или две русских литературы? Международный симпозиум, Женева, 1978. L'Age d'homme, Lausanne, 1981, p. 145-155.

О русско-еврейской литературе [предварительные замечания]. В: Festschrift für Fairy von Lilienfeld zum 65. Geburtstag. Hrsg. A. Rexhausser und K.-H. Ruffmann. Erlangen 1982, стр. 317-337.

Why do we Leave? In: In Search of Self. The Soviet Jewish Intelligentsia and the Exodus. Ed. D. Prital. Mount Scopus Publications, Jerusalem 1982, p. 207-217.

Эли Люксембург – еврейский писатель. В книге: Эли Люксембург: Прогулка в Раму. Иерусалим. И также: «Родина» № 78, 1983.

Vjaceslav Ivanov et les juifs. «Cahiers du monde russe et sovitique» XXV – 1, p. 35-48.

Vassili Grossman – écrivain juif? Hameir, Septembre 1984.4.

What Dreams are Made Of. «Jewish Frontier» November-December 1984, p. 21-25.

О еврейской ненависти к России. Тель-Авив, «Двадцать два» (1984, № 38), стр. 209-217.

Куда прорвался Г. Свирский? О книге: Г. Свирский: «Прорыв». Роман. Энн-Арбор, «Эрмитаж», 1983. [рецензия] «Народ и Земля», 1984. № 3, раздел Книги и мнения, стр. 259-263.

То ли в подданстве, то ли в гражданстве. «Страна и Мир», München, 1984.7, стр. 68-76.

Trente ans ont passe, «Revue et corrigée», Bruxelles, 1984-85. p. 31

Mein Fater Perets Markish. «Di Goldene Keyt» 1985. 8.

Apropos de l'histoire et de la méthodologie de l'étude de la littérature juive de l'expression russe. «Cahiers du monde russe et soviétique» XXVI-2, p. 139-152.

Пример Василия Гроссмана. [Очерк в двухтомнике Василия Гроссмана «На еврейские темы»]. Иерусалим, «Библиотека-Алия», (1985).

Сын об отце. «Израиль сегодня». Февраль 1985.6, стр. 18-19.

Littérature russe et identité juive. L'autre Europe 1985.6, стр. 72-81.

Sofer hagoral hayehudi (al Vasili Grossman). Moznaim, 1985, June, p. 76-78.

A zon vign zein fater. «Yiddishe Kultur» 1986.2, p. 6-9.

A Russian Writer's Jewish Fate. «Commentary», vol. 81, No 4, April 1986, p. 39-47.

My father, Perets Markish. «Jewish Currents» July-August 1986, p. 28-31.

Goralo hayehudi shel sofer rusi. «Ha-Umma» (The Nation) Year 24, No 85, Winter 1987, p. 297-308.

«Восход» – главный журнал русского еврейства. «Cahiers du monde russe et soviétique» XXVIII-2, p. 173-182.

Ce dont on peut seulement rêver... In: Les juifs entre la memoire et l'oublie. Composé par F. Ringelheim. Editions de l'Université de Bruxelles. 1987.1-2, p. 155-162.

Préface dans: Vassili Grossman. La Route. L'Age d'Homme, Paris, 1987, p. 7-9.

The Example of Isaac Babel. In: Isaac Babel. Modern Critical Views. Ed. with an introduction by Harold Bloom. Chelsea House Publishers, New York – New Haven – Philadelphia, 1987, p. 171-190.

Meyn fater. «Yiddishe Kultur» 1988.1, p. 44.

A Break with Tradition: Russian-Jewish Literature Yesterday and Today. In: Minority Problems in Eastern Europe between the World Wars with Emphasis on the Jewish Minority. 1988, p. 157-160.

Qesher. Zhabotinski keitonai rusi. «Tel Aviv University Journalism Studies» November 1988, p. 77-84.

Préface dans: Vassili Grossman. La Paix soit avec vous. L'Age d'Homme, Paris, 1989.

Vassili Grossman et la critique soviétique. «Magazine littéraire» No 263, mars 1989, p. 37-38.

«The Image of the Jew in Soviet Literature. The Post-Stalin Period» by Jakub Blum and Vera Rich. New York and London, Ktav Publishing House. 1984. [рецензия] In: Israel: State and Society, 1948-1988. «Studies in Contemporary Jewry» V, 1989. 333-336.

О русскоязычии и русскоязычных. «Литературная Газета» 12 декабря 1990 г. стр. 4.

Пример Миклоша Радноти (Об уходящих). ВЕК 1990.4. (1) 43-46.

Жаботинский – русский журналист. «Cahiers du monde russe et sovietique» XXXI-1, стр. 61-76.

Три примера (из книги). ВЕК 1990.3, стр 6-7.

В двух мирах. «Еврейский журнал», 1991, № 2, Мюнхен, стр. 86.

Жаботинский: 50 лет после кончины. «Еврейский журнал», № 1, стр. 64, 1991, Мюнхен.

«Le Voyage» Бодлера в переводе Марины Цветаевой. In: Marina Tsvetaeva – Марина Цветаева. Труды 1-го международного симпозиума (Лозанна 1982). Slavica Helvetica vol. 26, Peter Lang, Bern etc. 1991, стр. 431-435.

Илья Эренбург. «Век», Рига, 1991.

La doble visión de Bábel. In: Isaak Bábel: Caballería Roja y otros relatos. Barcelona, 1991, p. 13-29.

On Ilya Ehrenburg. The Tel Aviv Review Winter 1991 Vol. 3, p. 330-350.

Уйти, чтобы остаться, или уходя уходи. «Еврейский журнал», стр. 55, 1992, Мюнхен.

«Господь – сила моя и песнь...» «Континент» № 74 (1992), стр. 255-264.

Father, Jew, Poet. «The Jewish Quarterly», v. 39, No 2 (146), Summer 1992.

Ilj'a Erenburg. In: Ilj'a Erenburg: Ein sowietische Schriftsteller jüdischer Herkunft. «Forschungstelle Osteuropa», Bremen. 1992.

Kettős harmónia. Babel és az orosz-zsidó irodalom. «Nappali Ház» (Budapest) 1992.3, p. 15-21.

Голос диаспоры. «Время», (Тель-Авив) 9.10.1992. стр. 12.

Не торопитесь ни соглашаться, ни отвергать. «Контакт» 1992.1, стр. 7-9.

Отпуск по ранению. Разговор о судьбах русской литературы на берегу Женевского озера. «Независимая Газета» 22.07.92. стр.7. and in English: Medical Leave. «Russian Studies in Literature» Spring 1994. Vol. 30, No 2, p. 27-34.

Эротизм в русско-еврейской литературе. В: Amour et érotisme dans la littérature russe du Xxeme siecle. Actes du colloque 1989, Université de Lausanne, Slavica Helvetica vol. 41, 1992, p. 73-82.

Menjenek el ők! (Пусть они уйдут!) интервью с Hovanyecz László. 1992.04.17. Budapest, Népszabadság, p. 17.

Урби эт орби. [Русская литература после перестройки: анализ с попыткой прогноза] (совместно с А. Архангельским и Ж. Нива). «Дружба Народов» 1993.1, стр. 186-197.

Бытописатели пустыни. Мюнхен, «Еврейский журнал», 1993, стр. 70.

«Усыхающая ветвь» (в оригинале: О надеждах и разочарованиях). «Еженедельная общая газета» 1993, № 4/6, 9-16 мая, стр. 12.

Наперевес с чем? «Континент» 75 (1993), стр. 263-269.

Переводы и комментарии к книге: Апулей. Апология или речь в защиту самого себя от обвинения в магии. Метаморфозы. Флориды. Москва, «Наука», 1993.

Felix Dreizin. Studies in Judaism: The Russian Soul and the Jews. Ed. D. Gaspari. UP of America, 1990. [рецензия] In: Modern Jews and their Musical Agendas. Studies in Contemporary Jewry vol.9, 1994, p. 305-306.

Осип Рабинович. «Вестник еврейского университета в Москве» 1 (5) 1994, p. 128-150.

The Example of Isaac Babel. In: What is Jewish Literature? Ed. with an introduction by H. Wirth-Nesher. «The Jewish Publication Society», Philadelphia – Jerusalem 1994, p. 199-215.

Бабель и ОНИ (глазами отщепенца). «Знамя» 1994.7, стр. 165-170.

Книга Псалмов (Псалтирь). *Предисловие и примечания.* «Восточная литература» РАН, Школа-Пресс, Москва, 1994.

La culture russo-juive: pourquoi? pour qui? «Cahiers de la faculté des letters», Université de Geneve, 1995, p. 49-55.

Мифы и мифотворцы. «Знамя» 1995.6.

Русско-еврейская литература – предмет, подходы, оценки. «Новое Литературное Обозрение» № 15 (1995), стр. 217-250.

Стоит ли перечитывать Льва Леванду? Статья первая: Посыл. Вестник Еврейского Университета в Москве, № 3 (10), стр. 89, 1995.

Historical and literary sources of Russian Anti–Semitism. Savelii Dudakov: Istoriia odnogo mifa. Ocherki russkoi literatury XIX-XX vv. Moscow, Nauka 1993. [рецензия] «Shvut» 1-2 (17-18) 1995, p. 415-423.

Марк Шагал в парижском «Рассвете». В: Russies. Mélanges offerts a G. Nivat pour son 60e anniversaire. Rass. par A. Dykman et J.-Ph. Jaccard. «L'Age d'Homme», Lausanne, p. 139-141.

Du judaisme russe et de sa littérature. Littérature et judeité dans les langues européennes. Dir. Henri Raczymow. «Pardes» 21/1995. «Cerf», p. 77-93.

La «querelle des langues», une querelle sur les langues (d'aprés la presse juive d'expression russe, autour de 1910) In: Langue et nation en Europe centrale et orientale du XVIIIeme siecle a nos jours. «Cahiers de l'ILSL» no 8, Université de Lausanne 1996, p. 177-194.

La Suisse dans le miroir de la presse juive d'expression russe (fin XIXe – debut XXe siècle). In: Bild un Begegnung. Kulturelle Wechselseitigkeit zwischen Schweiz unf Osteuropa im Wandel der Zeit. Hrsg. P. Brang et al. Helbing und Lichtenhahn, Basel-Frankfurt am Main, 1996, p. 539-548.

Религиозная стихия как формообразующий элемент русско-еврейской литературы. В: Orthodoxien und Häresien in den slavischen Literaturen – Hrsg. R. Fieguth. «Wiener Slawistischer Almanach», Sonderband 41, Wien 1996, p. 93-102.

«Puissance evangélique». In: Anna Akhmatova. «La revue de Belles-Lettres» 120e année, numéro 1-3. 1996, p. 379-388.

Русско-еврейская культура – Почему? Зачем? Для чего? Для кого? – «Егупец», № 2, Киев, 1996.

Стоит ли перечитывать Льва Леванду? Статья вторая: Художество. «Вестник Еврейского Университета в Москве», № 2 (12), 1996, стр. 168,

«Могучая евангельская старость» (Об А. Ахматовой) «Знамя» 1997.11, стр. 119-122.

Jewish-Russian-or Russian-Jewish Literature? Efraim Sicher: Jews in Russian Literature after the October Revolution. CUP 1995. [A review] Shvut 4 (20) 1997.

К вопросу о читательском восприятии. Давид Айзман: Сердце Бытия. In: Stimme der Orthodoxie. Festschrift für Fairy von Lilienfeld. Hrsg. M. George et al. 1997.3, p. 180-181.

«Иудей и Еллин?»? «Ни Иудей, ни Еллин»? В сборнике: Иосиф Бродский: Труды и дни. Сост. Лев Лосев и Петр Вайл. Москва, «Независимая Газета» 1998, стр. 207-214.

Un chef-d'oeuvre inconnu: Les contrebandiers. In: L'éclat des crépuscules. OserWarszawski (1898-1944). Un écrivain yiddish entre chien et loup. «Bibliothèque Medem», Paris, 1998, p. 14-15.

Ефиму Григорьевичу: веточка в лавровый венок. «Revue des etudes slaves» LXX-3. 1998, стр. 555-558.

Старший классик. «Тыняновские чтения» 1998, стр. 662-669.

Russian Jewish Literature after the Second World War and before the perestroika. In: Jewish Studies at the Central European University, CEU Jewish Studies Program, Budapest, p. 147-156.

Жизнь спустя. «Известия» 28 января 1999 г.

L'Antiquité soviétique d'après l'expérience d'un participant. In: «Transitions». Bilan de la culture soviétique. Vol. XLI – 2000. № 2. Université de Genève – Institut Européen, 2000, p. 97-104.

Третий отец-основатель, или «К чужим кострам» (Григорий Богров). «Иерусалимский Журнал» № 6, 2000, стр. 228-289.

Перец Маркиш – батько, еврей, поэт. «Егупец»: (2000). Киев, стр. 221-229.

Le Père Alexandre Men, mon ami. (Recit recuelli par Alessandra Lukinovich) «Choisir» No 493, 2001.

Жаботинский в парижском «Рассвете». «Лехаим», Москва, октябрь 2001.

Советская античность (из опыта участника). [Итоги советской культуры (конференц-зал)]. «Знамя» 2001.4, стр. 188-191.

С двух строк о Солоне. «Венгерский Курьер», 9-15 апреля 2001 года. Интервью, Вадим Аристов. То же, но поправлено С. Маркишем: В: Аристов, В.: Русский Будапешт. Будапешт, 2003, стр. 486-488.

Erasmus and the Jews. A Look Backwords. [Twenty First Annual Birthday Lecture]. «Erasmus of Rotterdam Society Yearbook» Twenty-Two. (2002) p. 1-9.

Una vida despues. «Lateral», Barcelona, junio 2002, p. 18-19.

Плач о Мастере. (О Фридрихе Горенштейне). «Иерусалимский Журнал» № 13, 2002, стр. 259-264. то же: «Окна», приложение к газете «Вести» 12 декабря 2002.

Father, Jew, Poet. In: The Golden Land. Fifty years of the Jewish Quarterly. Ed. By N. Lehrer. Valentine Mitchell, London-Portland, 2003.

«Louons ceux qui ont cesser de nous tromper». In: Un «mensonge déconcentrant»? La Russie au XXe siècle. L'Harmattan, Collection «Pays de l'Est», p. 139-149.

Ключи от исторического пространства. Интервью. Анна Исакова. «Окна», приложение к газете «Вести» 20 февраля 2003.

Переводы

Эразм Роттердамский: Похвала глупости. Перевод П. Гувера, *ред.* С. Маркиша. Москва, «Художественная литература» (1958); «ГИХЛ» (1960).

Ульрих фон Гуттен. Диалоги, публицистика, письма. Составление и перевод с латинского. Москва, Издательство АН СССР (1959).

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. [Подготовка издания, примечания, переводы]. Москва, Издательство АН СССР, (в 3-х томах – 1961, 1963, 1964); «Наука» (в 3-х томах – 1964; в 2-х томах – 1994); С.-Петербург, «Кристалл», (в 3-х томах – 2001).

Слава далеких веков. Из Плутарха. Москва, «Детская литература» (1964).

Уильям Фолкнер. Деревушка. Перевод В. Хинкиса и С. Маркиша. Москва, «Художественная литература», 1964.

Платон: Федон. В книге: Платон: Избранные диалоги. Москва, «Художественная литература» (1965).

Лион Фейхтвангер. Настанет день. Перевод с немецкого и примечания. Собрание сочинений в двенадцати томах, т. 9. Москва, «Художественная литература», (1966).

Тит Ливий. Война с Ганнибалом. Москва, «Детская литература», 1968. «Лимбус Пресс», 1996.

Эразм Роттердамский: Разговоры запросто. Перевод с латинского. Москва, «Художественная литература» 1969.

Гай Саллюстий Крисп: Заговор Катилины, Война с Югуртой. В: Историки Рима. *Под ред. С. Маркиша.* Москва, «Художественная литература» 1970.

Эразм Роттердамский. Похвала глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Ульрих фон Гуттен. Переводы с немецкого и латинского – в книге: Себастиан Брант, «Художественная литература», Москва, 1971.

Венгерские народные сказки. Будапешт, «Корвина», 1974.

Ossip Mandelstam: Tristia et autres poeemes. Choisis et traduits du russe par F. Kerel. Relecture cf. p. 25. Gallimard 1975 et 1982.

Жорж Нива. Солженицын. Перевод с французского. «Overseas Publications Interchange Ltd.», London, 1984.

Жорж Нива. Солженицын [Главы из книги]. «Дружба Народов» 1990, стр. 4-5.

Жорж Нива. Солженицын. Перевод с французского. Москва, «Художественная литература» 1992.

Переводы и комментарии к книге: *Апулей. Апология или речь в защиту самого себя от обвинения в магии. Метаморфозы. Флориды.* Москва, «Наука», 1956 и 1993.

Э. А. По: Система доктора Смоля и профессора Перро; «Ты еси муж, сотворивый сие». Э. А. По: Собрание сочинений, ИПО Полигран Москва 1997. Тт. 2 и 3.

Карой Пап: Азарел. [С венгерского]. Иерусалимский Журнал № 11 (2002) и № 12 (2002).

Имре Кертес: Обездоленность. [С венгерского совместно с Жужей Хетени]. «Иерусалимский Журнал» № 14-15 (2003) и № 18 (2004).

ИМЕНА

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске, жила в Москве. Закончила филфак МГПИ. Репатриировалась в 1991 году. Автор книг для детей, поэтических сборников и книги-альбома об отце – Меире Аксельроде (1993). Стихи **Е. А.** и ее переводы (с идиша и других языков) включены во многие антологии. Лауреат премии Союза писателей Израиля. Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» – подборки стихов «Сон о танцевальном классе» (№ 3), «Кофе под "Хронику дня"» (№ 10), «Между пальмой и липой» (№ 16) и рецензии на книги Юрия Шаркова (№ 5) и Якова Хромченко (№ 7), переводы из Александра Белоусова и эссе о поэте «Власть одиночества» (№ 17). В *«Библиотеке ИЖ»* вышла книга Елены Аксельрод и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне». (2000).

Корин АМАШЕР родилась в 1963 году в Женеве. Там же окончила филфак университета. Доктор филологии, доцент Русской кафедры Женевского университета и Европейского института при университете. Преподает русскую историю и цивилизацию. Автор книги о Фридрихе Горенштейне (Берн, 1990). Живет в Женеве.

Анатолий БАСИН родился в 1936 году в Ленинграде. Репатриировался в 1979 году. Персональные выставки прошли в 0Иерусалиме, Тель-Авиве, Париже, Санкт-Петербурге, Берлине. Картины **Н. Б.** находятся в Музее Израиля (Иерусалим), в музее «Эйн-Харод», а также в частных коллекциях в Израиле, США, России, Германии. Автор книг «Моя генопись» (1981), «Зазаневщина» (1989), составитель и участник сборников «Числа» (1996-1997). Живет в Иерусалиме.

Белла ВЕРНИКОВА родилась и жила в Одессе. Репатриировалась в 1992 году. Доктор философии. Автор книг стихов «Прямое родство» (1991) и «Звук и слово» (1999). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы ее рецензия на книгу Евгении Завельской (№2) и подборка стихов «Опознавательный знак» (№5).

Леа ГОЛЬДБЕРГ (1911, Ковно, ныне Каунас – 1970, Иерусалим). Получила образование в университетах Литвы и Германии. Репатриировалась в 1935 году, жила, в основном, в Тель-Авиве. Работала литературным советником в театре «Габима», редактором в издательстве «Сифрият Поалим», преподавала литературу в Еврейском Университете в Иерусалиме. Переводила с русского и французского языков.

Семён ГРИНБЕРГ родился в 1938 году в Одессе. Жил в Москве. Репатриировался в 1990 году. Один из основателей «Иерусалимского журнала». Автор поэтических книг «Разговоры и сонеты» (1992), «Иерусалимский автобус» (1996), «За столом и на улице» (1996) «Разные вещи» (1998), «Стихотворения из двенадцати книжек» (2003). Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы подборка **С. Г.** «Дни творения» (№ 2) и его переводы из Уриэля Офека и Йонатана Гефена (№ 7).

Филипп ГРИНБЕРГ родился (в 1962 году) и живет в Москве.

Лорина ДЫМОВА родилась в Свердловске, много лет жила в Москве. Репатриировалась в 1992 году. Автор книг стихов «Журавль в небе» (1982), «Миг золотой» (1989), «Колыбельная перед разлукой» (1995), «Стихи о Прекрасной даме и Одном господине» (в соавторстве с Леонидом Черкасским, 1996), «Сказала Блондинка... Сказала Брюнетка» (2000), «Откровенные стихи о любви» (2003), книг прозы «Милая женщина в окружении динозавров» (1995), «Эти непонятные женщины» (1997). За переводы болгарской поэзии награждена орденом Кирилла и Мефодия. Лауреат премии «Золотой теленок». Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы рассказы **Л. Д.** «Жил на свете рыцарь бедный» и «Такой вот парадокс» (№ 2), а также ее переводы детских стихов А. Гилеля и Н. Зархи (№ 7).

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор более десяти романов о жизни литовского еврейства, многих пьес и сценариев художественных фильмов. В 1989–93 годах возглавлял еврейскую общину Литвы. За романы «Слезы и молитвы дураков» и «И нет рабам рая» удостоен Национальной премии республики. Книги переведены на многие языки.
Репатриировался в 1993 году. Живет в Бат-Яме.
Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля.
В «ИЖ» опубликованы глава из романа «Шелест срубленных деревьев» (№ 1); главы из повести «Огонь и воды» (№ 4); повести «Вера Ильинична» (№ 13) и «Жак Меламед, вдовец» (№ 17); рецензии на книги Эли Люксембурга (№ 1) и Елены Аксельрод (№ 6); эссе «Дымок "Ноблеса"» (№ 11). В 2002 году в *«Библиотеке ИЖ»* вышла книга **Г. К.** «Лики во тьме».

Имре КЕРТЕС родился в 1929 году в Будапеште. В 1944-45 гг. – узник Освенцима и Бухенвальда. Роман **И. К.** «Обездоленность» вышел в свет в 1975 году. Другой известный роман – «Кадиш по нерожденному ребенку» (1990). На многие языки переведены также повести «Английский флаг» и «Следопыт», книги «Холокост как культура», «Когда расстрельный отряд перезаряжает винтовки» и «Язык в ссылке». В последнее время живет в Германии. Лауреат Нобелевской премии по литературе (2002).

Борис КЛЕЙМАН родился в 1957 году в Челябинске. Окончил филфак Челябинского пединститута и Институт стран Азии и Африки при МГУ. Репатриировался в 1997 году. Автор романа «Modus vivendi» (2001). Живет в Иерусалиме.

Георгий КНАБЕ родился в 1920 году в Коканде. Окончил МГУ, Историк, переводчик, культуролог, автор многих книг и монографий. Профессор, главный научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Живет в Москве.

Александр КРЕСТИНСКИЙ родился в 1928 в Ленинграде. Окончил философский факультет ЛГУ. Работал школьным учителем, затем редактором отдела в журнале «Костер». Выпустил более десяти книг для детей. В России вышли сборники стихов «Отзовется душа» (1990), «Тихий рокер» (1993) и «Нищие неба» (1997). Репатриировался в 2000 году. Живет в Бат-Яме.
В «ИЖ» опубликована подборка стихов «Под покровом еврейского неба» (№ 8). В 2002 году в *«Библиотеке Иерусалимского журнала»* вышла книга **А. К.** «Дорога на Яффо» (2003).

Яков ЛАХ (Лиховецкий) родился в 1937 году в Киеве. Репатриировался в 1974 году. Работал инженером, переводил стихи современных израильских поэтов, в том числе роман в стихах Амоса Оза «И то же море». Автор нового комментированного перевода «Песни песен» (2003). Живёт в Беэр-Шеве.
В «ИЖ» (№№ 12, 16) опубликованы переводы стихов Натана Заха, Еуды Амихая, Ури Цви Гринберга, а также эссе о Захе и Амихае.

Инна ЛИСНЯНСКАЯ родилась в Баку в 1928 году. Печатается с 1948 года. Автор многочисленных сборников стихов. Участвовала в неподцензурном альманахе «Метрополь» (1979) и вместе с Семеном Липкиным добровольно вышла из СП СССР в знак протеста против исключения из СП В. Ерофеева и Е. Попова. Лауреат премий журналов «Стрелец» (1994), «Арион» (1995), «Дружба народов» (1996), «Знамя» (2000), Государственной премии России (1998), премии А. Солженицына (1999).

Шимон МАРКИШ (1931, Баку – 2003, Женева; похоронен в кибуце Эйнав, Израиль). Работал в области классической филологии, художественного перевода, истории культуры, литературной критики. Занимался историей еврейской словесности на русском языке. В последние годы жизни входил в состав редколлегии «ИЖ».
В «ИЖ» опубликованы его заметка памяти Авраама Белова (№ 5), очерк о Григории Богрове «Третий отец-основатель или "К чужим кострам"» (№ 6), перевод романа Кароя Папа «Азарел» (№№ 11, 12), перевод первой части романа Имре Кертеса «Обездоленность» (№14-15).

Ицхокас МЕРАС родился в 1932 году в Литве. Репатриировался в 1972 году. Автор повести «Желтый лоскут» (1960); книг прозы «Земля всегда жива» (1963) и «Опрокинутый мир»; романов «Ничья длится мгновение» («Вечный шах», 1963); «На чем держится мир» (1965); «Полнолуние» (1966); «Стриптиз, или Париж–Рим–Париж» (1971); «Сара» (1984). Произведения **И. М.** изданы на двадцати языках. Лауреат литературных премий разных стран. Кавалер ордена Великого князя Гедиминаса.
Живет в Холоне, почетный гражданин этого города.
В «ИЖ» опубликованы его рассказы «Старуха с зеленым ведром» (№ 12) и «Оазис (№14-15).

Зинаида ПАЛВАНОВА родилась в Мордовии, росла в Подмосковье. Окончила МИНХ им. Плеханова, работала в Москве социологом, потом сторожем. Автор восьми поэтических сборников. Репатриировалась в 1990 году. Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы подборки «А на холмах наш вечер полыхает» (№ 3) и «Кругосветный ветер» (№ 12). В «*Библиотеке ИЖ*» вышли книги **З. П.** и Вениамина Клецеля «Иерусалимские картинки» (2000) и «Иерусалимские картинки 2» (2004).

Давид САМОЙЛОВ (Кауфман) (1920, Москва – 1990, Таллинн). С 1975 года жил в Пярну (Эстония). Поэт, переводчик, стиховед. В «ИЖ» напечатаны не публиковавшееся ранее «Вступительное слово» к книге Юлия Кима (№ 6) и подборки «Стихи разных лет» №№ 13, 16).

Валерий СЛУЦКИЙ родился в 1954 году в Даугавпилсе. Жил в Ленинграде. Закончил ЛГПИ им. Герцена. Участник сборника «Круг» (Ленинград, 1985). В 1988-90 гг. заведовал отделом поэзии журнала «ВЕК» («Вестник еврейской культуры»). Репатриировался в 1990 году. Автор книг стихов: «Стихотворения 1970-1977» (2002), «Omnia» (1993), «Новый век» (2002), а также сборника переводов «Из еврейской поэзии XX века» (2001).
Живет в поселении Кдумим. Работает учителем.
В «ИЖ» – подборка «Из новых стихов» (№ 13), эссе «Опыт прямосказания» (№ 14-15) и переводы стихов Велвла Чернина (№ 17).

Жужа ХЕТЕНИ родилась и живет в Будапеште. Перевела на венгерский прозу Бабеля, Булгакова, Замятина и других российских писателей. Автор монографий о Бабеле (1992) и русско-еврейской литературе (2000); один из авторов и редакторов-составителей двухтомной «Истории русской литературы» (1997, 2002). Составила и перевела на венгерский язык антологию русско-еврейской литературы. Профессор Будапештского университета. В «ИЖ» опубликован ее биографический очерк о Карое Папе (№ 11) и статья «Делать все, как они» (№ 12).

София ШЕГЕЛЬ (Шегельман) родилась на Украине, выросла в Литве. Окончила Вильнюсский университет. Переводит с литовского и славянских языков. Работала в издательствах «Вышэйшая школа» (Белоруссия) и «Минтис» (Литва). Репатриировалась в 1989 году. Сотрудничает с израильской и зарубежной русскоязычной прессой. Живет в Ашдоде.
В «ИЖ» в переводе **С. Ш.** опубликован рассказ Ицхокаса Мераса «Оазис» (№ 14-15), а также ее собственный рассказ «Здравствуй, Лиза!» (№ 17).

ГИДОН ЭФРАТ родился в 1945 году в Тель-Авиве. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме. Ддоктор философии, автор более 30 книг по искусству, куратор многочисленных художественных выставок, в т. ч. «Benalle» в Венеции.

СОДЕРЖАНИЕ

К нашим читателям 3

ВЕНГЕРСКИЙ КВАРТАЛ

ИМРЕ КЕРТЕС. Обездоленность. *Роман (вторая часть)*
Перевели с венгерского Шимон Маркиш и Жужа Хетени 4
ЖУЖА ХЕТЕНИ. Порядок хаоса 84

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

ЛЕА ГОЛЬДБЕРГ. Последний взгляд. *Стихи*
Перевела с иврита Елена Аксельрод 90
ИЦХОКАС МЕРАС. На полпути. *Рассказ*
Перевела с литовского София Шегель 93
АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ. Братья. *Рассказ* 103

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

СЕМЕН ГРИНБЕРГ. Встреча. *Стихи* 119
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. Незаконченный сюжет. *Стихи* 122

ГОРОД ДАВИДА

ЯКОВ ЛАХ. «Вернись, обернись, Шуламит...»
Заметки переводчика «Песни Песен» 126

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

ВАЛЕРИЙ СЛУЦКИЙ. Exodus. *Стихи* 139

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

ГИДОН ЭФРАТ. Тревоги Анатолия Басина. *Перевел с иврита Я. Лах* 143
АНАТОЛИЙ БАСИН. Женщины 147

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ. Из Иерусалимской тетради. *Стихи* 154
ФИЛИПП ГРИНБЕРГ. Кудри Аполлона. *Рассказ* 158
ДАВИД САМОЙЛОВ. Стихи разных лет 160

ХОЛМ ПАМЯТИ

ЖУЖА ХЕТЕНИ. Несколько слов о переводчике и переводе 165
ИЕРОМОНАХ МАКАРИЙ. Об отце 168
ГЕОРГИЙ КНАБЕ. Старым он так и не стал 172
КОРИН АМАШЕР. «Господин Маркиш», Шимон... 177
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. Смерть не ставит запятых 180
БОРИС КЛЕЙМАН. Два письма 183
БЕЛЛА ВЕРНИКОВА. «...В споре и в согласии» 187
ЛОРИНА ДЫМОВА. Об одном господине... 189

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

ШИМОН МАРКИШ. О переводе 193
ШИМОН МАРКИШ. Прощание с Эразмом 207
ШИМОН МАРКИШ. Об эротизме в русско-еврейской литературе 210
ШИМОН МАРКИШ. «Спор языков» – спор о языках 218
ШИМОН МАРКИШ. Об Андрее Николаевиче Егунове 230
ШИМОН МАРКИШ. О Викторе Шкловском 236
ШИМОН МАРКИШ. Василий Гроссман – еврейский писатель? 241
ШИМОН МАРКИШ. Трагедия и триумф Василия Гроссмана 244
ШИМОН МАРКИШ. Свободный выбор 252
ШИМОН МАРКИШ. Двадцать лет спустя 258
КОРИН АМАШЕР. Первая и последняя встреча 261

ШАТЕР КНИГИ

Публикации Шимона Маркиша. *Библиография*. 270

ИМЕНА

Авторы и персонажи 278

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

Jerusalem Literary Review,
P. 0. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В странах Западной Европы и Северной Америки –
$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:
В Израиле – 40 шекелей, включая пересылку.
В странах Западной Европы и Северной Америки –
$18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азаз-Лившиц (Иерусалим), Бориса Александрова (Москва), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея Грицмана (Нью-Джерси), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Василия Емельянова (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Холон), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Виктора Луферова (Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Ренату Муху (Беэр-Шева), Генриха Небольсина (Иерусалим), Бориса Привина (Иерусалим), Алекса Резникова (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)

за поддержку журнала.

Любые советы, предложения, а также пожертвования будут приняты с благодарностью

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Hapoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
в 1999 – 2004 годах вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»
Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки» (1, 2)
Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие»
Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел»
Илья БОКШТЕЙН. «Говорит звезда с луной»
Илья БОКШТЕЙН. «Авангардист на крышу вышел»
Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»
Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий»
Игорь ГУБЕРМАН. «Гарики предпоследние»
Игорь ГУБЕРМАН. «Гарики из Атлантиды»
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»)
Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»
Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»
Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»
Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний»
Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас»
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»
Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»
Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая)
Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалимский след» (книга вторая)
«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)
Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА, Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
Стихи Йоны ВОЛАХ в переводе Ольги РОГАЧЁВОЙ, новая книга стихов Владимира ДРУКА, новая книга Феликса КРИВИНА, новая книга стихов Владимира ФРЕНКЕЛЯ, новая книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Заремба, Гарика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Коэлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

CONTENTS

To our readers

HUNGARIAN QUARTER

KERTESZ IMRE. Faithlessness. *Novel (The end)*
Translated from Hungarian by Shimon Markish and Hetenyi Zsuzsa
HETENYI ZSUZSA. The orderliness of chaos

JAFFA GATE

LEA GOLDBERG. The last glance. *Poems*
Translated from Hebrew by Elena Axelrod
ITSCHOKAS MERAS. Halfway. *Short Story*
Translated from Lithuanian by Sophia Shegel
ALEXANDER KRESTINSKY. Brothers. *Short Story*

LION GATE

SEMEN GREENBERG. Meeting. *Poems*
ZINAIDA PALVANOVA. Uncompleted story. *Poems*

CITY OF DAVID

Yaakov Lakh. «Come back, come back, O Shulammite...»
Notes of «Song of Songs» translator

SHKHEM GATE

VALERY SLUTSKY. Exodus. *Poems*

BETZALEL STREET

GIDEON EFRAT. Anatoly Bassin's discontent
Translated from Hebrew by Yaakov Lakh
ANATOLY BASSIN. Women. Painting

RUSSIAN COMPOUND

INNA LISNYANSKAYA. From Jerusalem notebook. *Poems*
PHILIP GREENBERG. Apollo's curls. *Short Story*
DAVID SAMOYLOV. Poems of various years

MEMORY HILL

HETENYI ZSUZSA. Some words about the translator and the translation
HIEROMONK MAKARY. About my father
GEORGY KNABBE. He never became elderly
KORIN AMASHER. «Mr. Markish», Shimon
GREGORY KANOVICH. Death knows no commas
BORIS KLEIMAN. Two letters
BELLA VERNIKOVA. «...In dispute and agreement »
LORINA DYMOVA. About one gentleman...

MOUNT SCOPUS

SHIMON MARKISH. About the translation
SHIMON MARKISH. A farewell to Erasmus
SHIMON MARKISH. About eroticism in Russian-Jewish literature
SHIMON MARKISH. «The dispute of languages» – a dispute about languages
SHIMON MARKISH. About Andrey Nikolaevich Yegunov
SHIMON MARKISH. About Victor Shklovsky
SHIMON MARKISH. Was Vassily Grossman a Jewish writer?
SHIMON MARKISH. Tragedy and triumph of Vassily Grossman
SHIMON MARKISH. A free choice
SHIMON MARKISH. Twenty years later
KORIN AMASHER. The first and the last meeting

SHRINE OF THE BOOK

Bibliography. *Publications of Shimon Markish*

NAMES

Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 18, 2004

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/jr

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvl Chernin, Elena Ignatova, Yuly Kim, Zinaida Palvanova, Dina Rubina, Svetlana Schoenbrunn, Roman Timenchik

Executive Secretary: **Leonid Levinson**

Graphic Designer: **Susanna Chernobrova**

Web Designer: **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors: **Binah Smekhova, Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support: **Olga Aksyutina, Boris Bronshtein, Daniel Burshtein, Michael Byalsky, Victor Gopman, Gregory Gordin, Svetlana Moiber**

SCOPUS Publishing House Print: ***TSUR OT***

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2004. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel
E-mail: review@antho.net
Phone: 972-2-6720025; 972-2-6434005; 972-2-6451288; Fax: 972-2-6716184

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow:	**Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; igorgr@dol.ru
	Victor Indenbaum – 7-095- 9157178; sifria@mail.ru
in Novosibirsk:	**Vladimir Bolotin** – 7-3832-329944; bolotin55@mail.ru
in New York:	**Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
	Rita Balmina – rita_balmin@yahoo.com
in Chicago:	**Alexander Blinstein** – 1-847-6761134; rmasis1@home.com
	Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com
In Boston:	**Tanya Goldmakher** – 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com
in Paris:	**Vladimir Smekhov** – 331-46029978; vladimir.smekhov@ free.fr
in Toronto:	**Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

תוכן העניינים:

אל הקוראים שלנו

בתי הונגרין
אימרה קרטס. דלות. רומן (סוף). מהונגרית: שמעון מרקיש וזיוזיה חטני
זיוזוה חטני. הסדר של הכאוס.

שער יפו
לאה גולדברג. המבט האחרון – שירים. מעברית: ילנה אכסלרוד
יצחוקס מרס. בחצי הדרך – סיפור. מליטאית: סופיה שגל
אלכסנדר קרסטינסקי. אחים – סיפור

שער האריות
סמיון גרינברג. מפגש – שירים
זינאידה פלבנובה. עלילה בלתי גמורה – שירים

עיר דוד
יעקב לך. הערות המתרגם של "שיר השירים"

שער שכם
וולרי סלוצקי. Exodus – שירים

רחוב בצלאל
גדעון אפרת. אנטולי בסין – חרדות. מעברית: יעקב לך
אנטולי בסין. נשים

מגרש הרוסים
אירינה ליסניאנסקאיה. ממחברת ירושלמית – שירים
פילים גרינברג. תלתליו של אפולו – סיפור
דוד סמוילוב. שירים משנים שונות

הר הזיכרון
זיוזיה חטני. מילים על המתרגם והתרגום
מארק מרקיש. על האב
גיאורגי קנאבה. הוא לא הזדקן...
קורין אמאשר. "מר מרקיש", שמעון
גריגורי קנוביץ. המוות לא שם פסיקים...
בוריס קליימן. שני מכתבים
בלה וורניקובה. בויכוח ובהסכמה
לורינה דימובה. אודות אדון אחד

הר הצופים
שמעון מרקיש. על התרגום
שמעון מרקיש. פרידה מארזמוס
שמעון מרקיש. אל ארוטיזם בספרות רוסית-עברית
שמעון מרקיש. "ויכוח שפות" – וויכוח על השפות
שמעון מרקיש. על אנדרי ניקולאיביץ' יגונוב
שמעון מרקיש. על ויקטיר שקלובסקי
שמעון מרקיש. ווסילי גרוסמן – סופר יהודי
שמעון מרקיש. טרגדיה ונצחון של ווסילי גרוסמן
שמעון מרקיש. בחירה חופשית
שמעון מרקיש. בחלוף עשרים שנה
קורין אמאשר. הפגישה הראשונה והאחרונה

היכל הספר
פרסומי של שמעון מרקיש. ביבליוגרפיה

שמות
יוצרים ודמויות

כתב-עת ירושלמי **2004. 18**

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת **"אנתולוגיה ירושלמית"**

מערכת:
איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר – לאוניד לוינזון
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון
תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, לינה וילנסקי,
סבטלנה מויבר, אנטון מוכין, אילן ריס, בוריס שטיין

הוצאה לאור: **"סקופוס"** הדפסה: דפוס **"צור-אות"**

בתמיכת
משרד המשפטים,
הועדה הציבורית לקביעת
ייעודם של עזבונות לטובת המדינה

2004 © כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-6720025, 02-5666622, 0544-745322, 02-6451288, 055-766722
E-mail: review@antho.net

